

ББК 84 Г 61

Г 61 **Головин, В.А.** Рассказы / В.А. Головин // сост. Г.Н. Антоник: – Красноярск, 2008. – 282 с.: ил.

В сборнике собраны рассказы разных лет. Жизнь автора была полна удивительных событий и невероятных ситуаций, о чём он и повествует.

Автор очень любил природу, рыбалку, весь край – от Туруханска до Саян, писал о рыбах, птицах, животных. Для широкого круга читателей.

ББК 84

Рисунки выполнены автором

Составитель Г.Н.Антоник

Вдова автора К.А. Головина выражает благодарность тем, кто оказал помощь в издании рассказов, – Н.В. Цугленку, В.В. Матюшеву, Л.М. Жибинову, Г.Н. Антоник.

[©] Изд-во Красноярского государственного аграрного университета, 2008

О патриотизме в истории России и судьбе учёного В.А. Головина

«Патриотизм — это любовь, самая большая, стержневая, которая определяет все другие чувства, беззаветная любовь к Родине и своему народу. Пожертвование собой ради защиты Отчизны. Вот что такое патриотизм, — говорил Владимир Андреевич Головин, — он всё же не терпит холодного расчёта, поскольку предусматривает безоглядную любовь». Ещё Сенека говорил: «любим мы Родину не за то, что она большая, а за то, что своя».

Прибывший в пятидесятые годы на берега Енисея «десант» был даровитым и талантливым.



Состоял из молодых учёных, закончивших Тимирязевскую академию, Воронежский, Молотовский сельхозвузы, а затем и аспирантуры там же. Молодые учёные составили ядро профессорскопреподавательского коллектива в КСХИ, прочно связали свою жизнь с Сибирью, стали авторитетными специалистами, создателями научных школ. Одним из них был В.А. Головин, ставший в 2000 году почётным профессором агроуниверситета, известным в научных кругах Красноярского края, Сибири, в творческих кругах художников и поэтов.

Когда-то В.А. Головин написал строчки о себе: «...Память, память...Вереницей дней и лет в её тома за страницею страницу заносила жизнь сама. Где-то там, под слоем пыли, в переплётике простом, полусказки, полубыли — детских лет забытый том. И совсем без переплёта том о юности моей, Будто мне жестокий кто-то пожалел счастливых дней...».

Антоник Г.Н., директор музея КрасГАУ



СТАРШИЙ БРАТ

Резкий звонок поднял Нивологова с постели. Пока Андрей Владимирович нащупывал выключатель и шлепанцы, звонок повторился, тревожно и требовательно. Нивологов много лет жил один, его редко кто навещал, тем более ночью. Однако частенько ребятишки звонили из баловства. «Опять озоруют», — подумал он, открывая дверь.

– Вам телеграмма, – сказал паренек и подал бланк.

Нивологов закрыл дверь, надел очки, прочитал: «Мама умерла Похороны двадцать пятого Лена». Часы показывали четверть второго. Андрей Владимирович опустился в кресло, задумался: «Поездом — двое суток. Сейчас двадцать... двадцать четвертое. Значит, самолетом... Автобусы пойдут через четыре-пять часов». Больше он не ложился, так и просидел до рассвета, опустив голову. Сначала посетовал, что нет телефона, который обещали ему пятый год. Затем мысленно перелетел в уральский городок, где он когда-то жил, где похоронены родители и брат, а теперь умерла сестра Анна...

... Через край хлебанули горького лиха переселенцы Нивологовы, мотаясь по стране. Не миновали и самой крайности – сумы через плечо и «Христа ради» под чужим порогом. Неласково встретили их и дымный Урал, и угрюмые уральцы. Новоявленных переселенцев местные жители называли презрительно «голозадые хрусьяны» и потешались над их нездешним выговором. В свою очередь, Нивологовы звали их кержаками. Жители городка (в то время рабочего поселка) работали на приисках, на химзаводе, в леспромхозе, но имели коров, добротные дома и надворные постройки. У многих — два дома (еще «малушка» — по другую сторону ворот). А Нивологовы бедовали. Анна только после замужества стала есть хлеба досыта. Иногда, крадучись от свекрови, урывала кусок вечно голодным братьям.

Василий (младше Анны) с грехом пополам заочно окончил педтехникум, женился и ушел жить отдельно. На шее главы семьи Нивологова остались шесть сыновей, шесть ртов, а подросшие помощники улетели из гнезда. Впрочем, гнезда-то не было. Ютились по частным квартирам.

С оравой шустрых оборванцев никто не хотел пускать «на фатеру», а если и пускали, вскоре отказывали. Вспоминая то время, Андрей Владимирович зримо представил, как Нивологовы перетаскивали по грязным окрашенным переулкам с квартиры на квартиру узлы со скудными пожитками, а добравшись до закутка, спали вповалку на полу — ногой ступить некуда. Как раз тогда рослый, не в меру работящий Петр простудился и умер. Простуда доконала его не сама по себе. Всю недолгую жизнь рушились на Петра одна беда страшнее другой, и только природная семижильность и чудовищная живучесть поднимали его из мертвых. Он не берег себя, всегда оставаясь отчаянно смелым, болезненно честным и прямым, но отзывчивым и добрым. С четырнадцати лет вкалывал чернорабочим на железной дороге, а в пятнадцать заимел порок сердца.

– От учебы отрывать жаль, – сказал Андрею отец, – но сам понимаешь, ты теперь старший.

Андрей поступил на завод учеником слесаря-монтажника и пошел в вечернюю школу.

Сейчас трудно вообразить, ценой каких лишений удалось Нивологовым за три года сколотить средства и купить маленький кособокий домишко на самой окраинной улочке поселка. Вздохнулось легче, когда появились своя огородная мелочь и картошка, а через год и коровенка.

Василий между тем круто шел в гору. Поселок разрастался, появился новый район двухэтажных домов. Десятилетняя школа работала в три смены, педагогов не хватало, учителями часто работали люди, не имеющие даже общего среднего образования, а Василий поступил в заочный институт. Его назначили директором вновь открытой семилетки. Он некоторое время жил при школе в директорской квартире, затем купил приличный дом.

Василий оказался оборотистым хозяйственником, районо его ценило: он успевал вовремя отремонтировать школу, с запасом заготовить дрова и сено. Завхоза держал для виду, мальчишку на побегушках, всем управлял сам, не обделял и себя. Но это мало кого интересовало, как и то, что директор школы говорил: «ширьше», «глыбже», «арихметика», «лаболатория».

Ходил Василий важно, зная себе цену. При встрече с ним местные «кержаки» снимали шапку.

Братьев, да и родителей, которые по-прежнему пытались осилить нужду, почти не замечал. Младшие братья учились в его школе, смирным нравом они не отличались. Частенько директор в своем кабинете лупцевал их с пристрастием. К родителям Василий заходил редко, хотя его дом стоял через двор. Если заходил, толковал уверенно, сохраняя дистанцию. Свысока подтрунивал над отцом, «не умеющим жить». Отец несколько раз прикупал за полцены старые бревна и тес, намереваясь соорудить пристрой, но не позволяли капиталы. Удалось только подлатать сени и навес да срубить баню.

- Бревешек не собираешься купить? улыбаясь глазами, спрашивал Василий.
- Нет. Не собираюсь, спокойно отвечал Нивологов, делая вид, что не замечает насмешку сына.
- Пора. Эти догнивают, продолжал Василий, кивая на сложенное у ворот старье. – Я новый сарай ставлю, старый материал могу продать. Возьму недорого.

Андрей испытывал к Василию неосознанную неприязнь. Невольно сравнивал его с душевно щедрым Петром. Это, в свою очередь, не прошло мимо внимания Василия.

Андрей окончил среднюю школу, его призвали в армию. Василий не зашел даже сказать ему «До свидания». Первый солдат из многочисленной семьи Нивологовых унес в сердце первую взрослую обиду на старшего брата. За два года не получил он от Василия ни одного письма и не написал ему сам. За время службы окреп, стал спортсменом-разрядником, отличником боевой и политической подготовки, командовал отделением, много и жадно читал.

Началась война. Наши войска отступали, оставляя врагу город за городом.

Служил Андрей далеко от фронта, на другом краю страны. Вдруг получил он письмо от Василия. Письмо короткое. И не письмо, а записку.

«Здравствуй, Андрей! Я старший брат, а пишу тебе первым. Больно гордый. С чего бы? Из навоза еще не вылез. Подумай: кто ты и кто я. Вместо того, чтобы пример с меня брать, жизни учиться у брата, норов показываешь. Герой нашелся!

Я, как и ты, тяну солдатскую лямку, только ты ошиваешься где-то в тылу, а мне скоро на передовую. Пиши. Может, отвечу. Василий».

Вторая обида ударила Андрея пуще первой. Кто тогда не рвался на фронт? Кто не писал докладных, боясь, что врага победят без него? Никто не знал, что войны хватит на всех.

Несколько дней Андрей не находил покоя, пока не пришел к заключению, что письмо брата продиктовано намерением больнее ударить и только. Не мог же Василий не знать, что место службы солдаты не выбирают. За вторую обиду Андрей ударил старшего брата наотмашь и тоже в больное место.

«Здравствуй, Василий! Ты теперь не директор, а солдат, как и я. Только званием ниже и выучкой слабее. Мне давно солдатская лямка мозолит плечи, я давно пропитался солдатским потом и давно не тот пацан, которого ты мог поучать и даже лупить. А где «ошиваться», решаем не ты и не я. Впредь буду отвечать только на братские письма. Андрей».

Больше писем не было...

- ...Андрей Владимирович взглянул на часы, тяжело поднялся. Уложил чемоданчик и вышел к конечной остановке.
- До Свердловска один рейс в неделю. Очередной через два дня, ответила девушка из справочного аэропорта. Но, прочитав телеграмму и взглянув на удостоверение инвалида войны, сказала: Обождите минуточку.

Она куда-то звонила, что-то говорила в трубку, наконец, кивнула:

- Подойдите к третьей кассе.
- ...Як-40 с промежуточной посадкой шел в Новосибирск, откуда предвиделся рейс до Свердловска, на который, правда, место не забронировано. Летел Андрей Владимирович наудачу. В Новосибирске пришлось переехать в загородный аэропорт «Толмачево». Большой беды в этом нет прямой экспресс, но до Свердловского рейса всего три часа, попасть на него шансов не оставалось. Андрей Владимирович поспешил к транзитной кассе. Благо, знал он здесь все ходы и выходы, много раз прилетал в Новосибирск по научным делам. Около кассы грудилась толпа.
- Товарищи, пропустите, пожалуйста, тороплюсь на похороны.

– О чем разговор? Проходите, папаша, – откликнулся молодой человек, отодвигаясь от окошка.

Толпа расступилась.

Хрупкая девушка с льняными волосами выслушала Нивологова, прочитала телеграмму, раскрыла удостоверение инвалида, взяла билет и поднесла трубку к губам. Что она говорила, Андрей Владимирович не слышал. Но девушка волновалась, тыкала пальцем то в телеграмму, то в красные корочки удостоверения, будто ее собеседник на другом конце провода мог видеть эти документы. Но вот она приложила на билет штемпелек, сказала в динамик:

- Регистрация через час.
- Спасибо вам.

Девушка прикрыла веки, слегка качнула головой.

«До чего бываем мы несправедливы, – подумал Андрей Владимирович, высматривая, куда бы сесть. – Встретим невежду или грубияна – и готовы всех и вся обвинять в черствости и хамстве. Впрочем, это естественно. Не даром говорится, что ложка дегтя портит...»

Он не додумал мысль до конца. Объявили посадку на какойто рейс, сразу освободилось несколько кресел. Нивологов сел, расслабился, успокоился...

...Андрей начал фронтовой путь с Орловско-Курской битвы и дошел до Восточной Пруссии. Из писем родителей знал, что получили они две похоронки: на Василия и Никодима.

Кончилась война. Кончилась полной победой. Началась демобилизация. Поезда, идущие с запада, были переполнены победителями. Ехали и в тамбурах, и на крышах вагонов. На станции и разъезды из окрестных деревень стекались толпы обносившихся исхудалых людей. Здесь и песни, и переборы гармоник, и соленые частушки, и причитания, и слезы. Много слез. Но слезы текли тихо, как осенний дождь. Их покрывала шумная волна радости. Кончилась война, и, казалось, все беды позади. Так казалось.

Через девять лет со дня призыва воротился домой Андрей. Пригнув голову, шагнул через порог. Мать повисла у него на шее, отец смахнул скупую слезу тыльной стороной ладони, сказал подчеркнуто спокойно:

– Вари-ка, мать, картошку, будем потчевать гостя.

Андрей привез кое-какие продукты, привез и фляжку водки. Просидели за полночь. Помянули Василия и Никодима. Попытались тихонько спеть, но что-то не сладилось. В былые времена чем-чем, а песнями славилась семья Нивологовых. Послушать их летним субботним вечерком сходилась вся улица от мала до велика.

- Где Артем и Кирилка? спросил Андрей.
- Артем опять, видно, на вторую смену остался, ответил отец, а Кирилл от рук отбился. Черт его знает, где он.

Решили малость поспать.

- Я по-солдатски на сеновал.
- Сено-то от третьего года и того с навильник, вздохнула мать. Без коровы живем, сынок.

Вдруг распахнулась дверь, в избу ввалился мордастый военный с погонами лейтенанта авиации. Снял форменную фуражку «с капустой», пробасил:

– Здравствуйте, Нивологовы.

Андрей не сразу понял, чего ради мать кинулась на шею лейтенанта и запричитала:

- Валера! Сынок, насовсем ли вернулся?
- Насовсем, мама.

Андрей вскочил и обнял брата.

- Вот и все в сборе, - констатировал отец, - кроме, конечно... - и умолк.

Страшная война многое порушила и перековеркала, унесла миллионы жизней, изломала и перепутала судьбы людей, раскидала родных и близких, пролила море крови и слез и каких только бед не натворила. Но кое-что поставила на свои места. Она обнажила души людей и показала без прикрас, кто есть кто, беспощадно сорвав маски лицемеров и себялюбов. Она преподнесла наглядный урок миру, что с Россией шутки плохи. Показала величие русского народа многонациональной страны, которая в великих битвах не только отстояла свои рубежи, но спасла Европу от фашистского рабства. Война породила самые неожиданные совпадения, трагические и радостные...

В окне Нивологовых погас свет. Тихая предосенняя ночь досчитывала свои минуты.

Заметно светлел восточный край неба; постепенно линяя, тускнели звезды. Предутренняя тишина убаюкала все живое, погрузила в глубокий сон и дома, и черемуху в палисадах. На пустынной улице ни движения, ни звука, ни огонька. Впрочем, кажется, блеснул слабый огонек на крыльце школы-семилетки. Немного погодя снова блеснул огонек. На ступеньке сидел человек, жадно курил. Время от времени вспыхивала самокрутка, потрескивала махорка. Рассвет наступал тягуче-неторопливо, как бы крадучись. Но вот с озера дохнул слабый ветерок, дрогнули листочки, на акациях под окнами школы шевельнулись воробьи, чирикнули спросонья. Будто по сигналу порозовел восток, разгоняя темень. Наступило утро. Человек поднялся со ступеньки, приладил за спину вещевой мешок, сунул под пазухи костыли, направился к дому Василия. Он по-хозяйски уверенно нащупал и отодвинул воротный засов, исчез во дворе. Через несколько минут из дома вырвался приглушенный стенами вопль. Затем распахнулась калитка, на улицу выбежала простоволосая женщина в накинутом на плечи жакете, забарабанила в окно Нивологовых:

- Откройте! Откройте скорее! - кричала она.

Калитку открыл отец. С сеновала скатились Андрей и Валерий. Перед ними стояла Жанна — жена Василия. Из ее глаз катились слезы, губы хватали воздух, не в силах вылепить слова.

- Василий вернулся! выдохнула она.
- Василий?..
- Да. Живой... на костылях... Сюда идет. Меня послал сказать...

Война милостиво обошлась с братьями Нивологовыми, из четверых солдат похоронила одного Никодима, ну, а Василия — передумала. Тот отдышался в госпитале, вернулся домой худой и носатый. Вернулся, несмотря на похоронку. Война преподнесла Нивологовым такой сюрприз, какой может преподнести только война. Трое братьев вернулись почти в один день, причем один из них почти с того света.

...Каким-то внутренним сторожевым слухом Андрей Владимирович поймал слова диктора: «Регистрация билетов на рейс до Свердловска...» – и поспешил к указанной стойке. Самолет поднялся в воздух точно по расписанию, причин для волнений не осталось, и Нивологов решил вздремнуть. Он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза.

г. Красноярск

В ПУРГУ

Несколько дней я не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах встречал этого человека. Но с газетной полосы смотрело на меня знакомое лицо. Лицо простое и мало чем примечательное. Только правую бровь косо пересекает шрам, отчего она имеет некоторый излом. Остальное все обычно. Вместе с тем эта обычность и какое-то внутреннее спокойствие уверенного в себе человека казались мне особенно знакомыми. И вдруг я вспомнил...

Было это в 1944 году. Немецкие войска, вымотанные недавними боями на восточно-прусской границе, откатывались в день на десять километров. Весь фронт двигался на запад.

Рана моя почти зажила, но разыскать и догнать свою часть при таком быстром наступлении — дело нелегкое. Поэтому меня и других выздоравливающих не спешили выписывать, временно используя на разных поручениях.

Санитарная часть нашей десятой артдивизии тоже ушла вперед, и только одна машина, с верхом нагруженная разным имуществом, из-за досадной неисправности далеко отстала и теперь одиноко катилась по пустынной дороге.

Кругом безлюдно и тихо. Но мы знали, что это кажущееся спокойствие обманчиво. Здесь вчера был враг. По лесам таятся немецкие солдаты и даже целые подразделения, с которыми нередко сталкивались тыловые части. И, может, сейчас следили за одинокой машиной чужие глаза.

Медленно кружась, крупными хлопьями валил снег. Смеркалось. Машину то и дело забрасывало. Дорога, отполированная тысячами колес и присыпанная рыхлым снегом, стала скользкой, как стекло. Шофер проявлял акробатическое мастерство, чтобы не оказаться в кювете. На раскатах неприятно замирало сердце, и сидящие в кузове поневоле хватались друг за друга. А казах Карымов втягивал голову в плечи, плотно прижимался к моей спине и что-то бормотал на своем языке.

Только гвардии ефрейтор Андреев оставался внешне равнодушен. Его коренастую крупную фигуру плотно облегала шинель, на которой в нескольких местах – искусно сделанные латки. В шапку-ушанку, как у любого опытного солдата, воткнута иголка с ниткой. Андреев пристально рассматривал чужую неприветливую землю, бегущую по сторонам: хуторочки, белые домики с остроконечными черепичными крышами; добротные сараи, тоже крытые красной черепицей; сады с аккуратно подстриженными деревцами, неровные контуры леса, которые то разбегались в стороны до горизонта, то враждебно подступали вплотную к дороге.

Быстро темнело. Сквозь густо падающий снег слабый свет подфарников почти не освещал дороги. Двигались медленно. Остановив машину и выйдя из кабины, старшина Кулагин предупредил:

– Оружие зарядить. Ефрейтору Андрееву наблюдать за левой стороной дороги, рядовому Карымову – за правой. Смотреть в оба. Поехали, – сказал он шоферу.

И снова целый час машина ощупью будто кралась по скользкой дороге, буксовала и фыркала на подъемах, раскатывалась на спусках.

С севера пахнуло ветерком. В лицо ударили колючие снежинки, сырая от рыхлого снега одежда замерзала и коробилась, сразу сделалось холоднее. Машина осторожно свернула с дороги в объезд порушенного моста. И, попав в глубокую выбоину, резко накренилась на правый борт. Мы полетели в пухлый снег, на нас посыпались из кузова тюфяки и одеяла. Никто не ушибся, но машина села крепко.

- Без тягача не вылезти, заявил шофер.
- Сам заехал, сам и выедешь, возразил старшина. И, повернувшись ко мне, сказал:
- Товарищ сержант, возьмите ефрейтора Андреева и разведайте, что это за хоромы чернеют в стороне.

Только теперь я рассмотрел, что невдалеке смутно темнеет что-то похожее на строения.

Идти пришлось осторожно: вся земля изрыта воронками, но, заметенная снегом, казалась обманчиво ровной.

Пройдя шагов двести и перебравшись через овражек, мы подошли к небольшому хуторку, состоящему из одного дома и двух сараев. Дом почти полностью разрушен, только одна стена уцелела и мертво смотрела пустыми глазницами оконных проемов. Один сарай доверху набит сеном. Дверь его плотно закрыта и снаружи заложена палкой. Двери другого сарая открыты настежь. Но входить внутрь мы не спешили, инстинктивно чувствуя в нем чье-то присутствие. Несколько минут вслушивались, прижавшись к стене. А ветер все усиливался. Под его порывами скрипели раскрытые двери. Подхваченные ветром снежинки налетали на стены сарая, осыпали лицо, забивались под полы шинели, в рукава, за воротник. Временами ветер стихал, а затем набрасывался с новой яростью на все, что встречалось на пути.

И в промежуток между порывами ветра мне почудился легкий вздох. Я оглянулся на Андреева. Андреев также вопросительно смотрел на меня. «Значит, не почудилось», — подумал я. Выставив электрофонарик из-за дверного косяка на вытянутую руку, я щелкнул выключателем. Яркий луч света брызнул внутрь. В дальнем углу лежали коровы.

- Все ясно, сказал Андреев и направился в сарай. Я последовал за ним.
 - Постреляли, паразиты, вдруг выругался он.
 - Кого постреляли?
 - Коров. Все побиты.
 - Наши коровки, вздохнул Андреев.
 - То есть как наши?
 - Из России, трофейные. С оккупированной территории.
 - Да тебе-то откуда известно? удивился я.
- Это же ярославки! В Германии сроду таких не было. Наши коровы, ярославской породы, опять вздохнул Андреев.

Мы собрались уходить, как я снова услышал вздох и, быстро повернувшись, навел луч фонарика в направлении звука. Андреев схватился за автомат.

Смешно моргая белесыми ресничками и щурясь от яркого света, пугливо смотрел на нас белоголовый двух-трехдневный теленок. Он совсем ослаб и с трудом держал голову.

Не успели мы двинуться с места, как теленок, прижавшись к мертвому телу коровы, ткнулся влажным носом в холодное материнское вымя и начал мусолить затвердевший на морозе сосок.

Андреев подбежал к теленку, схватил его на руки и прижал к груди.

– Ух ты, ярославочка! И тебе не сладко на чужбине-то. Есть хочешь? Да? Подожди немножко: чего-нибудь придумаем. Мы люди свои, – растроганно бормотал он, поглаживая вздрагивающей рукой голову теленка. А он, почувствовав ласку теплой ладони Андреева, тянулся к ней жадно и хватал пальцы беззубым ртом.

Выслушав краткое сообщение, старшина Кулагин распорядился устраиваться в сарае на ночлег.

– В такую погоду все равно ехать нельзя, если бы и не засели. Утром будем думать, что делать. А пока срочно развести в сарае костер, разогреть консервы и вскипятить чай. А затем ты, Петренко, – обратился он к шоферу, – отдыхать. Тебе завтра работы много будет. Машину будем охранять мы с сержантом по очереди. Доспим завтра днем.

Я остался у машины. А старшина Кулагин, ефрейтор Андреев, рядовой Карымов и шофер Петренко, захватив вещмешки, матрацы и одеяла, направились к сараю.

К тому времени пурга разыгралась всерьез. Налеты ветра чередовались один за другим. И нигде невозможно было укрыться от ледяных пронизывающих игл. За машиной было, пожалуй, еще хуже: вихревые потоки снега забирались под шинель и обшаривали все тело холодными пальцами. Я залез в кабину. Там не было ветра, но веки быстро наливались свинцовой тяжестью, хотелось спать. Единственно, что оставалось, – двигаться, непрерывно ходить вокруг машины. Время тянулось медленно, а может, совсем остановилось. Наконец в двух шагах от меня, как снежный ком, появился старшина. Шапка, полушубок, валенки и даже брови – все у него густо облеплено снегом.

– Шагайте, сержант, – сказал он, нагнувшись к моему уху, – отдыхайте часа четыре. Там во фляге сто граммов найдешь для тепла, солдатская шинелька-то на рыбьем меху, – закончил он вдруг на ты.

В сарае мне показалось удивительно хорошо и уютно. Посредине горел небольшой, но жаркий костер. В котелке над огнем клокотало варево, распространяя аппетитный запах. Недалеко от костра, на соломе и матрацах, закутавшись в одеяла, сладко посапывали Петренко и Карымов. По другую сторону костра в охапке соломы, пригревшись, дремал теленок. В дверях сарая встретил меня Андреев — первую половину ночи дежурил он — и как радушный хозяин сразу стал готовить «на стол». Ел я молча, неторопливо.

- Что же с ней делать? сказал Андреев, скорее, рассуждая вслух, чем обращаясь ко мне.
 - С кем? помедлив, спросил я.
 - Да с телочкой! неохотно ответил он.

Мы помолчали.

- Понимаете, погибнет, заговорил Андреев, а наша ведь телочка, ярославская. После войны придется все снова начинать. Каждая телочка на вес золота будет.
- Трофейная команда далеко, километров десять отсюда. Видел я в хуторе у дороги. И коров там собрано много, значит, и молоко есть. Но когда она здесь будет? А ей, кивнул он в сторону телочки, молоко нужно сегодня же. Я напоил ее чаем со сгущенкой, но это не то. Нужно свежее молоко.

Телочка спокойно и равномерно дышала впалыми боками, изредка чмокала во сне губами. Иногда она поднимала голову, смотрела на нас, точно желая убедиться, здесь ли эти люди и, успокоенная, снова закрывала глаза.

 Сходить до трофейной команды? – резко повернулся ко мне Андреев. Лицо его выражало полную решимость. Брови сдвинуты. Недавно зарубцевавшийся шрам, косо пересекающий правую бровь, сделался багровым.

Я вспомнил, как только что добирался от машины до сарая и сказал:

– Это невозможно!

Уснуть я долго не мог. Передо мной неотступно стояла мордочка теленка с глазами, полными человеческой скорби.

Наконец, прижавшись к широченной спине Петренко, я уснул неспокойным сном. Мне снилось, будто вокруг сарая злобно воет и беснуется волчья стая, готовая в любую минуту броситься

на беззащитного, слабого теленка. А он, оставленный нами, с обреченной покорностью ждет своего конца, трогательно моргая белесыми ресницами. Проснувшись, я не сразу понял, что говорил мне Карымов.

– Старшина менять ната. Два часа. Спал бульно шибко. Долго будил тебя, – бормотал он, показывая на часы.

За стенами сарая свистела вьюга. Стропила сарая скрипели, где-то хлопала оторвавшаяся доска. А в сарае было по-прежнему спокойно.

Горел костер. Петренко спал богатырским сном, на прежнем месте дремала телочка.

- Где Андреев? спросил я.
- Ефрейтор канчал дежурный. Пошел тропейный команда, ответил Карымов.
 - Давно? встревожился я.
 - Двадцать, однако, минут.

Старшина очень продрог и обрадовался моему приходу, хотя всячески старался скрыть это. Но когда узнал, что ефрейтор Андреев ушел разыскивать трофейную команду в такую пургу, не на шутку встревожился.

 Девяносто процентов за то, – сказал он, – что человек погибнет.

Затем ушел в сарай. Однако вскоре вернулся к машине и не уходил до утра: ему было не до отдыха.

– Как же я не видел, когда он проходил мимо машины? – журил себя старшина.- Впрочем, в такой круговерти разве увидишь? – возразил он себе.

Позднее выяснилось, что после мучительных колебаний, сидя у костра, Андреев бесповоротно решил, окончив дежурство, во что бы то ни стало, разыскать трофейную команду, которую видел накануне у дороги. «Десять километров, – рассуждал он, – за три часа можно пройти даже в такую пургу. А назад приеду с кем-нибудь из трофейной команды на лошади (лошади там обязательно есть). Следовательно, к утру вполне успею вернуться».

Перед сдачей дежурства Андреев принес охапку дров, подбросил в костер и вскипятил чай. Выпил кружку чаю со сгущенным молоком. Затем, слегка остудив, напоил и телочку. Тщательно переобулся, проверил автомат и разбудил Карымова.

Андреев знал, что старшина не разрешил бы ему поиски трофейной команды, поиски, которые (это хорошо понимал Андреев) связаны с большим риском.

Поэтому сказал Карымову, чтобы он разбудил меня через двадцать минут после его ухода.

- Куда идешь? спросил Карымов.
- Приказано срочно разыскать трофейную команду, ответил Андреев и ушел.

На шоссейную дорогу он умышленно выбрался метров на пятьдесят левее машины, чтобы не встретиться со старшиной. «Разве поймет этот служака, уставная душа, — думал он о старшине, — что не могу я бросить теленка на верную гибель».

Вьюга утихла. Легкий ветерок тонкими струйками гнал поземку. Светало. Старшина Кулагин первым заметил подводу на дороге и пошел ей навстречу.

– Ефрейтор Андреев, – жестко процедил он, когда с ним поравнялась подвода, – куда вы отлучались без разрешения?

Скрывая боль и усталость, Андреев проворно вылез из саней, встал перед старшиной в положение «смирно» и молчал. Левая рука его покоилась в марлевой повязке, перекинутой через шею. Лицо посерело и осунулось.

- Я спрашиваю, где вы были?
- Искал трофейную команду.
- Почему ушли без разрешения?
- Я знал, что разрешения не будет, ответил Андреев.
- А знаете ли вы, гвардии ефрейтор, что самовольная отлучка свыше двух часов – дезертирство?
- Знаю, теперь Андреев смотрел на старшину с вызовом.
 На скулах обозначились желваки.
- Что с рукой? продолжал допрашивать старшина. Рана открылась?
 - Да, коротко ответил Андреев.
 - Кем работали до войны? неожиданно спросил старшина.

Андреев вскинул на него глаза, не понимая, для чего это нужно знать старшине, и медленно ответил:

- Зоотехником.
- Животновод, значит. Я так и думал, улыбнулся старшина. Ну, вот что, отбросив официальный тон и переходя на ты,

заговорил старшина, — кончится война, приезжай к нам. Колхоз у нас большой, животноводство богатое, а вот...— старшина на минуту замолчал, потом, кивнув на Андреева, закончил: — А вот такого животновода нет.

- Спасибо, тоже улыбнулся Андреев, но я поеду в свой колхоз и снова займусь ярославками.
- А ты подумай, настаивал старшина, адресок я тебе все же оставлю.

Пожилой солдат, привезший Андреева из трофейной команды, молча наблюдал за старшиной и Андреевым в продолжение всего разговора. Его обветренное лицо было суровым. Косматые седеющие брови нахмурены. Но когда он увидел, что все обернулось лучшим образом, крупные черты солдата вдруг смягчились и потеплели. Под прокуренными усами промелькнула скупая улыбка. Не сказав ни слова, он дернул вожжи и, свернув с дороги, поехал к сараю. А через десять-пятнадцать минут на дорогу выехала подвода, из которой выглядывала беленькая мордочка теленка.

г. Красноярск

майор чистяков

К майору Чистякову все относились как-то полушутейно. В старой армии он был штабс-капитаном, до войны лет двадцать работал бухгалтером в Москве не то в комбинате «Надомник», не то в промартели. Началась война, его призвали в армию и присвоили звание майора, говорили, что это как раз соответствует званию штабс-капитана старой, дореволюционной армии. Так ли это – судить не берусь, но в характере и даже во внешности майора Чистякова смешались черты кадрового военного и сугубо штатного человека. Высокого роста, худой, с мефистофельским носом, тонкими губами, всегда подтянут, пуговицы, сапоги, подворотничок безукоризненно блестят. Но – сутуловат, на чуть согнутых в коленях ногах. А главное – глаза. Они ему, как военному, просто вредили. Небесно-голубые, добрые, которыми он, как

ему, похоже, казалось, сверлил собеседника поверх очков в металлической оправе.

Папаша примерного семейства, да и только! Но должность ему определили важную и ответственную в оперативном отделе штаба артиллерийского корпуса резерва главного командования.



Коротко — оперативник штаба арткорпуса РГК. По чьему-то решению обязанности на него возложили как раз в соответствии с его характером, где требуется и оперативность военного, и скрупулезная точность бухгалтера.

Он собирал оперативные сводки о расположении дивизий и полков (все это сразу же наносилось на оперативную карту), о потерях в живой силе и технике, о наличии боеприпасов, продовольствия и т.д. Иметь всегда под рукой эти сведения в быстро меняющейся военной обстановке — не хрен-то хны! А требовались они постоянно. Чистяков буквально жил у телефона, в части выезжал редко. У телефона он по-скорому проглатывал нехитрый обед прямо из солдатского котелка, который ему приносили посыльные штаба, здесь и подремывал с полчасика.

Другие офицеры и начальник оперативного отдела собирались в штабе только при разработке новой операции, обычно же они разъезжали по частям («по частях», как выражалась машинистка), осуществляя руководство ими.

Самым универсальным у Чистякова было слово «канительщик». Использовал он это слово и как ругательство, и как похвалу, и во множестве промежуточных значений.

Подходит время посылать оперсводку в вышестоящий штаб, а одна из бригад не прислала необходимых сведений. Чистяков нервничает, злится.

– Ну что за канительщик! Доберусь я до него.

Связь барахлит, прерывается. Это и понятно – война.

- Девушка! который уже раз кричит в трубку охрипший Чистяков. Телефон молчит.
- Девушка! Ну и канительщица! Ей бы там лясы точить. Девушка!..

И вдруг коммутатор отвечает:

- Слушаю!
- Да ты что там, уснула, что ли? Канительщица!.. Ладно! Знаю я вас! Соедини срочно с... и Чистяков начинает перебирать ворох бумаг, искать новый список позывных (номера частей и фамилии командиров по телефону называть не полагалось). Наконец найден злосчастный список. Чистяков отчеркивает ногтем нужный номер и по-домашнему, даже ласково, говорит в трубку:
 - Милая девушка, соедини меня, пожалуйста, с 34-м срочно.

Но трубка молчит. У девушки много заказов, тем более что связь прерывалась. Ее многие ждут. Чистяков приходит в неистовство.

– И зачем их только в армию понабрали? Девушка, черт побери!

Чистяков крутит ручку телефона с остервенением и явно дольше, чем это необходимо.

- Девушка!
- Слушаю!
- Это что за канитель? Безобразие! Сколько раз тебя просить – соедини с 34-м.
 - Говорите.
- Говорите, говорите, успокаивается Чистяков. Но, заслышав голос 34-го, взрывается новой яростью: —34-й? Почему нет сводки? Не успели? Что значит не успели? Ах, связи не было, канительщик! Я немедленно доложу 2-му. Что? Отправили? Когда? Так-так, задумывается Чистяков. Значит, успеем. Ну ладно. Да-да, слушаю. Так. Так... Ну и что? Весело! А настроение? Боевое! Молодец! Я же и говорю канительщик. Слушай, ты уж в следующий раз не затягивай. Без канители. Конечно, я же понимаю. Ну, договорились. Будь здоров. Будь здоров.

Чистяков кладет трубку, что-то пишет и тихонько мурлычет: «Капитан, капитан улыбнитесь...» Потом, будто спохватившись, оглядывает нас поверх очков строгим, а по сути добрейшим взглядом. Потом от души улыбается, качает головой и полувопросительно, полуутвердительно говорит: «Канительщики».

Младшие чины отдела (делопроизводитель – старшина Петров, сержанты Старцев и Голиков – чертежники-картографы, машинистка Тоня и посыльные Зинченко и Андреев), в общем-то, любили Чистякова и ни капельки не боялись, если даже он был «во гневе». Больше того, не упускали случая осторожно подшутить над чудаковатым майором.

Подметив у него добродушное настроение, кто-нибудь тихонько, но чтобы услышал Чистяков, вздыхал:

- Эх, пивка бы!
- Да, немедленно подхватывал Чистяков, тепленького! И хлопал себя ладошками по коленям. И так улыбался, точно ему действительно уже дадут тепленького пива. Мы незаметно, понимающе переглядывались шутка удалась. Майор клюнул.

Подвернулась свободная минутка. Чистякову поспать бы (спал он мало, у него глаза всегда были красными от недосыпу).

Но не тут-то было. Он достает свой заветный сундучок, с которым никогда не расставался (при срочной эвакуации, а такие бывали, он в первую очередь заботился об этом сундучке). Раскрывал его и застывал в благоговении. Чего там только не было! Напильнички, плоскогубцы, паяльники, молоточки, ножницы, баночки (одна даже с соляной кислотой для пайки) и т.д. и т.п. И для каждой мелочи предусмотрено строго определенное место в гнезде по форме предмета.

Затем Чистяков раскладывал свое «богатство» на столе, здесь же около телефона, и забывал все на свете. То он ремонтирует мизерный замочек, то мастерит оригинальную зажигалку и бесконечно мурлычет: «Капитан, капитан, улыбнитесь...» На наши улыбки и даже осторожные, но двусмысленные замечания — ноль внимания. Не чудак ли? А с каким удовольствием он ежедневно заправлял и, если нужно, ремонтировал прославленные фронтовые лампы из орудийных гильз! Это «тонкое» дело он не доверял никому.

Из-за детско-наивной тяги ко всяким железякам и замочкам у майора Чистякова ко всем карманам брюк и гимнастерки были пристроены застежки «молнии» (на гимнастерке — под клапаном кармана, чтобы не нарушать форму). Однажды произошел такой комичный случай. В блиндаж оперативного отдела стремительно вошел строгий и всегда хмурый полковник — начальник штаба корпуса — подписать очередную сводку для штаба фронта. Все вскочили. Вытянулись. Молодцевато выпрямился и майор Чистяков. Одним словом — штабс-капитан!

Начальник штаба быстро просмотрел сводку и, не глядя на Чистякова, протянул к нему руку за карандашом для подписи. Он спешил. Чистяков, не теряя молодцеватой выправки, вскинул руку к нагрудному карману за карандашом. Но — вот несчастье — «молния» заела. Тогда Чистяков (он уже забыл, что он — майор и тем более — бывший штабс-капитан) извлек из брючного кармана раскладной кожаный чехол с набором инструментов и начал миниатюрным молоточком осторожно постукивать по застежке нагрудного кармана.

Начальнику штаба надоело ждать. Он оглянулся на Чистякова, недоуменно вскинул кустистые брови. Чистяков, занятый своим делом, не обращал на него внимания.

Полковник чуть улыбнулся крупными губами, взял карандаш с другого стола, подписал сводку и, не сказав ни слова, вышел из блиндажа. Он обычно был очень тактичен в обращении с майором Чистяковым, охотно прощал некоторые странности, видимо, за исключительную точность в работе.

Чистяков, наконец, открыл свою застежку, протер ее носовым платком, раза два проверил исправность работы и вдруг, вытянувшись, протянул карандаш полковнику, которого уже давно в блиндаже не было.

Артиллерийский корпус по распоряжению главного командования перебрасывали по железной дороге на другой фронт для прорыва долговременной, стабилизированной, да еще и глубоко-эшелонированной обороны немцев. Значительную часть товарных вагонов в эшелоне занимал штаб корпуса. Вернее — часть штаба. Начальник штаба, начальники отделов и старшие офицеры уехали раньше. На какой-то станции эшелон задержался. Стояла пора бабьего лета. Солнце клонилось к закату и щедро разливало звонкую позолоту и на почерневшие строения станции, и на березовые перелески вокруг. Осинки в осеннем уборе кострами пылали в лучах заходящего солнца.

Солдаты и офицеры как-то осторожно вышли из вагонов, точно боясь разрушить очарование тишины и покоя. Кто-то вздохнул:

– Эхма! Красота-то какая!

Послышались приглушенные разговоры. Задымились самокрутки. Появилось и «местное население», непомерно большое для такой маленькой станции. Оказывается, на станцию пришла ватага из соседней деревни, в основном девушки и женщины. Одни – чтобы поточить лясы с солдатиками, другие – с надеждой встретить «своего» или хоть что-то узнать о «горемышном». В военные годы, как магнитом, тянуло людей на станции за свежими новостями. Вечерами здесь всегда было людно. Здесь завязывались знакомства девушек и стриженых хлопцев, разъединенных войной. Часто такие знакомства поддерживались потом треугольниками писем.

А некоторым выпало счастье встретиться и после войны. На перроне вокзала образовался круг. Нашлась и гармошка.

Гармонист, белобрысый солдат из необстрелянных новобранцев, сразу выдал что-то такое залихватское, что лица девушек просияли. Затем он, смешно подражая парню-недотепе, баском пропел:

– Милка, чо, ох, милка, чо

Навалилась на плечо?

Я бы сам-то и ничо,

Да болтать-то будут чо?

И пошло. Девушки вырвались в круг. Зазвенели частушки, одна забористее другой. Вагоны опустели. Все собрались на перрон. Посматривая на «самодеятельность», майор Чистяков улыбался и посасывал почерневшую трубочку. В сторонке сержант Копылов, хитро прищуривая и без того маленькие, умные глазки и слегка заикаясь, толковал обступившим его бабам:

– Я до войны, по-по-почитай, ф-фторым человеком был на селе. А ш-што? Щетовод колхоза – ш-шутка! По-после председателя ф-фторой человек! Во-вот, к примеру, на ф-ферме родился те-теленок. Я ево сразу ф-ф книгу з-записываю. Да.

Бабы с серьезными лицами буквально заглядывали в рот рассказчику, видимо, вспоминая довоенную жизнь.

– Д-дальше, – продолжал рассказчик. – Те-теленок д-давно з-здох, а у меня ф-ф книге – в-вот... в-вот он, голубчик, числитца.

Бабы, уловив шутливый настрой, заулыбались. Однако продолжения рассказа не последовало. Копылов чуть прислушался к переборам гармошки и колокольчикам девичьих голосов, вежливо взял двух женщин под ручки и, обращаясь ко всем, сказал:

– По-пошли, бабоньки, и мы. А ш-што?

Копылов решительно раздвинул круг и гаркнул:

– Д-даешь п-простор з-запасникам!

Он плавно прошел по опустевшему кругу, помахивая над головой носовым платочком. На него посматривали, снисходительно улыбаясь. Мол, ладно уж, папаша. Давай и ты, раз душе требуется. Только танцор-то из тебя, как из хрена тяж. А Копылов прошел еще кружок и вдруг — выкинул такую замысловатую чертовщину из каблучной дроби, присядок и хлопков, что улыбки с лиц как водой смыло.

Женщины, с которыми только что беседовал Копылов, выдвинулись вперед. Приободрились. Знай, мол, наших! У них даже морщины разгладились. Помолодели бабы.

В этот момент и взлетел возглас:

- Немцы! Воздух!

Настолько не вязалось это предупреждение со всем, что происходило на затерянной станции, что все оцепенели. В хвосте эшелона ахнул взрыв, рванули еще два взрыва. В середине состава загорелся вагон.

Первым опомнился майор Чистяков. Он выбежал на перрон в распахнутой шинели и в наступившей после взрывов тишине крикнул:

– Зенитчики, черт вас возьми, по местам! Старшина Петров, командир комендантского взвода – ко мне!

Было отчетливо слышно, как потрескивает в огне сухая, промасленная «вагонка» и в потемневшем небе вибрирующе ноют самолеты, делая новый заход для бомбежки.

Подбежали командиры.

– Лейтенант, – обратился Чистяков к командиру комендантского взвода, – со своим взводом отцепи последние двадцать вагонов. В них боеприпасы и бочки с бензином. А ты, старшина, бегом к паровозу. Прикажешь продернуть состав за стрелку. Поняли? Исполняйте, быстро! Без канители!

Гул самолетов нарастал, они пикировали. С платформы эшелона часто захлопали зенитки, застрекотал пулемет. Но стрельба по невидимым в темноте самолетам вряд ли могла принести успех. Немцы же хорошо видели состав, освещенный горящим вагоном. И тем не менее неожиданный отпор зенитчиков, видимо, помешал прицельной бомбежке. Три взрыва взметнулись на запасных путях, по вагонам ударили осколки и комья земли.

К майору Чистякову подбежал, прихрамывая, сержант и зачастил скороговоркой:

- Майора этого, который начальник эшелона, убило. Ага. Сразу убило, от первой бомбы, осколком. Он подошел к нам. Мы, значит, в охране были...
- Чего же самолеты проворонили? Канительщики! Разыщи дежурного по эшелону и ко мне.

Чистяков повернулся к грузноватому, но — это знали все — отчаянно смелому и расторопному лейтенанту, адъютанту командира корпуса. Лейтенант, будто на параде, вскинул руку к козырьку:

- Товарищ майор, командир корпуса назначил вас начальником эшелона. Примите меры к охране и спасению людей и штабного имущества. Позаботьтесь о раненых.
 - Есть! откозырял Чистяков.
 - Генерал ранен, товарищ майор, понизил голос лейтенант.
 - Немедленно перенеси в безопасное место.
 - Отказывается категорически.
- Ни на шаг от генерала. Отвечаешь головой. Ясно? Ложись! скомандовал Чистяков. Почти в тот же момент взрывы один за другим взметнули щебенку, шпалы, невероятно скрученные рельсы и кто тут поймет еще что. В вокзале вылетели окна. Прошипели осколки, срезая кусты акации. Посыпались на землю поднятые взрывом доски, щебень, ящики, обломки железа.

Чистяков лежал в кювете около изгороди станционного сквера. На изгородь шлепнулась просмоленная шпала. Под ее ударом штакетник хрустнул, как рыбьи косточки.

К Чистякову подполз старшина Петров.

- Товарищ майор, в паровозе никого нет. Разбежались, суки.
 А я не волоку в машинах.
 - А гудок? Чистяков даже опешил.
 - Это я гудел, товарищ майор. Думал, прибегут.
- Так, Чистяков поднялся, вот что: командиров ко мне. Всех... да, всех в хвост эшелона. Будем выталкивать вагоны за станцию. Давай. Действуй.

Немцы делали свое дело не торопясь, методично. Три взрыва, разворот, пикирование, опять три взрыва. Горело несколько вагонов, в том числе вагон командира корпуса и платформа с зенитной пушкой.

Недалеко от паровоза бомба угодила прямо в состав, один вагон разнесло в щепы, а другой встал на попа над воронкой, как поднятое на дыбы чудовище, и горел факелом.

Офицеры, сержанты и солдаты штаба и его служб, только наступал короткий перерыв в бомбежке, пока самолеты описывали круг и набирали высоту, группами по 6-8 человек по команде Чистякова выскакивали из кюветов и метр за метром двигали опасный груз за станцию, подальше от основной части эшелона.

Санитары и девушки батальона связи переносили на плащпалатках убитых и раненых в вокзал. Там развернул свое хозяйство медицинский подполковник Чижов.

Побросав бомбы, самолеты начали обстрел из пулеметов. Они обнаглели и черной тенью с ревом проносились над крышами вагонов. Майор Чистяков выделил две группы солдат, которые из ручных пулеметов и винтовок залпом били по самолетам. Один самолет, подбитый стрелками, врезался в перелесок и взорвался. Два других сделали еще круг над станцией и утянулись на запад.

Майор Чистяков снял фуражку и вытер лоб рукавом шинели.

- Командирам установить потери и доложить мне. Капитан Сысоев, организуйте тушение вагонов. Имущество из них выгрузить и укрыть. Где у нас комендант? Жив?
 - Живой, товарищ майор.
- Значит живой, канительщик. Выставить охрану. На станцию никого посторонних.
 - Есть, охрану!
 - Петров! Старшина Петров!
 - Он ранен, товарищ майор.
 - Старцев!
 - Убит.
 - А Голиков?
 - Тут я, товарищ майор.
 - Пошли, Голиков, и Чистяков направился к вокзалу.
- Вот что, друг Голиков, генерал ранен. Разыщи адъютанта, узнай, как там... беги.

На рассвете на станцию прибыл строительный батальон. К обеду воронки засыпали, пути отремонтировали. Из эшелона убрали поврежденные вагоны. Проститься с ранеными в вокзал вошел командир корпуса. Левая рука у него перевязана и под накинутой шинелью подвешена на бинтах. Он коротко кинул руку к козырьку.

– До свидания, товарищи. Мы вас не бросаем. С вами остается подполковник Чижов, он отправит вас в госпиталь.

— Т-товарищ генерал, — заговорил Копылов. Он лежал на полу, укрытый шинелью, — бейте па-паразитов, мать их в бобогородицу и святую де-деву. И за-за нас бейте.

Сержанту оторвало ногу. Последний раз в жизни отплясал мужик. Да и жизнь не сладка увечному.

- Не беспокойся, сержант. Не беспокойся. Будем бить, генерал круто повернулся к выходу. На его пути встал старшина Петров.
- Товарищ генерал, разрешите с вами на фронт. Рана пустяковая... вы же... едете, – у старшины, как и у генерала, левая рука покоилась на бинте, перекинутом через шею.
 - Не разрешаю.

Но за старшину вдруг вступился майор Чистяков, который сам отказал Петрову в этой просьбе.

- Товарищ генерал-майор, заговорил он, старшина в нашем отделе делопроизводитель. Свое дело знает. Подлечим в санчасти. Правой-то рукой писать можно.
- Хорошо. На вашу ответственность, товарищ майор. Ваша фамилия? обратился генерал к старшине.
 - Старшина Петров.
 - Хорошо, товарищ Петров, разрешаю.

Паровоз расшуровал пары. Лязгнули буфера, и эшелон двинулся к фронту. Неподалеку от станции, на поляне, окруженной березками, вырос земляной холм над новой братской могилой. К свежеобтесанному столбу прибита звездочка. Ниже, на фанере, химическим карандашом — список погибших.

«Майор Федоров Иван Гаврилович». Это начальник эшелона, что погиб от первой бомбы.

«Старший лейтенант Бойко Павел Трофимович». Это офицер связи из оперативного отдела. Умирал он в муках. До последней минуты не потерял сознания. Ему осколком пробило богатырскую грудь. При каждом вздохе на запекшихся губах пузырилась кровь. Около него сидели Чистяков, Петров, Голиков. Машинистка Тоня смачивала старшему лейтенанту губы и лоб бинтами, обмакивая их в холодную воду. Бойко смотрел на товарищей помутневшими глазами и, едва расклеивая губы, шептал: «Ну, пристрелите же... Жалость в вас есть?» Майор Чистяков плакал.

«Сержант Старцев Анатолий Иванович». Старцева собрали в братскую могилу по частям.

«Голубев Николай Андреевич». Это новобранец-гармонист. Его молоденькое лицо почти не изменилось после смерти. Только резче выступили веснушки да в уголках нецелованных губ запеклась кровь.

«Чернов Петр Гаврилович»... Под двадцать седьмой фамилией обозначена дата.

У подножия столба на черную землю положена ветка березы с ярко-желтыми листьями.

Двадцать семь извещений принесут неизбывное горе матерям, женам, детям, сестрам и братьям погибших. Двадцать семь извещений — горькая капля в людском море огромной страны, охваченной пожаром войны...

Через два месяца майор Чистяков был тяжело ранен у рабочего телефона и отправлен начальником штаба, полковником, на санитарном самолете в Москву, где майору ампутировали ногу.

с. Солянка, 22 декабря 1974 г.

СПАСИБО, ДРУГ

Юрия Алексеевича Козочкина выписали из госпиталя в канун двадцать пятой годовщины Октября. Тогда война громыхала у берегов Волги.

- Поспешишь, улыбнулся главврач, за праздничный стол как раз и угодишь.
- Спешилку-то вы оттяпали, невесело возразил Козочкин.
 Да и радость не велика. Инвалид. Ни на войне, ни в тылу не годный.
- Неладно толкуешь, нахмурился врач. Живой ты! Разве не радость? Награды имеешь. Выше голову, солдат!

Козочкин сменил госпитальную пижаму на солдатское, пахнущее хлоркой обмундирование. Лишний сапог, что по ошибке принесла сестра, мозолил глаза, и Юрий Алексеевич толкнул его под кровать.

Все, с кем прибыл Козочкин в госпиталь, давно выписались, а он залежался. Врачи что-то колдовали, пытались что-то выкроить, три раза клали на операционный стол, но так и отпластали ногу чуть не до паха. Новое пополнение палаты прибыло недавно, ходячим был только Козочкин. Он молча обошел палату, каждому пожал руку. При этом прикрывал глаза и легонько кивал: держись, мол. Раненые в ответ тоже прикрывали глаза, а некоторые тоже слегка кивали: понимаю, мол, держись и ты.

За воротами госпиталя у Юрия Алексеевича закружилась голова, он сел на скамейку. Улица уральского городка с угольночерными домами, присыпанная чистым снежком, безлюдна. Она упиралась в грязно-серый забор, за которым ворочалось слитномногоголосое, сдержанно-однообразное дыхание завода. Оно волнует рабочего человека, как зреющие хлеба труженика полей. Из воткнутых в небо труб тянулся слоисто-синеватый дым. От него наносило каменным углем и каменным железом. Из общего однообразия вырывался то вскрик паровозика, то лязг металла, то приглушенный перестук колес. Козочкин ловил знакомые звуки и запахи и мрачнел. До войны работал он в Перми на заводе, каких много на Урале. Работал подручным сталевара. Гордился своей профессией, любил ее. Его белозубый портрет висел у проходной на Доске почета. Валяясь в госпитале, много раз докатывался он до бешеного отчаяния, но постепенно отходил и корил себя: «Чо ты, Юрка, в душу мать? Не все сталеварами робят, да живут же!» А сейчас, впервые оставшись наедине со своей бедой, рядом с близким сердцу и навсегда далеким заводом, Козочкин содрал с головы шапку, уткнулся в нее и заплакал со всхлипом...

Далекий гудок паровоза напомнил ему, что надо ковылять на вокзал.

В вагоне — дурная душнота и внабой народу. Мужиков, правда, мало. Поезд на станциях стоял подолгу, и на каждой станции проводница яростно отбивалась от наседающих баб с заплечными мешками. «Куда только едут?» — дивился Козочкин, пристроившись в углу нижней полки у столика. Перед его лицом маячили стоптанные кирзачи сидящих на второй полке. Но Козочкину повезло. А какой-то солдатик с пустым рукавом ехал стоя. Только и посидел, пока настырная баба отлучалась, видно, по нужде, а когда вернулась, согнала его и еще отчитала:

- Дывысь, сыдить! Геть с чужого миста!
- Пусть отдохнет, заступились женщины.
- За який ляд? Воны усю Украину хрицу отдалы. О це воякы! Шоб им... зло процедила баба, плотно усаживаясь и тесня задом старушку.

Ночью в вагоне не было света. Козочкин дремал сидя, свесив голову и покачиваясь из стороны в сторону. Всю ночь в другом конце вагона плакал ребенок. Кто-то втаскивал и вытаскивал узлы, кто-то храпел, а кто-то кричал во сне. Козочкин слышал это, как сквозь ватное одеяло, иногда поднимал голову, разлеплял глаза и засыпал снова.

В Пермь поезд пришел утром, и тут Юрий Алексеевич хватился, что мешок у него украли. В госпитале выдали ему сухой паек, и теперь его не стало. Рядом с большой бедой, заполнившей сознание и своей неподъемной массой раздавившей все другие тревоги, потеря мешка с продуктами показалась Козочкину пустяком. Он вышел на привокзальную площадь, долго ждал трамвая. Странно, что вагоны поездов, железнодорожные вокзалы переполнены, а трамвай пришел полупустым. Будто народ сдвинулся с обжитых мест в дальние переезды, обезлюдив города. В поезде Козочкина больше занимали свои невеселые думы. И все же заметил он, что ехали больше либо эвакуированные, либо горожане в деревню обменять, что подвернулось, на котелок картошки или горсть муки, либо спекулянтки погреть руки на махинациях, а потому и грудились вдоль железных дорог. Часто и обмен происходил прямо на станциях и в вагонах.

«Понятное дело, – размышлял Юрий Алексеевич, сидя в трамвайном вагончике, который раскачивался, стонал и охал, как телега нерадивого хозяина, – рабочему человеку недосуг разъезжать-то. Фронту ж какую прорву одежи, харчей, оружия требуется! Вишь, и на улицах ни души. Так что с местов сдвинулось токо дерьмо. Всплыло, значит!» Козочкин выругался:

– Гады! У инвалида последний мешок свистнуть!

Дремавшая кондукторша вскинула худое личико, осовело уставилась на Юрия Алексеевича. Ее глаза затянуло мутью, веки отяжелели, голова упала на грудь.

Трамвай дотащился до конечной остановки на другом краю города.

Здесь в частном доме жила теща Козочкина, а к ней уже в войну переехала и жена Клава с двухлетней дочкой. «Возле маминого огорода легче прокормиться», — писала Клава в последнем письме, которое пришло Юрию Алексеевичу еще до ранения. Почтового адреса он не помнил, и переписка с женой оборвалась.

Тещу Козочкин не жаловал. Скупая и злая старуха. Оттого, видно, худющая. Ее клешневатые руки, из-за сутулости свисающие почти до коленей, цепки, по-мужицки ухватисты. Длинное лошадиное лицо исполосовано глубокими складками. Черные бегающие глаза, крепкие широкие зубы и в довершение – лысина во всю макушку. «Яга без грима», — окрестил ее про себя Юрий Алексеевич. Теща никогда не работала. Торговала на рынке малосольными огурцами, малиной, чесноком, хреном, перепродавала какое-то барахло. За это больше всего не любил ее зять, и после женитьбы был в ее доме всего два раза. Авдотья Петровна, встречая зятя, говорила, бегая глазами:

- Ударник заявился. Дурачков работа любит. Поди опеть грамоту дали?
- С Авдотьей Петровной и встретился Козочкин у калитки. Он подошел вплотную, когда его увидела теща и совсем не удивилась.
- Допрыгался. И там поперед других лез, сказала она, щупая его глазами.
- Клава дома? спросил Козочкин, пропустив мимо слова тещи.
 - Уехала.
 - Куда?
 - Картошку продавать.

Авдотья Петровна глядела на Юрия Алексеевича с каким-то торжеством, ее губы разошлись в улыбке, открыв широкие крепкие зубы.

- Говорила Клавке, мол, все одно тя покалечат али вовсе башку оторвут. По-моему и вышло, — она мстила зятю за его прошлое благополучие, за нелюбовь к себе и еще за что-то. В ее глазах бегали веселые чертики.
- Все ж таки послушалась меня. Как дочку схоронила, взамуж вышла. Картошку-то продавать с мужем и уехала. Хозяйственный мужик, не тебе чета, не скрывая издевки, закончила она.

- Врешь? выдохнул Козочкин.
- Подмоги от тебя ждать, дык ноги с голодухи протянешь...
- Вре-ешь? взревел солдат и жахнул ее костылем по голове, где под шалью скрывалась лысина.

Мужик поди не устоял бы от такой примочки. Теща присела, на миг коснулась земли клешнями рук, но сразу шмыгнула в калитку, изнутри задвинула засов.

– Врешь! – кричал Юрий Алексеевич, не помня себя, и колотил кулаками в калитку. – Врешь, стерва!

Из соседнего дома вышел старик. Шаркая подшитыми пимами, подошел ближе.

– Чо стряслося, служивый? – спросил он. Пригляделся, всплеснул руками: – Неужто Козочкин? Юрий Лексеич и есть! Вон чо... вон чо... Дык пошто сердце-то рвать? Плюнь. Дочку она схоронила, Клавка-то, и взамуж подалась. Я и говорю – плюнь.

Юрий Алексеевич притих, слушал его с поразительным спокойствием, какое бывает у людей в минуты крайнего отчаяния, когда ничего хуже случиться уже не может. «Ишь, рассуждает, — зло подумал он о старике. — Дочку схоронила. Взамуж подалась. Плюнь... Не свое горе-то». Козочкин надвинул шапку, поковылял прочь. Не сознавая, зачем, на кольцевой остановке сел в трамвай, вернулся на пермский вокзал. В вокзальной толчее приткнулся в углу. Он прозяб, его бил внутренний озноб. Так стоял он долго, даже не пытаясь где-то присесть, спокойно обдумать положение. Под черепом ворочалась бесформенная чертовщина озлобления и ненависти к теще, к жене, ко всем на свете. Целая нога ныла от непривычной нагрузки, голова кружилась, в горле — тошнота.

Рядом на скамейке баба в дубленом полушубке, закутанная в пуховую шаль, и подросток в заячьем треухе и фетровых бурках с чужой ноги, разложив мешок, уплетали розоватое на срезе сало с хлебом и луком. Подросток время от времени поднимал глаза на безногого солдата. Баба проследила его взгляд, обернулась на Козочкина и прикрыла сало холстинкой. Юрий Алексеевич догадался, что он невольно пялился на жратву, и сконфуженно отвернулся. «Сволочь, — подумал о бабе. — Спекулянтка». Он не ел со вчерашнего дня и вспомнил об этом только сейчас.

До зелени в глазах захлебнулся обидой и злобой на укравших у него мешок, на всех этих людей вокруг него, что бестолково двигались, толкались, ругались, жевали, лежали и сидели на скамейках и полу. Без всякой связи с предыдущим ругнул главврача госпиталя — сухонького старикашку в пенсне — за бодренькое напутствие: «Выше голову, солдат!» Хотя сам же, паразит, и отхватил ему ногу. Недобро припомнил лейтенанта, что орал, вытаращив глаза: «За мной! Родина нас не забудет!» И Козочкин, глядя на него, поперся вперед других и тоже что-то орал. В том бою лейтенант навсегда лег грудью на землю, раскинув руки. А солдат Юрка Козочкин — без ноги. Калека. Допрыгался! Юрий Алексеевич не заметил, как перенял слова и мысли ненавистной ему теши.

Проходили патрули с красными повязками, взглянули на Козочкина, приостановились. Разглядели, что солдат без ноги, прошли мимо. Юрий Алексеевич криво усмехнулся: «Подумали – дезертир. Вот гады!»

Вся вокзальная кутерьма на миг затихла, насторожилась и, сразу подхватив узлы, корзины, сундуки, слепой массой ринулась в широкие двери, на перрон. Вокзал опустел в считанные минуты. Заглушая рев толпы, через открытые двери вокзала ворвался грохот подходившего поезда. Козочкин сел на освободившуюся скамейку, вытянул занемевшую ногу, подобрал костыль и сразу задремал, отвалившись на спинку сиденья. Очнулся от боли в пояснице, поморщился. Вокзал, заполненный народом, тихо гудел. За окнами – ночь.

У ног Козочкина на сундуке сидел шустрый мужичонка, на коленях держал корзину, завязанную сверху платком.

- Проснулси, солдатик? улыбнулся он и шмыгнул носом.
 Козочкин промолчал.
- Отвоевалси, значить? Далеко ли едешь-то?

Опять молчание.

- Что-то и вещичков при тебе нет, не унимался сосед.
- Украли, неохотно ответил Юрий Алексеевич.
- Ето у их живо! Обчистют в секунду, токо не догляди, сочувственно кивал мужичок, теребя жиденькую бородку. Поди и поись неча?
 - Нечего, подтвердил солдат.

– Дык я могу уделить, – засуетился мужичок, развязывая корзинку. – Шапка-то тебе се одно ни к чему, придешь домой – выкинешь, а я тебе за шапку-то хлебца... Он отломил горбушку от булки домашней выпечки, протянул Козочкину.

Юрий Алексеевич воткнул в мужичка недобрый прищур, примериваясь огреть его костылем.

Не серчай, солдатик, – заговорил тот, – ить я от доброты.
 Не желаишь – не неволю.

Он убрал хлеб в корзину и отвернулся, крошки кинул в рот.

Всю ночь просидел Козочкин не вставая, чтобы не потерять место. Он, наконец, решил добраться до родителей, что жили в заводском поселке около Свердловска, но не знал, как. Ни денег, ни продуктов, а проездной билет только до Перми. Несколько раз проходили мимо патрульные и все пристально разглядывали Юрия Алексеевича. И вот старший из них спросил, слегка заикаясь:

– Далеко-ли собрался, б-братишка?

Козочкин по неуловимым приметам догадался, что перед ним бывший моряк. Мелькнула надежда.

– Из госпиталя приехал. Обокрали в дороге. А тут жена мужика себе нашла. К родителям надо бы, а ни денег, ни харчей. Документы есть, – выложил он.

Моряк побледнел, на лбу выступил малиновый рубец, правая щека дернулась.

– Я-ясно. П-п-пойдем.

В комендатуре безусый лейтенант пообещал:

– Посажу в первый же поезд до Свердловска, а там зайдешь в комендатуру. С продуктами хуже. Вот все, что могу. – Он вынул из стола ломоть черного хлеба, завернутый в газету, подал Козочкину.

В вагон усадил его морячок. На нижнюю полку, к окну. Наскоро попрощался:

– Б-бывай.

Только тронулся поезд, по вагону двинулся, опираясь на костыль, испитой человек в замызганной шинельке.

– Братья и сестры, подайте калеке. Подайте увечному солдату, – затянул он.

Ледяной озноб прошил Козочкина. Он отвернулся к окну, стиснул зубы. «Лучше не жить, лучше не жить», — отдавался в мозгу перестук колес. А тягучий голос выматывал из него наметившуюся надежду: «Подайте увечному солдату».

Напротив ехала женщина с больным ребенком. Эвакуированная. Она обменяла вязаную кофту на кусок хлеба и три вареные картошки в мундирах. Половину хлеба и картофелину подвинула Козочкину. Он испуганно запротестовал.

Голодный же. И калека, – тихо сказала она с состраданием.

Жалость доброй женщины взбесила Юрия Алексеевича, будто последняя струна оборвалась у него внутри, будто плюнули ему в лицо, обозвав получеловеком. Он с ненавистью глядел на женщину, не находя слов, сжатые губы кривила судорога, от лица до капли отлила кровь.

– Простите... Не хотела обидеть...

В Свердловске Юрий Алексеевич, пока дожидался поезда, обменял солдатскую шапку на драную ушанку и кусочек хлеба. Хлеб откусывал помаленьку и не жевал, а сосал, захлебываясь слюной.

Рабочий поезд полз черепахой. На остановках в вагон, освещенный единственным фонарем, молча, как привидения, входили люди в замасленных робах, притыкались кто где и засыпали. На заводской тупиковый полустанок допотопный паровозик притащил три вагона перед полночью: смена в двенадцать ночи. Козочкин выбрался последним на уже опустевшую площадку, прямо к игрушечно маленькому вокзалу, который оказался закрытым. Низовой ветер со снегом выдул вагонное тепло из шинели Юрия Алексеевича, бесцеремонно обшаривал спину в поисках лазейки под гимнастерку. Козочкин развернул ушанку, уложил подмышку костыль, запрыгал к дороге. «До поселка километра два. За час, может, доберусь, если не окоченею», – прикидывал он.

Около него остановились сани, звонкий мальчишечий голос пригласил:

- Садитесь, подвезу.

Мальчугану лет двенадцать. Он стоял в санях, широко расставив ноги и натянув вожжи.

Юрий Алексеевич лег на солому, подтянул ногу, свернулся калачиком. Парень накинул на него тулуп, сел рядом. Некоторое время ехали молча.

– Не помните меня? – спросил парень.

Козочкин повернул воротник тулупа, пристально вгляделся в улыбающегося мальчика, покачал головой:

- Нет.
- A я вас сразу узнал. Вы такой... самый правильный, о каких в книгах пишут.

Козочкина охватила непонятная тревога. Он замер и слушал. Что-то теплое шевельнулось в груди с первых слов мальчугана.

— Неужели забыли? Возле школы... Ногу я поранил... И платок не пожалели... перевязали. Красивый платок. Я и щас его в коробке храню... И брюки вы испачкали, когда на коленки становились.

Юрий Алексеевич вспомнил.

Приезжал он к родителям погостить. Нарядный и красивый, сильный и счастливый. Побывал в пустой школе, посидел за «своей» партой. Вся жизнь казалась ему в розовом и голубом — сталевар! Возле школьного сквера увидел неухоженного пацана в грязной рубашонке и рваных трусиках. Сидел он на пыльной земле, зажимал ладонью босую ногу и хныкал. Юрий Алексеевич спросил:

- Чего плачешь?
- Ногу об стекло.
- Покажи.

Мальчик отнял руку. Всю подошву развалила глубокая рана, из нее толчками текла кровь. Козочкин встал на колени, выхватил носовой платок, перевязал рану.

- Держись за шею, сказал он и понес мальчика в больницу.
 «Не забыл, сорванец», подумал Юрий Алексеевич и чуть улыбнулся.
 - Помню, сказал он вслух. Хорошо помню.
- Ну вот, обрадовался мальчуган. Я знаю, где живут ваши родители, прямо к их дому подвезу. Я приходил к ним, узнал, что вы на войне, а потом в госпитале. Бабушка Маня говорила, что вы сюда приедете, что в Перми, мол, делать ему нечего. Я чуть не месяц к поезду ездил встречать вас. И вот встретил.

- Как зовут тебя? стараясь не выдать волнения, спросил солдат.
 - Колька. А вас Юрий Алексеевич.

Мальчик помедлил, спросил осторожно:

- Награды у вас есть?
- Есть. Конечно, есть.
- Знал я, что вы героем будете на войне-то. Честное комсомольское, знал!

Козочкин прижал Кольку к груди. Мальчишеская незапятнанная чистота будто перелилась в него и вымыла горечь, унижение, злобу.

- Спасибо, друг, сказал он Кольке. Заходи когда.
- Ага, просиял тот. А награды покажете?
- Покажу. Обязательно покажу.

Дул низовой ветер со снегом. Шарил под солдатской шинелью, трепал ее полы. Козочкин не чувствовал холода. Смотрел вслед саням, на крепко стоящего в них мальчишку и шептал:

– Спасибо, друг.

г. Красноярск, 1983 г.

ШУСТРЯК

Минуты не мог усидеть без дела Сергей Шустров, жажда бескорыстной деятельности на благо ближнего составляла существо его беспокойной натуры. В большом рабочем поселке, райцентре городского типа, появился он после войны и скоро стал известен и старому, и малому. Впрочем, его фамилию и имя знали не все, зато все знали по кличке — Шустряк. Прибыл он в ефрейторских погонах, с нашивкой за ранение, с медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу» на выцветшей гимнастерке. Директор школы обрадовался и приказом оформил бравого ефрейтора военруком, пока не перехватили другие, и отдал ему директорскую двухкомнатную квартиру, что имелась при школьном корпусе, с отдельным входом со двора.

Через неделю к Шустрову приехала жена Маша с грудным ребенком, чемоданом и корзинкой.

Это неброская молодая женщина с задумчивыми, удивительно красивыми глазами на веснушчатом лице. Ее глаза неотрывно следили за каждым движением мужа с каким-то жадным обожанием. Она боготворила Сережу, гордилась им и не прятала счастливой гордости.

Сергею Шустрову, Сергею Карповичу, по душе должность военрука. Он вырос в собственных глазах и не снимал теперь ни видавшей виды военной одежды, ни боевых наград. На его подетски округлом лице с облупившимся на солнце носикомлуковицей и голубыми родниково-чистыми глазами под белесыми бровями — неулыбчивая строгость и озабоченность. Ремень затянут на последнюю дырку, «и почти что новые, с точки зренья старшины, сапоги кирзовые» начищены до невероятного блеска.



Хотя строгости Сергею Карповичу хватало ненадолго. Он скоро забывал о своем высоком назначении. Доверчивой, наивной простотой, готовностью выполнить любую просьбу красноречивее слов будто кричала его физиономия: «Может, что-то нужно? Я мигом!».

Учителя не приняли всерьез военрука.

- Мальчишка, ворчал вечно мрачный физик Агапов. Заездят его наши головорезы. Сбежит.
- Помилуйте!.. Фронтовик, ранен, боевые награды... вступалась либеральная старушка Альбина Павловна, учительница начальных классов.
- Награды, конечно, признание заслуг за честное выполнение долга перед Родиной, вставал в картинную позу преподаватель истории Сидор Евлампиевич, считавший себя тонким знатоком диалектики. К месту и не к месту пускался он в длинные путаные рассуждения о непонятных отвлеченностях. Его обычно никто не слушал.
- Но дорогая Альбина Павловна, продолжал он, война-то какая была! В общей закономерности событий хаос случайностей. Отдельно взятая случайность, голубушка, из конгломерата совокупных случайностей не может служить достоверным критерием объективной всеобщности...
- Зря, что ли, два раза наградили парня? била в лоб Альбина Павловна.
- Зачем такая вульгаризация? Каждое явление следует рассматривать диалектически, во взаимосвязи и взаимоотрицании...

В учительскую вошел подтянутый Сергей Карпович. Разговор обрвался на полуслове, учителя понимающе переглянулись. Молчавшая до сих пор Лидия Ивановна, по общему признанию, неприступная и неотразимая красавица, «немка», театральным движением отбросила огненно-рыжие крашеные локоны со лба, обратилась к Шустрову, прикрыв веки:

– Сергей Карпович, я забыла в седьмом «Б» классный журнал. Не будете ли вы так любезны...

Шустров сорвался с места, около дверей переспросил:

– В седьмом «Б»? – и исчез за дверью.

Амосов смеялся с привизгом, корчась на стуле. Хохотал, не меняя картинной позы, Сидор Евлампиевич, Лидия Ивановна,

довольно улыбаясь, переводила торжествующий взгляд то на одного, то на другого.

С ребятами Сергей Карпович поладил сразу. Правда, первый урок прошел совсем не по плану. Встретили его мертвой тишиной, но тотчас уловили, что строгость нарочитая. Посыпались вопросы. Шустров подробно рассказал, где и как ранен, за что получил награды, не умаляя своих заслуг и не добавляя к ним. Если что и приукрасил, то не намеренно. Рассказал, как сам свято верил, что было именно так, а не иначе. Даже пошел по рядам, дал поглядеть и потрогать медали. Для детей он стал своим, старшим товарищем, и Сергею Карповичу не нужно было как-то подлаживаться под ребят и под законы педагогики, он сам был взрослым ребенком. Устраивал военные игры и увлекался так, что вместе с ребятами полз с деревянными ружьями «в разведку», подкрадывался к «противнику», с неистовым «Ура!» летел в атаку. Участвовать в играх, которые на полном серьезе проводит боевой фронтовик, потянулись ребята даже из других школ. Глядели они на своего военрука с таким же обожанием, как и жена Маша.

Но как-то не контачил Шустров со взрослыми. Его мальчишески безудержный азарт в любом деле забегал дальше дозволенного, тем более педагогу. И неудачи следовали одна за другой.

По вечерам и воскресным дням в опустевшей школе «леваки» отлаживали водяное отопление. Сергей Карпович возился с ними в основном на подхвате: отнести, принести, подержать, приподнять – и, конечно, без оплаты. Когда все было готово, раскочегарили под котлом топку – «спытать систему». Подняли давление, пошли по этажам с осмотром. В коридоре второго этажа лопнул отводной патрубок, коридор заволокло паром, струя горячей воды со свистом била в противоположную свежевыбеленную стену. Шустров кинулся к трубе, сорвал с головы фуражку, пытаясь зажать свищ. Его осыпал веер горячих брызг, но он не отступал. «Левак» подбежал, завернул вентиль.

– Ты что, обалдел? – заорал он. – Шары могло выварить! Шустряк нашелся! Сколько атмосфер фуражкой хотел прикрыть. Кажи руки.

Руки и лоб покрылись волдырями. В «скорой помощи» Шустрова укутали в бинты.

Случай этот назавтра стал известен всему поселку, и молва попала в подготовленную почву. И раньше дети взахлеб живописали военрука, вызывая снисходительные улыбки взрослых. Да еще школьная секретарша вычитала в документах Шустрова, что во время войны он «имел контузию», и раззвонила в поселке. Теперь дети считали его героем, взрослые — чудаком.

Шустров ходил из угла в угол по квартире, нянчил огнем пылающие руки. Ребята пришли его проведать.

- На рыбалку шли, оправдывались они, и зашли.
- На рыбалку? оживился Сергей Карпович. Пошли вместе.
 - Больно вам?..
- Еще как, откровенно признался Шустров, будто в костре их держу.

Переулком вышли за огороды. На луговине, у речки, на вожжах, привязанных к колу, паслась коза. Увидела ватагу с удилищами-хворостинами, заметалась на привязи, сорвалась с обрыва, зависла над водой.

Нож! – закричал Сергей Карпович, – Режьте веревку!
 Коза плюхнулась в омут.

Вечером вломился к Шустровым разгневанный старик:

- Ты, што ли, контузия, вожжи обрезал, козу спустил?
- Я-а... Конечно, я.
- По какому праву вожжи спортил?
- Задавилась бы коза...
- Сколько годов не давилась, а тут «за-да-ви-лась», передразнил старик. Капусту она пожрала в огороде это как?
- В чьем огороде? нелепо спросил Шустров, пуще распаляя деда.
 - В моем! У тебя же ни хрена нет, окромя рыжих волосьев!
 - Зачем калитку в огород не закрыли?
- Чего же ее закрывать, коли коза на привязи? Тьфу! Одно слово Шустряк! дед махнул рукой и остервенело грохнул дверью.

И приглашали Шустрова в поселковый совет, и приглашали ребят в свидетели, и под конец пристыдили деда.

А кличка Шустряк осталась, и мнение, что военрук «с приветом», укоренилось.

...За школьной оградой по берегу озера в раннее росное утро мужик в красной майке косил молодую незагрубевшую осоку: зима все съест. Шустров отправился подсобить.

- Здравствуйте, поздоровался он.
- Здорово, Шу... Сергей Карпович.
- Нет ли другой косы? Охота пройти прокос-другой.
- Не захватил. Я покурю, а ты попробуй, предложил мужик.

Шустров сбросил гимнастерку, взялся за косу. Сначала дело не ладилось. Коса то хватала вершинки трав, то смахивала пластики дернины. Мужик посмеивался. Но вот косарь приноровился, и коса запела в его ловких руках, ровнехонько, под основание сбривая траву. «Цепкий, черт», — дивился мужик, а Шустров с машинной неутомимостью и темпом шел четвертый прокос, оставляя ровные грядки скошенной осоки и разнотравья. Теперь мужик с умыслом похваливал доверчивого Шустряка, а он, обливаясь потом и счастливо улыбаясь, махал косой с нарастающим азартом и шел прокос за прокосом. В самый разгар работы коса охнула, со звоном отлетела в сторону, в руках Шустрова осталось окосиво. В зарослях осоки оказался низко спиленный листвяжный пень, который не взяли ни сырость, ни время. Коса переломилась по шейке, возле пятки, и Сергей Карпович сконфуженно рассматривал серовато-голубоватый излом стали.

Мужика колотило от злости.

- На што тебе гляделки вставлены? Коса-то десять рублев стоит!
 - Сварить же можно...
- Сварить тоже деньги нужны, ишь какой Шустряк губить чужое добро.

Шустров вынул из кармана, сунул в шершавую лапищу мужика десятку, пошел с покоса. Мужик ухмылялся: цену-то он слупил почти двойную.

- ...Заболела дочка, и Машу вместе с ней положили в больницу. По три раза в день бегал проведать их Сергей Карпович.
 - Шустрый, одними глазами смеялись сестры.

Он не замечал издевки и дарил их широкой улыбкой. Маша безбожно ревновала его к «немке».

«Милай Серешка, – писала она в записке, – я знаю, што ты даеш реванши с етой рыжей Литкой...»

Он стал приходить еще и ночью, перед сном. Вставал под окном в освещенном квадрате, издали менялся с Машей воздушными поцелуями, брел домой.

Возвращаясь из больницы переулком, услышал однажды приглушенный крик и без оглядки кинулся на помощь. У забора какой-то верзила тискал девушку. Она вырывалась, пыталась кричать, он закрывал ей ладонью рот. Шустров обеими руками рванул хулигана за ворот. Тот обернулся, процедил сквозь зубы:

– А, Шустряк.

Не размахиваясь, сунул кулачищем в челюсть. Шустрова будто с крыши сбросили в пыль дороги. Он проворно вскочил, крикнул: «Девушка, беги!» — и снова бросился, как на темную скалу. Второй страшный, точно рассчитанный удар... Шустров лежит в пыли, глотает кровь.

 – Леха, не пришиби Шустряка. Оставь придурка для расплода, – хохочет девушка.

Леха подошел к Сергею Карповичу, легко поднял:

– Прости, Серега... Правильный ты, видать, мужик, да подоспел не вовремя. Ее, паскуду, убить мало. Пойдем провожу.

Леха присвистнул: в квартире пустые стены. Железная интернатская кровать, тощий матрац, байковое одеяло, школьный узкий и длинный стол и детская самодельная кроватка.

При свете Шустров узнал Леху. Это «левак», что орал на него: «...Шары могло выварить!»

- Узнал? - спросил он.

Шустров кивнул. Губы его вздулись, как сдобные ватрушки, и не повиновались ему. Алексей раздел Сергея Карповича, прикрыл одеялом, на губы положил холодную примочку. Огляделся, куда бы сесть, сел на кровать. Курил папиросу за папиросой. Сергей забывался сном раза два на короткое время, в голове гудело, ломило виски, как при контузии.

В окно через пришпиленные газеты заглянуло солнышко. Алексей встал, встретил глаза Сергея:

– На смену пора... Ты лежи. Вечером еды принесу. Тебе все равно пока пить и есть нельзя.

Сергей помаячил руками: подай, мол, гимнастерку. Из нагрудного кармана достал деньги, протянул Алексею.

- Зачем? Продукты купить? Убери. Месяц мантулил с нами, а мы обрыбились на дармовщину, сволочи, вскипел Алексей и решительно направился к выходу. От порога вернулся:
- Прости меня, Серега. Сдуру не в ту сторону кулаками махал... Нет. Я не о том... В суд подашь правильно сделаешь... По закону. Сердцем прости.

Вскоре в квартиру без стука вошла миловидная девушка с чемоданчиком в руке. У порога сняла туфли, надела белый наглаженный халат, заглянула в комнату:

– Здесь больной?

Вошла, покрутила головой, села на Лехино место.

– Я из заводской больницы. Алеша послал.

Не дождавшись ответа, убрала мокрую тряпку и ахнула: нижняя часть лица — сплошной багрово-фиолетовый кровоподтек, с подбородка снесена кожа.

- Сдурел!.. Боксер же!.. Убить мог... Ему такую статью теперь припаяют... на глазах девушки выступили слезы. Она не сразу поняла, чего хочет больной, рисуя каракули указательным пальцем на левой ладони.
- Карандаш и бумагу? сообразила она. Ясно! Как сама не догадалась?

Сергей Карпович написал: «Кто вы Алексею? Сестра? Как вас зовут? При чем тут статья? Я сам виноват».

– Лена... Знакомая Алеши, – смутилась девушка. И заговорила подчеркнуто деловым тоном: – Холодный компресс сделали правильно, остановили кровотечение. Теперь погреем, чтобы рассасывалась гематома.

Чуткие пальцы Лены изучающе обследовали отек несколько раз.

 Переломов и трещин нет. Главное – покой и тепло, – заключила она.

Осталась Лена до обеда. Грела на электроплитке воду, прикладывала горячее полотенце, втирала какую-то вонючую мазь. Даже рассказывала забавные истории. — Еду к маме в деревню, в теплушке народу полно, — говорила она, придерживая полотенце ладошками, — сидит на чемодане щекастый мальчуган, а рядом — хитрый такой старикашка. «Как тебя зовут?» — трогает он за плечо мальчугана. «Вовка», — набычивается тот. «Тезка, значит. Я тоже Вовка. А едешь куда?» — «К бабе Ане». — «Замечательно! Я тоже к бабе Ане. В школе учишься?» — «Ага». — «А хорошо ли учишься?» Вовка пожимает плечами. «Троечки-то имеются?» — не отстает старик. «Есть одна», — повеселел Вовка. «Великолепно! — восторгается старикашка. — И он еще скромничает при одной-то тройке! А остальные оценки как?» — «Двойки», — неожиданно заявляет Вовка. Все полегли в хохоте, — заканчивает Лена. Сама она хохочет до слез. В уголках глаз Сергея Карповича веселые лучики складок. Стараниями Лены ему стало легче.

Под вечер зашел Алексей, пропустив вперед себя сухую и строгую старуху-мать. Принесла она в кастрюльке куриного бульона и сразу пошла на кухню подогреть его.

- Бабка Агафья, отрекомендовалась старуха, решительно входя в комнату Сергея. Всплеснула руками, замерла около кровати, прижав смоченное полотенце к груди. Затем, как на хрустальную вазу, положила его на опухшее лицо Сергея Карповича. Глаза ее сделались холодными и злыми. Она со всего размаху, будто оглоблей, отвесила оплеуху сыну. Алексей стоял, понурив голову и опустив вдоль тела ручищи. Щека его запылала кумачом. Шустров встрепенулся, сел в кровати, протестующе размахивая руками.
- Лежи, Сережа, приказала старуха, не суетись. Ево кувалдой не зашибешь.

Не оборачиваясь к сыну, властно распорядилась:

Беги домой, живо! Принеси постелю из сенок. Я останусь тут.

И осталась... Кормила Сергея с ложечки, умывала, как малое дите, и все ворчала: «Варначина! Мало ему на етом... на рынге людей дубасить. Срамота! Весь в отца. Покойничек шибко охоч был ручищами помахать».

Бабка Агафья сходила в больницу, успокоила Машу: «Прихворнул Сережа, поправляется. Гляди за дочкой, а за ним я догляжу».

Каждый вечер приходил Алексей. Принес четыре табуретки – по его заказу сработал местный столяр. Разухабистый Алеха Прохоров за эти дни сильно изменился: присмирел, больше молчал, курил и о чем-то думал, уставясь в одну точку.

Ужинали втроем, как вчера и позавчера. На столе картошка в мундирах, зеленый лук, соль, сало, хлеб и квас. Для памятного послевоенного времени — роскошный ужин. Ужинали молча, как на похоронах. Бабка Агафья с того времени, как наотмашь ударила сына, будто не замечала его. Сергей Карпович говорить опасался, а жевать было совсем трудно: время от времени где-то в затылке шевелилась боль. И сейчас он не жевал, а медленно раздавливал зубами и языком молодую «нонешнюю» картошку. Молчание физической тяжестью заполнило комнату, давило, угнетало ужинающих нестерпимее, чем грохот в заводских цехах.

- Мама, - позвал Алексей.

Мать будто не слышала.

- Прости меня, пожалуйста, взмолился он.
- У Сережи прощенья проси.
- Просил уже... сник Алексей.
- Еще сиротой прикидывается, зашумела старуха. Сережа за твою подстилку заступился (да если бы только за твою!). А ты? Ты зверем, убийцей пошел на человека!..

Алексей вдруг сполз с табуретки, уткнулся лицом в колени матери и заплакал. У матери не дрогнул ни один мускул, сидела она прямо, в лице ни кровинки, в глазах мерцали льдинки.

– Сколько побоев от отца твоего износила. В прежние времена куда бабе одной с сосунком на руках? Из-за тебя все стерпела, а вырастила зверя... Нет моего прощения! – жестко отрубила она.

Сергей Карпович вскочил из-за стола, свистящим шепотом будто выплюнул в лицо старухе:

– Злобой зло не лечат, бабка Агафья, а словом убить легче, чем кулаком. – Он сцепил виски ладонями от страшной боли и все же досказал: – Алеша не сдержался в горячке и казнит себя, вы убиваете в рассудке. Ваш муж пятый год в солдатской могиле, а вы еще злобу в сердце носите. Так не вы ли и посеяли ее семена в Алексее?

Сергей Карпович застонал, подошел, пошатываясь, к кровати, обернулся, заикаясь, добавил:

- Γ -главное не в вашем прощении. Важнее, чтобы Леша сам себе не простил.

Теряя сознание, он пластом свалился на кровать.

Старуха сидела окаменевшим надгробием. Алексей раздел Шустрова, как в прошлый раз, укрыл одеялом. Мать встала, прямая и гордая, накинула платок на голову, направилась к выходу. Алексей загородил дорогу:

– Мама, побудь здесь, я за Леной сбегаю – ему плохо.

И не дожидаясь ответа, выскочил за дверь.

Сергей Карпович вполне поправился, вопреки мрачным опасениям Лены. Маша с дочкой вернулась из больницы, и у Шустровых все вошло в свое русло. Но Алексей Прохоров ушел от матери и перебивался где-то в общежитии у друзей. Бабка Агафья осталась одна в огромном, как крепость, доме, срубленном на века покойным мужем перед самой войной. Она во всем винила Шустрова: «Шустряк поганый, сына от матери отвадил».

В субботний вечер зашли к Шустровым Алексей и Лена. Принесли что-то из еды, и женщины ушли на кухню. Алексей поставил на стол бутылку.

- Употребляешь? спросил Сергея.
- Не-е. После контузии нельзя, врачи сказали.
- А до контузии? уже с затаенной усмешкой допытывался Алексей.
 - В детдоме как-то и на фронте раза два с простуды.
- Мужики называется! захохотал Алексей. Я тоже с полгода как распробовал, а курить, дурак, во флоте приучился.

Помолчали. Подумали каждый о своем. Алексей крутанул головой:

– Понимаешь, Серега, какая закавыка получается. Надумал с Ленкой в ЗАГС идти, да жить негде. В завкоме говорят, что свой дом имеешь, пять семей поместить можно. Не делиться же с мамой...

Сергей даже привстал:

- Рядом комната пустует, места хватит. Нам и в одну ставить нечего. А потом с матерью помиритесь.
 - Нет, постой... ты серьезно?

- О чем разговор?
- А Маша как?
- Да она рада будет.
- Что ты за человек, Серега?.. По гроб не забуду...

Сергей Карпович замахал руками и вдруг спросил:

- Как же та?
- Ах, та! не сразу сообразил Алексей. Та одна не останется. «Доит» другого лопуха. С ней я и водку попробовал, и... Лену обидел, для нее и по левой калымил. Верно шумела мама: «Калым» и слово-то не наше, а басурманское.

Весело рассаживались за стол. Алексей плеснул водки в стаканы, встал – и как в омут головой:

– Леночка... Лена, прости дурака... Завтра же пойдем в ЗАГС?

Лена вспыхнула, закрыла лицо ладонями.

- Пойдешь? А?
- Пойду.
- А жить переходите к нам. Занимайте вторую комнату, буднично сказала Маша.

«Они что, сговорились уже? – удивился Алексей, – Да нет, не могли». Он взглянул на Сергея, но тот неотрывно смотрел на Машу и сиял, как медный пятак на солнышке.

Мирились Алексей и бабка Агафья трудно. Но Алексей сознавал, что мать права. Сурова, но права. Мать оттаяла, узнав о женитьбе Алексея на Лене Зориной. С матерью Лены дружила с девичества, а Леночку любила как дочь. Выбор Алексея совпал с ее давним желанием. Царапало самолюбие старухи, что не спросили благословения, не позвали на свадьбу, хотя свадьбы и не было, да и не пошла бы она. Особенно бесило ее, что сын Алексей поселился у Шустряка, обидные слова которого она поклялась унести с собой в могилу.

Шустров до самозабвения безрассуден в момент свершения поступков, когда управляли им душа и сердце, а не разум. Однако и в такие моменты он не щадил себя. Если же событие захватывало его не в врасплох, был он и осмотрителен, и дальновиден. Во всяком случае, приступал к делу спокойно, а главное — вовремя. Его давно мучила совесть, что обидел бабку Агафью, которая кормила, умывала его и водила под руку по нужде.

Во время болезни хватило времени хорошенько все обдумать. Однако женитьба Алексея осложнила ситуацию и отодвинула визит к старухе. Теперь он внутренним чутьем уловил, что обстановка «дозрела».

Бабка Агафья подметала двор. Открылась калитка, и вошел Сергей Карпович. Подошел ближе, поздоровался. Она смотрела на него, как на выходца с того света, пораженная его дерзостью. Пальцы, сцепившие черенок метлы, побелели. Шустров, не давая опомниться старухе, сказал:

– До земли поклониться пришел, что выходили меня, – и поклонился ей в пояс. – Забудьте, пожалуйста, что я в больном беспамятстве наплел. Из-за меня и Алексей ходит, как опоенный, любому месту не рад.

Притворяться и лгать Шустров в принципе не мог, если это даже необходимо. Говорил он подкупающе искренне потому, что сам был убежден в непогрешимости своих слов. Бабка Агафья не ожидала такого поворота и обезоруживающей, от души идущей справедливости Сергея Карповича и даже самообвинения. На ее щеках выступил румянец.

Так и будем стоять середь двора? Проходи в избу. Молока свежего испей.

Сергей не отказался.

- Вот это молочко! восторгался Шустров, допивая вторую кружку, в жизни такого не пробовал. И где попробовать, Агафья Ефимовна? То в детдоме, то в ФЗУ, а потом армия и фронт все на казенных харчах. А теперь... сами знаете.
- C собой возьми крыночку дочке, окончательно отмякла неподатливая старуха. Но ни слова о сыне и Лене.

Сергей Карпович двинул главный козырь:

– Лена хворает, а от врачей отказывается. Ей молоко пригодится. Зашли бы проведать. Мать к ней из деревни приезжала на денек. Дольше задержаться не могла. Вам велела кланяться.

Старуха заторопилась. Пока она собиралась, Шустров рассматривал фотокарточки. Вот совсем молодая, красивая и властная бабка Агафья с мужем. «Удивительно, до чего Алексей похож на отца», – подумал Сергей Карпович. А вот отец Алексея в форме старшины, с орденом Красной Звезды. Эта карточка помещена в отдельную рамку и обернута расшитым полотенцем. Шустров не знал, что бабка Агафья достала фотографию из сундука и повесила на переднюю стену после их ссоры, и корил себя за несправедливые упреки.

В квартире Шустровых Агафья Ефимовна у порога сбросила обувь, сняла фуфайку, на ходу коротко поздоровалась, прошла в комнату молодоженов, прикрыла за собой дверь. Лена была одна, лежала в кровати.

- Мамочка!.. Пришли? заулыбалась она, бледное лицо порозовело, глаза повлажнели.
 - Что с тобой, доченька? подсела бабка Агафья на кровать.
 - Пройдет, мама... Понесла я... смутилась Лена.
 - Алешка знает?
 - Знает.

Бабка Агафья готова была пуститься в пляс. Дождалась Алексея. Примирение было полным.

...Подошла дождливая осень. Начался новый учебный год. Сергей Карпович целыми днями пропадал в школе. И после уроков ребята табунились возле военрука, ходили за ним, как на веревочке. Он водил их то в лес, то на речку, то еще куда. Словом, Шустров был и остался Шустряком. Жители поселка приступили к уборке огородов, копали картошку. Дети после уроков убегали помогать взрослым. У Сергея Карповича высвободилась уйма времени, и он пошел проведать Агафью Ефимовну, да и застрял там. Старуха копала огород, мокрую картошку носила в мешках под навес, рассыпала для просушки. Алексей и Лена на работе. Разве мог Шустров не помочь? Он обрадовался, что сыскалось занятие.

Алексей вернулся рано, отпросился с работы. Пораньше пришла и Лена, но Агафья Ефимовна выдворила ее с огорода.

– Иди, иди, доченька. Ужин свари – мужиков кормить.

Управились за полночь. Сергей Карпович добрался домой усталый, но счастливый.

С утра бегал он в поселковый совет, в военкомат, наводил какие-то справки. На уроке по военной подготовке в восьмом классе Шустров построил ребят.

– Боевой приказ, – торжественно объявил он. Оглядел ребят и продолжал, заглядывая в листок. – В ожесточенных боях враг надломлен, отступает, неся большие потери в технике и живой

силе. Бойцы Советской армии крушат противника на всех направлениях. Но затяжные дожди затруднили подвоз боеприпасов и продовольствия, а главное — уборку урожая. Приказываю: направить на уборку войсковые подразделения, не занятые в боевых операциях. Все силы на спасение урожая, на помощь тылу.

Шустров свернул листок, с которого читал, и убрал в нагрудный карман. Приказ был отпечатан на машинке и подписан: «военрук школы Шустров».

– Товарищи бойцы! В микрорайоне нашей школы особенно сложная обстановка с уборкой картофеля у Кудриной, Селивановой, Прониной... – всего Шустров назвал двенадцать фамилий. – Мужчины из этих семей сложили головы за нашу Родину, взрослых детей нет. Нельзя допустить гибели урожая. Всем, кто свободен от боевых операций, то есть копки картофеля дома, собраться у школы через час в рабочей одежде. Девочкам захватить ведра, мальчикам — вилы или лопаты. Завтра будет работать другая группа. Вопросы? Ра-азойдись!

День на третий вечером к Шустровым зашел директор школы, тоже фронтовик. Пустой рукав «комсоставской» гимнастерки заправлен под ремень. Шустров умывался: он только что вернулся с огородов вдовых солдаток. Директор снял фуражку, пригладил седеющие волосы, спросил вместо приветствия:

- Как поживаете, Аника-воин?
- Что-нибудь случилось, Анисим Германович? опешил Шустров. – Проходите в комнату.
- Не заходите вы, пришлось самому, он осмотрел комнату, грузно опустился на табурет. Из районной газеты приходили, вас спрашивали. Просили завтра с утра к ним зайти. Жалоба в редакцию поступила от нашей пионервожатой.
 - Жалоба?
- Жалоба. Самовольничаете, систематически срываете планы воспитательной работы, и все такое...
 - Я же как лучше...
- И я говорю: стало лучше. С дисциплиной стало лучше, озорников стало меньше, перебил его директор. Я сам озорников припугиваю: военруку, мол, пожалуюсь.

С последними словами директор рассмеялся.

Шустрову было не до смеха. «Как же быть? – лихорадочно обдумывал он. – Два огорода осталось докопать. Бросать нельзя!»

– Выше голову, Сергей Карпович! Я вашей работой доволен, действия одобряю. Давно хотел сказать. Но согласовывать их все же нужно. В случае чего отвечать вместе и в первую очередь мне.

В редакции востроносенький очкарик, назвавший себя Борисом Михайловичем, борзо насел на Сергея Карповича и припер, что называется, к стенке. «Подрыв авторитета комсомольской организации», «партизанщина», «вред воспитанию советского человека» и все в таком духе. В комнату вошел солидный мужчина с нездоровым, отечным лицом.

- Грибов. Редактор, представился он Шустрову и, обращаясь к очкарику, добавил: Закончите беседу, Борис Михайлович, зайдите ко мне вместе с Сергеем...?
 - Карповичем, подсказал Шустров.

С уходом редактора Борис Михайлович совсем закусил удила и к каждой фразе добавлял: «умышленно», «преднамеренно», не давая Сергею Карповичу открыть рта в свою защиту. Шустров вскочил, огрел кулаком по столу.

- Пиши что хочешь! Кривая душа!
- Ясненько, процедил сквозь мышиные зубки очкарик. Идемте к Грибову.

Шустров отмахнулся, вылетел в коридорчик и чуть не столкнулся с редактором. Тот услышал шум и поспешил из кабинета.

- Зачем волноваться, Сергей Карпович? взял Шустрова под руку, провел в узкую комнату. Следом вошел очкарик.
- Здесь все ясно, Глеб Иванович, от порога начал он. Товарищ Шустров злостно игнорирует общественные организации и даже нашу газету...
- Эк хватили, перебил Грибов, ясно так, что ничего не ясно. С утренней почтой пришло еще четыре письма, и все о Сергее Карповиче. Вот они.

Грибов прихлопнул ладонью стопку бумаг. Закурил, закашлялся. Сердито придавил папироску в консервной банке, что служила пепельницей.

– Одно письмо от товарища Агапова.

- Какого Агапова? удивился Шустров.
- Преподавателя физики. В письме ничего нового, по сути повторение жалобы пионервожатой, и слова те же и даже целые фразы. Только пространнее о важности планомерного воспитания молодежи, «испорченной в условиях войны», и высоком назначении педагога. Так и написано: «испорченной». Здесь, кажется, все ясно. Пионервожатая – племянница Агапову. Но вот еще три письма... – Грибов говорил медленно и тихо, как бы рассуждая для самого себя. – Пишут вдовы фронтовиков. Письма разные, слова разные, а смысл один: спасибо пионерам и комсомольцам, всем ребятам школы... Улавливаете, Борис Михайлович? «Пионерам и комсомольцам». Где же подрыв авторитета? И дальше: спасибо учителям, что воспитали... Улавливаете? «Воспитали...» - и во всех письмах благодарность Сергею Карповичу. Вот. Он взял листок и прочитал: «Сам копал картошку, сам таскал кули. Ребята возле него, как возле наседки...» и еще «от денег или яичек отказался».

Грибов потянулся за папиросой, но скомкал ее и швырнул в консервную банку.

– А что за приказы, которые сеют панику, сочиняете от имени Комитета обороны? – обратился он к Шустрову.

Сергей Карпович достал из кармана помятый листок, протянул Грибову. Грибов прочитал, усмехнулся.

- Сами сочинили?

Шустров кивнул.

- Й печатали, похоже, сами?

Шустров опять кивнул и заговорил сбивчиво:

- Понимаете, Глеб Иванович... Ребята... они... С ними и в игры нельзя понарошку... Надо по-настоящему... и умолк, не зная, что добавить.
- Вот-вот. И директор школы только что звонил, мол, Сергей Карпович настоящий педагог-воспитатель, что душу ребят, как букварь, читает, что все мероприятия проводит по плану и согласовывает с ним.
 - Планов у меня нет, смутился Шустров.

Грибов захохотал так, что стены дрогнули.

– Чего же... Чего же вы директора подводите? – едва выговорил он, вытирая платком глаза. Успокоился. Покачал головой:

- Накрутили! Подрыв... преднамеренный... злостный... Да он и соврать-то не может, святая душа. За то и любят его ребята. У кого сегодня картошку копаете?
- У Семеновой и Кудриной, с готовностью выпалил Шустров, чувствуя, что все обошлось.
- А говорите планов нет. Борис Михайлович, сегодня же побывайте на месте, посмотрите, как работают ребята. Не забудьте зайти к директору школы, заберите эти письма и напишите хорошую статью. Надо, чтобы другие школы района подхватили почин Шустрова.

Где, что, когда случилось, но отношение к Шустрову у взрослого населения поселка изменилось. Конечно, сильно способствовала этому статья в районной газете. За глаза его все равно чаще называли Шустряком, но вкладывали в прозвище совсем иной смысл.

Мокропогодье надоело до чертиков. Мокрый снег и дождь. Дождь и мокрый снег. Грязь по колено. Пора бы лежать снегу и быть морозам, однако с самого утра сеяло то дождем, то крупой. К вечеру потянул настойчивый северный ветерок; как лезвием бритвы, резал лицо и руки. Небо сразу очистилось. В ночь вызвездило и хряснул, наконец, морозище, наверстывая потерянные дни. Грязь затвердела каменными булыгами с сединкой инея, обледенелые деревья мерцали тысячами звездочек в холодных лучах восходящего солнца. Озеро в одну ночь передернулось льдом и блестело отполированной поверхностью. Только там, где вливалась в него речушка, виднелась тусклая рябь открытой воды.

Дети стайками шли в школу, румяные от мороза, как снегири. Они с визгом и смехом катались на ногах с разбегу по льду стылых луж, радуясь новому занятию.

Шустров предупредил дежурных (дозорные патрули, как он их называл), чтобы на переменах следили за озером и не пускали ребят на лед.

Шел четвертый урок. В учительской преподаватели, у кого «окно» в расписании, проверяли тетради, листали книги, что-то писали или читали, изредка перебрасывались фразами, когда в форточку влетел отчаянный крик: «Ма-ма-а!». Установилась мертвая тишина. Шустров бросился к окну и, протаранив дверь, вылетел из учительской.

Грохот сапог по лестнице гулом прокатился по пустым коридорам и стих, когда учителя подбежали к окнам. На берегу озера бестолково суетились ребята, размахивали руками, кричали:

– Доски надо! Веревки..!

А поодаль от берега, в полынье, барахтались двое, похоже, дети.

Шустров на берегу сбросил сапоги и фуражку, с ходу выскочил на лед. Лед затрещал и просел, выступила вода. Военрук по инерции упал вперед, вытянулся и покатился к полынье «солдатиком», как катаются иногда дети с пологих горок. Из школы к озеру бежали ребята и учителя. Шустров достиг полыньи, распластался во весь рост, широко раскинул ноги, дотянулся, выдернул на лед мальчишку, приказал:

– Ползи к берегу! Живо! – мальчик пополз. Второй мальчуган ухватился ручонками за кромку льда, цепенея от ужаса и холода, круглыми, невидящими глазами смотрел в пространство, молчал и не шевелился. Шустров перекатился к другому краю полыньи, потянулся руками... Но пальцы малыша соскользнули, и он ушел под воду. В тот же миг и Шустров скользнул животом по льду и вниз головой без всплеска нырнул в полынью.

На берег высыпала вся школа, прибежали мужики с соседних улиц, принесли веревки, доски, торопливо накачивали невесть откуда добытую резиновую лодку и, как всегда в таких случаях, что-то не ладилось. Когда мальчик исчез под водой и Шустров нырнул вслед, будто ветер по вершинам деревьев, по толпе прокатился тревожный шепот и стих. Мужики забыли о лодке и веревках и неотрывно смотрели на полынью.

Шустров вынырнул, вытолкнул на лед мальчонку, что-то кричал ему, но тот не двигался. Тогда сам стал выбираться из полыньи, осторожно переваливаясь на лед. В последний момент льдина обломилась, и военрук погрузился с головой, но прежде успел оттолкнуть мальчишку с треснувшей льдины ближе к берегу. Так повторялось несколько раз. К тому времени отец первого мальчика, круша перед собой лед, зашел в озеро по горло, перенял ползущего сына, вынес на берег. На воду спустили лодку. Двое мужиков рубили лед и подвигались на помощь. Шустрову подождать бы, а он в каком-то исступлении наваливался на лед,

толкал вперед мальчишку и уходил под воду в крошеве льдинок. Движения его делались все медленнее, под водой он оставался все дольше, а когда до лодки было всего несколько метров и мужики бросили конец веревки, рука Шустрова скользнула по нему, и он погрузился в последний раз.

На льду одиноко и неподвижно лежал темный комочек.

Из молчаливой толпы взвился в морозный воздух крик-плач, крик-стон: «Сере-жа-а!». Это кричала Маша. Умирающей птицей билась она в руках женщин, рвалась в озеро. Мужики подобрали мальчика, крутились в полынье, не зная, что делать.

Прыгая по кочкам, к берегу подлетела бортовая машина, взвизгнула тормозами. Первым выпрыгнул Алексей, за ним пяток дюжих ребят. Открыли борт, на берег выбросили лодку. Оказывается, директор школы звонил на завод, просил прислать спасательную группу. Ребята, не теряя времени, столкнули лодку на воду, поплыли. Алексей сбрасывал одежду.

Только на третий раз он, вынырнув, ухватился за борт рукой, выдохнул:

– Помогите.

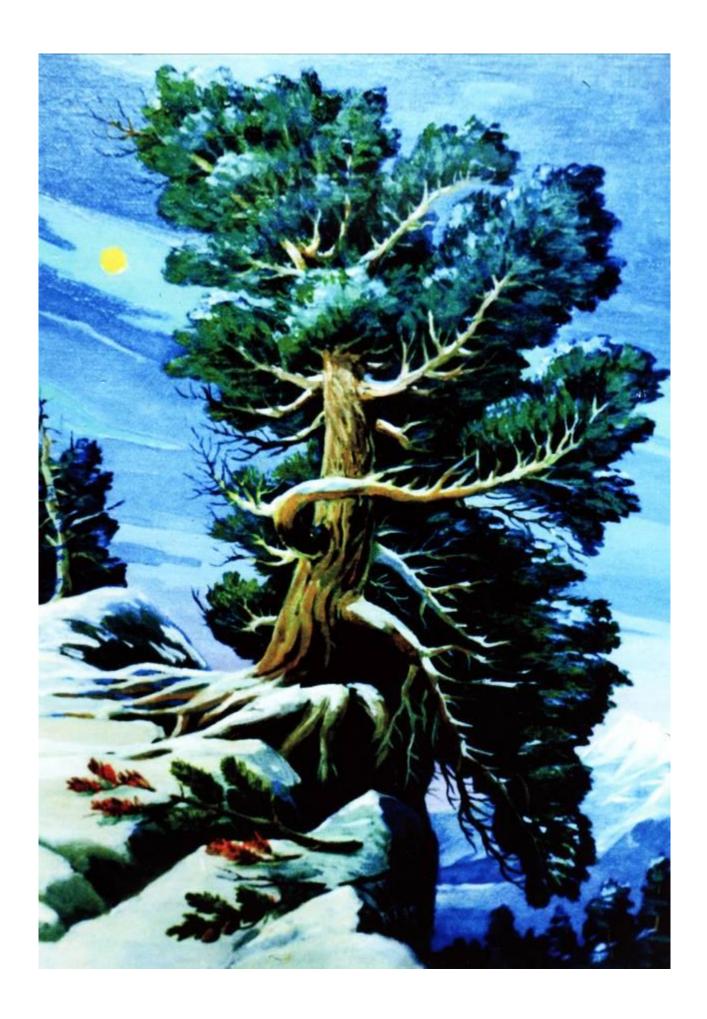
Ребята втащили в лодку сначала Шустрова, затем Алексея. Пока плыли к берегу, начали оказывать Шустрову первую помощь.

На берегу ждал врач. По его команде в кузове машины раскинули полушубок, делали пострадавшему искусственное дыхание, растирали его спиртом. У открытого борта женщины под руки поддерживали Машу. Она не билась, не кричала и не плакала. Глазами, полными ужаса и обожания, смотрела на своего Сережу.

Сначала врач уловил слабый пульс, затем дыхание... К Шустрову возвращалась жизнь. Врач выпрямился, улыбнулся и даже подмигнул толпе.

- Порядок!.. Дайте кто-нибудь полушубок укрыть товарища Шустрова, попросил он. Ему с готовностью протянули несколько полушубков.
 - В больницу, кивнул он шоферу.

г. Красноярск, 1980 г.



В ВЫТРЕЗВИТЕЛЕ

«Чо-то уж и темень наползла? Вроде бы рано ей... А может, и пора», — Макар Сапегин подумал об этом вскользь. Наступающие сумерки его не занимали. Сидел он в полупустом автобусе, до глаз надвинув заячий треух и свесив между коленей узловатые руки в синих венах.

Когда шел он к автобусной остановке, под ногами вкусно похрустывал тонкий ледок, по асфальту вдоль бордюрных брусьев сочился еще не совсем прихваченный морозцем ручеек, а чистый бодрящий воздух, живительный и чуть колючий, пощипывал ноздри. Макар подумал: «Эх, Гришка, Гришка! Весна, брат, а ты...» Но додумать до конца ему не хотелось даже про себя. И только сидя в автобусе, как не оттягивал, а закончил: «...А ты помирать собрался». И сделалось Макару совсем не по себе, спина ссутулилась, на лице резче обозначились складки.

На остановке «Мединститут» в автобус вломились шальной оравой человек тридцать напористой, крикливой, полонящей силой. «С танцулек, чо ли? — отвлекся Сапегин от тягучих дум. — Нет. Похоже, врачата: халатики под пальто белеют». А парни и девчата рассаживались, хохотали, толкались, шумели, будто все, кто был до них в автобусе, даже внимания не заслуживали. Они их просто не замечали или не принимали всерьез. А все, о чем они шумели и спорили, и есть самое главное в масштабах международных.

От строгого сидения в аудиториях в них скопилась прорва молодой энергии и теперь перла наружу. Сразу образовались кружки, в которых с одинаковой легкостью и юношеским запалом обсуждались любые проблемы, от зачета по физкультуре и губной помады до антимиров и антиматерии.

И никаких неясностей, как на свежей лыжне в чистом поле, – каждый рубил сплеча свои суждения в последней, так сказать, инстанции.

Какой-то парень бесцеремонно потеснил Сапегина, развалился рядом, видать, авторитет и заводила в каком-то своем кругу. Около него стабунились ребята на передней площадке, а он развивал раньше начатые мысли:

— Невропатолог — самое то. Убежден по шляпку. Тетка моего кореша — невропатолог. В спортобществе. Деньги гребет! Почерному. Соревнование, а она: «Нельзя, нервы». И нормал, попробуй докажи! Перелом, вывих — любая травма — на виду. А нервы? — парень захохотал, свободно так, уверенно. — Доходно, черт побери! У нее и дача, и «Волга», и гараж, и... В общем, я — в невропатологи! Точка!

Сапегина ошарашило нахально откровенная позиция парня. Он уставился на него, как пялился на скелет мамонта в музее.

- Я простой советский человек. Не Пирогов. Нет, продолжал парень. Но я хочу вкусно шамать и кататься в собственной машине и открыто заявляю свою программу. Человек существо общественно-биологическое. Ничто биологическое ему не чуждо, в том числе и борьба за существование, что блестяще доказал старик Дарвин.
- Человек ты не советский, ввязался Сапегин. Тебя для чо учат-то, сопля зеленая? Чтоб людей лечил! А ему, ишь деньги грести! Шваркну по морде токо вонь останется.

Парень покосился на Сапегина, брезгливо приспустил уголки губ:

- От тебя, прадед, самогоном несет и чем-то... конским. Сиди тихо-о-о-нечко, а то...
 - Чо «а то»? Ну, чо «а то»? Ишо грозит, гнида.
- Заткнись, чокнутый! парень покрутил пальцем у виска, A то выкину или в вытрезвитель сведу. Хомо сапиенс!

Сапегину на миг припомнились слова старухи: «Чо ты в кажну дырку суесся?», –но он уже не мог совладать с собой.

 Кого выкинешь? – гаркнул он и ухватил парня за грудки. – Каку ж ты агитацию ведешь, сволота, посреди молодежного поколения?

Парень применил какой-то прием, но напоролся на ответную силу. Ворот спортивной куртки у парня затрещал. Прием парня больно отдался в плече Сапегина. Он переборол боль и грудью лег на студента, задышал в лицо:

- Молокосос! Отрекайся от агитации!
- Отпусти, прохрипел студент. Ребята, он же пьяный.
 Двое студентов разняли пальцы Сапегина:

- Спокойно, батя! Что ты, в самом деле? Свобода слова... и печати.

Как только парень почуял слабину, вскочил на ноги, рванул Сапегину руку, вывернул за спину. В глазах Макара заплясали желтые змейки. Он стиснул зубы, сдержал стон.

– Пьяная образина, – бесился парень, – налил глаза и за горло... В вытрезвитель его, ребята.

Молодой лейтенант милиции выслушал бурные негодования парня, взглянул на его удостоверение члена ДНД, начал осторожно:

— М-да!.. Что ж вы, папаша? У них свои дела... Наука в голове... А вы?.. Не годится как-то. По возрасту вы, понятно, отец. А все-таки нельзя же так-то. Порядок нарушаете в общественном месте. Выпили? Выпили. Запрету, конечно, полного нет, а норму поведения блюсти положено. Идите домой... Наказывать вас неловко как-то.

Сапегин слушал, склонив голову. Покорно слушал. И взъелся ни с того ни с сего:

- A энтих сопляков, значить, одобряешь? Без всяких наказаниев?
 - За что их наказывать? удивился лейтенант.
- Они, оглоеды, грабить собрались! Через свое высшее образование, буквально, грабить!..
- Я же говорю, перебил лейтенант, выпили идите отдыхать. Без греха.
- Где камера? Показывай, загорячился Сапегин, замахал руками. Сидеть буду, в душу мать, покеда не разбересся. На то поставлен, чтоб разбираться!..
 - Послушайте, папаша!..
 - Не желаю слушать! Ишо погоны прицепил...
- Разговорчики!- лейтенант кинул на голову фуражку с блестящим козырьком, одернул гимнастерку. Попрошу документы!

Макар без разговоров достал полиэтиленовый кулек с документами, положил на край стола. Лейтенант развернул их, полистал, сказал грустно:

Пить-то вам совсем нельзя. Как же вы, батя? Себя ж гробите.

- Эка беда! закипятился Сапегин, но сразу остыл, согласился покорно: Нельзя, конешно... С горя я малость и выпил. Гришка, понимаешь, помират.
 - Кто такой Гришка?
- Как хто? удивился Сапегин. Герой! Вот хто! Две «славы» у нево, а ты «хто?». Вместях нас фаустой переконтузило.
- Так...– лейтенант помялся, подвинул стул, садитесь, батя. Расскажите, что у вас вышло-то?
- Вот энтот хлюст, Макар указал пальцем на парня, усаживаясь на стул, проводил зловредную агитацию, мол, давайте учиться по нервенной специальности. Поди, мол, проверь, болеют нервы-то али нет. Тут, мол, и греби деньгу... Так и агитировал, подлец: обирай, дескать, чтоб сладко исть да на машине форсить.
- За чо я тады воевал-то, язви их, чтоб терпеть мухлевку-то», говорю ему. Сапегин снова указал пальцем на парня, мол, за такие вот зловредные слова можно и по зубам звякнуть.
- С того началось, и... закрутили руку, приволокли... Как же тады? Быть-то, говорю, как? Тетку каку-то, врачиху по нервам, в пример выставлял, дурит, мол, народ и в масле купается. Нешто можно на чужой-то беде?..
 - Неправду он говорит, перебил парень.
- Брось, Федька! Правильно дед рассказал, подтвердил другой парень, помоложе. Так все и было, товарищ лейтенант.
- Так...– лейтенант всегда повторял это словечко, принимая решение. Григорьев, в третью камеру студентов.
- Есть! с готовностью ответил пожилой сержант. Пошли, ребята.
- Да вы что... товарищ лейтенант? опешил студентзаводила. – Мы не знали, что он инвалид.
 - Должен знать, раз в дружине состоишь. Невропатолог!
- Мы не пьяные, а тут вытрезвитель, с ядовитым торжеством улыбнулся парень. Брось, дескать, на пушку брать.
- В третью камеру, повторил лейтенант. Утром отправлю на пятнадцать суток за хулиганство.
- Пошли, ребята, поторопил Григорьев, показывая рукой вдоль коридора.

Ребята неохотно пошли. За ними Григорьев.

- Извините, товарищ Сапегин, сказал Григорьев.
- Чо там... наш брат тоже всякий...
- Долго воевали-то? спросил лейтенант.
- Года полтора будет. Из Сталинграда в госпиталь и все, отвоевался. Первый-то раз легонько царапнуло ишо под Москвой... Токо орден мне дали, за Москву-то, энто уж в Сталинграде... Ага... А дня через три, видно, такой бой случился, бляхамуха!.. Немец осатанел, так и лезет, гадючье семя... Тады нас и... фаустой вместе с Гришкой. И отвоевались оба...
 - Дед у меня под Орлом погиб.
- Вон чо-о! покачал головой Сапегин. Да... много народу полегло... Я ишо шкребусь да шумлю тута, а они... того... Вот и Гришка тоже... говорят, днями помрет.

Вспомнив Гришку, Сапегин повесил голову, ушел в свои думы. Лейтенант не мешал ему думать.

Макар вдруг поднял голову, долго со строгим вниманием вглядывался в лицо лейтенанта.

Опеть неладно в мире-то, – заговорил Сапегин. – Ежели чо, тебе берегчи Расею и энтим студентам.

Лейтенант знал из книг и лекций, что не раз на Россию ломила военная сила, что новая война, если она случится, будет страшной войной, знал, конечно, что ответственность за сохранение Родины лежит на его поколении.

Но никакие речи профессиональных лекторов не проникали с такой силой до глубины его сознания, как простые слова малограмотного инвалида, будто говорил он от имени тех, что погибли, от имени тех, что уходят из жизни и, уходя, обеспокоены — повторят ли сыновья и внуки их подвиг в грозный час.

И, может, только сейчас понял лейтенант, что они завоевали право на это беспокойство огромной ценой, ценой лишений, ценой потерь и собственной кровью.

Холодок царапнул кожу между лопаток лейтенанта.

Он смотрел в пристальные глаза Сапегина, видевшие такое, чего не видел он и в самом страшном сне...

– Ты вот что, лейтенант... Отпусти-ка робят...

Лейтенант вскинул брови, удивленный неожиданным поворотом.

- Отпусти, повторил Сапегин. По глупости они. А то, гляди, ишо из института выкинут. Перегиб он тоже, знаешь, совсем ни к чему. Во вред. Может, энти робята меня же и лечить будут... От Гришки-то врачи не отходют, а то бы давно помер.
 - Эх, батя, батя! Ценный вы человек.
 - Эх, хватил! Обнаковенный.
 - Григорьев, веди охламонов.

Лейтенант встал, оглядел притихших студентов, объявил:

 По просьбе Макара Кузьмича отпускаю вас. Он считает – по глупости обидели его.

Парень-заводила усмехнулся, понимающе приподнял брови. Лейтенант кольнул его взглядом и продолжил:

- От себя скажу, что в ваши годы товарищ Сапегин был ранен и награжден орденом, лейтенант выдержал паузу и закончил: Ты, невропатолог, гляжу, ничего не понял. Удостоверение дружинника на стол, и пойдешь обратно в камеру. Все. Григорьев, отвези Макара Кузьмича домой.
- ...Видимо, примерно так представлял себе Макар Сапегин исход события. А случилось все куда проще. Его втолкнули в узкую комнату, заперли дверь.
 - К утру очухаешься, буркнул сердитый сержант.

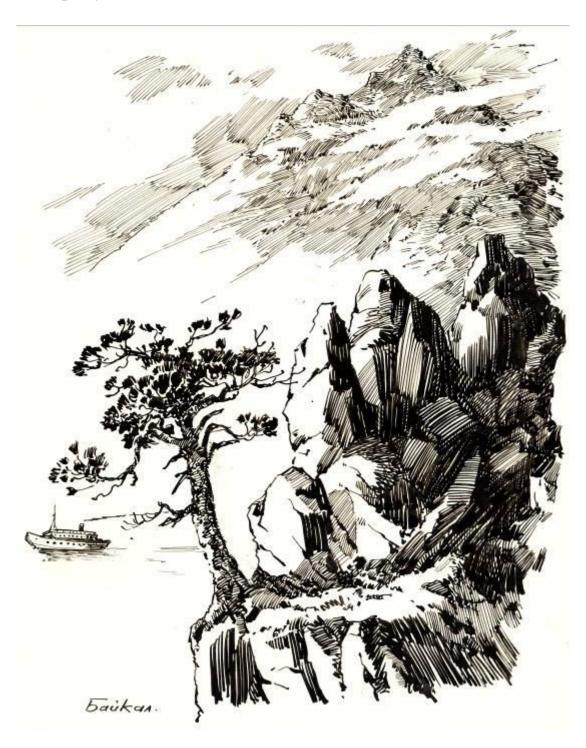
Макар нащупал в темноте табуретку, опустился на нее. Его глаза пощипывали горькие слезы. А лейтенант мурлыкал веселый напевчик и расставлял на доске шахматы для новой партии с сержантом Григорьевым.

г. Красноярск, 1983 г.

СТАРЫЙ ХРАМ

Ночью, часу во втором, пошел дождь. Стародубцев слышал сквозь сон его неторопливый глухой стук о железо подоконника. Георгий Константинович проснулся поздно. Взглянул на часы, неохотно выбрался из постели. Не глядя, нащупал шлепанцы, подошел к окну. Небо укутано серой мутью, на асфальте — лужи в гусиной коже дождевых капель.

Через улицу на автобусной остановке кучка людей в плащах и мокрых блестящих куртках сгрудилась под прикрытием газетного киоска. «Вот и лету конец, а тепла еще и не было», – подумал Стародубцев.



Действительно, весна в этом году задержалась, ягоды и овощи подошли позднее обычного почти на целый месяц. Июль, правда, был не холодным, а последние пять-шесть дней стояла

чумовая для Сибири жара. Еще вчера градусник показывал плюс тридцать два, но к вечеру круто похолодало, а с ночи поосеннему задождило.

Вчера Георгий Константинович вместе с друзьямипенсионерами ездил поудить карасей на своем старом жигуленке. Рыба клевала плохо, солнце пекло до одури, как в последнем авральном квартале на отстающем предприятии. Георгий Константинович, видимо, перегрелся, перекупался и теперь чувствовал
недомогание. Впрочем, боли и даже особенной усталости не было. А настроение скверное. Пришибленное.

На обратном пути с рыбалки заехали они в большое село – купить в магазине курева. Село широко разбросано на высоком склоне, а на окраине у крупного спуска к паромной переправе через Енисей, видимая со всех сторон с большого расстояния, возвышалась деревянная церковь, совершенно почерневшая от времени.

При въезде в село, когда на высоком холме неожиданно открылся вид на темный монумент церкви, Стародубцев остановил машину, вышел из нее, долго и молча рассматривал старый храм. Церковь давно заброшена, но прочно стояла, вскинув четыре купола навстречу ветрам и невзгодам, крепкая и величавая, будто отлитая из металла. Чеканно-строгие ее контуры на фоне заенисейских голубых далей придавали ей особенное величие и значимость. Стародубцев по профессии строитель. И хотя он не был знатоком архитектурных памятников старины, не сомневался, что рублена церковь незаурядными умельцами и, конечно, в свое время составляла гордость сельчан.

Вид заброшенного храма произвел на Стародубцева сильное впечатление. Он с реальной ясностью представил, как с трепетом и надеждами стекался люд к церкви на престольное богослужение в праздничных нарядах. Ему почудился даже колокольный благовест, что торжественно катился за правобережье Енисея, услыша который, каждый торопливо смахивал шапку и истово крестился.

Стародубцев представил, как в воскресные и праздничные дни на клиросах звенели слаженные голоса, и торжественное пение поднималось под своды церкви, наполняло души прихожан умиротворением, надеждами, приносило облегчение в горе.

Религия и вера в Бога все же не только дурман, но и врачевание при изнурительной работе и полунищей жизни. Без этой веры человечество вряд ли сумело бы пройти мрачные этапы своего развития, которые обязано было пройти в силу исторической необходимости.

Времена переменились. Церковь заброшена, запущена. На площади около нее построен коровник, а в десятке метров от ее стен вкривь и вкось огорожены пригоны для скота. Вся площадь и даже церковное крыльцо заляпаны коровьими лепехами. Может быть, эта церковь и не представляет большой ценности для нашего огромного и богатого памятниками старины государства. Может быть... «Но стены этого храма хранят память дедов и прадедов ныне живущих в селе людей, хранят память их голосов, слез и чаяний, - думал Стародубцев. - Полов этого храма касались подошвы, колени и лбы ушедших поколений, родичей современных сельчан». Уже только поэтому старый храм достоин уважения, как уважения к своим предкам, к своему прошлому. Ставят же памятники на могилах родных и близких, приходят поклониться праху предков, украшают цветами места захоронений. А церковь – это по сути и есть общий и в масштабах села уникальный памятник.

Кому же пришла шальная мысль построить скотный двор рядом с ней? Неужто в просторной Сибири кроме и места не нашлось? Дело, видимо, в другом. Какой-то тупой карьерист в угоду коньюнктурному веянию в слепом усердии плюнул через гнилые зубы на святое прошлое своих односельчан, чтобы отгородить себя в глазах таких же ограниченных тупиц от причастности к религии.

И скольким хорошим людям этот мерзавец плюнул в душу!

Всю обратную дорогу Стародубцев угрюмо молчал, сославшись на нездоровье. Он плохо спал, несколько раз просыпался ночью. Перед его глазами стоял старый храм немым укором всем, кто в угоду низким целям способен опошлить любую святыню.

Да, времена переменились. Ушли в прошлое. Ушла в прошлое и вера в Бога. Но без веры человек перестанет быть человеком, он уподобится пресмыкающейся твари. Во что же верит современный образованный человек?

Ради чего он, современный атеист, может пойти на лишения, на самопожертвование, ради какой-то великой веры?

Не верит он ни в Бога, ни в черта, ни в сказочный рай на Земле, такой же далекий и призрачный, как рай загробный. Не верит в кумиров, которых легко создает и поклоняется им, пока есть от этого поклонения прямая выгода. А после смерти кумиров их так же легко низводит с пьедестала. Впрочем, и наши кумиры не верят в земной рай, который проповедуют, а потому жадно гребут себе и почести, не дожидаясь светлого будущего для всего человечества и подрывая всякую веру в это будущее. Гребут точно так же, как в свое время просвещенные попы, конечно, не верившие в Бога. Только гребут более широкой лопатой.

Такие мрачные мысли породил в голове Стародубцева старый заброшенный и поруганный храм. «Люди, попирающие свое прошлое, — думал он, — не имеют будущего». Почему повелось суждение: если царь или князь, то непременно тиран или узурпатор? Среди них были и Владимир Мономах, и Ярослав Мудрый, и Дмитрий Донской, и Александр Невский, и Петр Первый, и Кутузов-Голенищев. Отчего бытует одностороннее мнение: если служитель церкви, то непременно мракобес и мздоимец? Среди них немало было мудрых и бескорыстных наставников, как Сергий Радонежский. Служители церкви благословляли русских князей и русский народ на ратные подвиги и благие деяния во имя великого Государства Российского. А монах Пересвет принял на себя первый удар ордынца Челубея на Куликовом поле и своей смертью вдохновил русских воинов на беспримерный ратный подвиг, которым решена судьба России.

Только глубокое уважение к прошлому своего народа, к его истории, из которой нельзя выбросить ни одной страницы, служит источником веры в будущее. И уважение к прошлому нужно не умершим, а живым. Живущий тоже скоро станет прошлым, и он при жизни должен верить, что после смерти не будет забыт, а тем более опоганен.

Кому же и зачем понадобилось разрушать церкви, устраивать в них конюшни, глумиться над ними, как над этим старым, почерневшим от времени храмом? Это же и есть частица нашей истории.

Георгий Константинович опустился в кресло, приложил ладонь ко лбу. У него разболелась голова. Сквозь стену из соседней квартиры доносились грохот, крик, ругань. Это сын вдовой бухгалтерши Алевтины Симаковой, здоровый восемнадцатилетний балбес, опять вернулся пьяным, устроил скандал и выгоняет мать из дому.

– В гробу бы я тебя видел! – орал он.

г. Красноярск,15 апреля 1984 г.

СУСЛОНИХА

В совхозном поселке давно забыли о прежней Марии Суслоновой, привыкли, что она напивалась хуже дурного мужика, валялась где попало, а отрезвев, попрошайничала на похмелку, и звали ее Суслонихой, а бабе едва перевалило за сорок. Жила она последние дни у Миши-дурачка и повесилась в сарае в неуютное осеннее утро, что никого не удивило.



И вдруг случай, который произошел вскоре после ее нелепой смерти, всколыхнул поселок, воскресил в памяти прошлую жизнь Суслонихи.

В субботний день мужики напарились, намылись в общественной бане и, укутав шеи банными полотенцами, отводили душу пивом и ленивым зубоскальством. От нечего делать подтрунивали над Мишей-дурачком, как он «крутил любовь с Суслонихой». Ржали, конечно. Ни слова не говоря, Санька Крапивин жахнул пивной кружкой по башке Петра Коломийца. Кружка — вдребезги, башка сдюжила, но Петька свалился замертво. Брательники Коломийца были тоже в бане, кинулись на Саньку. Но Крапивин старшего Бориса кинул через себя, младшего Фролку звезданул в челюсть — аж зенки на лоб. У братьев отпала охота еще раз наткнуться на Санькин кулак, да и мужики почему-то за Крапивина заступились. Петра унесли в больницу. Оказалось сотрясение мозга, и дело направили в суд.

Следователь Пронин — неказистый мужичонка, с лысой, как скорлупа куриного яйца, головой, ознакомившись с обстоятельствами, понял, что клубок разматывать надо издалека, что мордобой в бане имеет долгую предысторию. Пронин дотошно выспрашивал в поселке, в дирекции совхоза, в автопарке и даже в школе и детском саду о событиях, кажется, никакого отношения не имеющих к банной драке. В конце концов ему предстала такая история.

Детдомовка Маша Кучерова, окончив какие-то курсы, приехала в совхоз и поступила воспитательницей в детский садик. Среди малышей ее группы были Саня Крапивин и братьядвойняшки Боря и Петя Коломийцы. Фролка тогда еще пускал под себя в детяслях. Сама выросшая без родителей и не знавшая неказенной ласки, Маша изо всех сил старалась обиходить, утешить каждого малыша, что на день оставались без родителей на ее попечении. Терпеливо выслушивала их маленькие обиды и радости, улаживала раздоры, находила слова успокоения. Поглядеть со стороны – все удавалось ей легко и просто и было не в тягость.

Даже Боря и Петя, доставлявшие немало хлопот другим воспитателям озорством и неуживчивостью, слушались Машу, тянулись к ней больше, чем к матери. И то сказать, Маша помимо

воли заботилась о них чуть больше. Их отца придавило деревом на лесоповале, когда третьему брату Фролке и годик не стукнул. А мать Татьяна работала дояркой. Приводила она детей в садик раньше всех, уводила позднее всех.

Бабы в поселке, а пуще всех Коломиец Татьяна, нахвалить не могли новую воспитательницу.

Маша уставала очень и никуда не ходила, разве иногда в кино. Жила в общежитии тихо, в отдельной комнатке. И все же высмотрел ее и засватал спокойный и умный парень Сергей Суслонов. Он отслужил в армии танкистом и работал механиком в автопарке. Рабочком выделил молодоженам освободившийся к тому времени дом с пристройками и огородом в соседях с Татьяной Коломиец. Маша и в семье оказалась ласковой и покладистой, любая работа в ее руках, кажется, сама собой делалась. Сергей тоже не из лодырей, а мастерства и смекалки ему не занимать. Зажили Суслоновы на зависть слаженно и дружно.

- Где уродилось такое чудо? говорил Сергей, задумчиво глядя ей в глаза. Чем больше узнаю люблю больше.
 - Спасибо, милый Сережа, шептала она.

Деревня есть деревня. Здесь все обо всех знают.

– По заслугам девке счастье, – заключили бабы.

Теперь Коломиец Татьяна по-соседски передавала своих сорванцов Суслоновой прямо на дому, вечером забирала здесь же. Мария Николаевна водила в садик и из садика Борю и Петю, а Фролку на санках возила в ясли. Саня Крапивин по-детски ревновал тетю Машу к братьям Коломийцам (жили Крапивины через улицу) и упросил мать, чтобы тоже ходить в садик вместе с воспитательницей. Саню даже приводили Маше.

 По-скорому вы с Сергеем семейством обзавелись, — шутили встречные.

Мария Николаевна улыбалась, сияя как спелое яблоко.

Пришло время, родилась у Суслоновых дочка Лена. Росла она крепенькой — в родителей, в мать — голубоглазой, застенчивой и нежной. В годы босоногого детства бегала на речку и в лес всегда вместе с Борей и Петей Коломийцами и Саней Крапивиным. Коломийцы слыли озорниками и забияками, в школе и дома с ними никакого сладу.

«Трудные дети», – разводили руками учителя. «Безотцовщина», – толковали в поселке. «Навязались на мою голову!» – кричала мать.

Как-то в летние каникулы забрались коломийчата в огород деда Проскурякова воровать огурцы. Дед в это время обкашивал крапиву вдоль изгороди со стороны переулка. Был он совсем глухим и видел плоховато, как и его старуха. Но все же разглядел «фулюганов» у огуречного парничка. Он бросил косу, сорвал куст крапивы, засеменил к калитке. Коломийцы подпустили его поближе, стрельнули прямиком через огород, шутя перемахнули забор. Петя и угодил ногой на брошенную дедом косу. Отточенное лезвие перехватило подошву кеда и развалило ногу до кости. Петя сгоряча упрыгал с помощью братишки к себе в ограду.

Леночка Суслонова сидела на крылечке, услышала стон во дворе соседей, заглянула к ним и содрогнулась. Петя лежал на спине посреди двора, закрыв глаза, и тихо стонал. Из его ноги хлестала кровь, а Борис, перепачканный кровью, пытался замотать ногу какой-то тряпкой. Лена огляделась, увидела Саню Крапивина, закричала:

- Саня, беги за мамой! Беги скорее за мамой!

Крапивин даже не спросил, в чем дело. Полетел в детсад. Для Леночки он готов разбиться в лепешку.

Перепуганная Мария Николаевна не сразу поняла, о чем говорила дочь. Когда, наконец, все собрались во дворе Коломийцев, Петя уже не стонал, лежал неподвижно, его пепельно-серое лицо осунулось. Боря сидел рядом и плакал. Суслонова перетянула Петину ногу ниже колена своим поясом, положила мальчика в тачку, увезла в больницу.

Врачи забегали: большая потеря крови, а нужной группы в запасе нет. Мальчику ввели физиологический раствор, но это временная мера.

- У меня первая группа, заявила Мария Николаевна.
- Хорошо. Но одного донора маловато, ответил доктор.
- Берите сколько нужно.
- Хорошо, повторил доктор.

И после больницы Петя долго еще ходил с костылем.

К семнадцати годам расцвела Лена Суслонова особенной сибирской красотой, видно, зачата от большой любви. Все парни

поселка поглядывали на нее украдкой, будто боялись опалить крылышки. В их числе и Саня Крапивин. А она выбрала Петю Коломийца. Хоть и окончил он десятилетку с грехом пополам, но красивый, как черт, и бесшабашно отчаянный. Таких любят девушки. Крапивин Саня уехал учиться в техникум.

В один из воскресных дней собрался Суслонов привезти сена, взял с собой Лену укладывать воз.

- Сережа, возвращайтесь поскорее, попросила жена. Я пирожков нажарю и съездим на речку. Отдохнуть хочется.
 - Чудесно, Машенька! Мы скоро.

Как оплошал Суслонов, понять трудно. Только сорвалась машина с моста через бурную, каменистую речушку, грохнулась вниз кабиной – и насмерть и Сергея, и Лену.

Не нашлось, видно, кто поддержал бы Марию Николаевну. Днем сидела она в опустевшем доме, по ночам выла на кладбище, валялась ничком, ногтями скребла землю. Взяла себе в голову, что она виновата во всем: она поторопила мужа, и недоглядел он.

 Прости, Сережа! Прости, доченька! – шептала она обессилев. Под утро брела домой.

Забегала к ней после работы Татьяна Коломиец, не заставала дома. В неделю почернела, поседела Маша Суслонова. Что ела, что пила? Никто не знал. Она не помнила. Попалась ей на глаза бутылка водки, что стояла в шкафу. Налила она полный стакан, выпила одним духом. Первый раз уснула бесчувственным сном.

На работе ей оформили отпуск. Заведующая детсадом принесла деньги, но застала Суслонову спящей. Увидела на столе начатую бутылку, успокоилась: «Горечь зальет горечью, вышибет клин клином». Оставила деньги и ушла. Больше Суслонова не работала. Продала корову, продала все, что можно продать. Опустилась, спилась. Пытались ее и уговаривать, и стыдить. Было поздно. Отступились.

Борис и Петр Коломийцы подучились на курсах, работали шоферами, Фролка сидел в конторе, счетоводил. Не любили их в поселке. Хапуги и пьянчужки, в беде не помогут, а зазеваешься – и стащат, что подвернется.

На разнарядке как-то спросили Петра:

– Тоскуешь о Ленке Суслоновой? Славная была девушка.

– Да ну, – отмахнулся Петр. – Девок как навозу. Монахом не останусь.

Царапнула парней обида. Неплохо бы и в скулу заехать, да он быка изувечит.

Александр Крапивин окончил техникум, приехал в совхоз. Назначили его механиком в автопарк. После гибели Суслонова никто на этой должности долго не держался. Тяжело переживал Крапивин трагедию тети Маши. Заходил к ней, она радовалась его приходу. Под конец просила денег, уверяла, что на хлеб, но сразу же их пропивала.

В осенний ненастный вечер подобрал ее под забором Мишадурачок. Приволок домой, отмыл в бане и уложил с собой в постель. Мише — за тридцать. Здоровый как конь. Кочегарил в котельной, и дом ему остался от родителей. Только какая же дура пойдет за него? Вот и жил один. Трое суток беспробудно спала Суслониха у Миши-дурачка, и вдруг нашло на нее просветление, что спит она с чужим мужчиной, да еще и дураком. «Опоганилась! Сережу предала!» — взвыла она простреленной навылет волчицей. Рвала зубами подушку, билась лбом о стену.

Миша ошалело хлопал белесыми ресницами, не понимая, что приключилось с бабой. Побежал за водкой. Когда вернулся, Суслониха уже повесилась.

По этому поводу и подрались мужики в бане.

- Миша, ты спал с Суслонихой-то?
- Конечно, по простоте отвечал дурак.
- Как с бабой спал-то?
- Ага. Исо как! лыбился Миша.
- Ха-ха-ха! покатывались мужики.
- Она же грязная!
- Я ее дочиста вымыл.
- Га-га-га! ржали зубоскалы.

Александр Крапивин сидел в стороне, кусал губы. Кружка с пивом вздрагивала в его руке.

- Она поди ишо девушкой была? подначил Петр Коломиец.
 - Кака девуска? удивился Миша.

Крапивин не помнил, как шваркнул Петра, как раскидал его братьев...

Немало похлопотал следователь Пронин, защищая Крапивина. Жители поселка встали на его сторону, но засудили мужика все же. Дескать, нельзя самому чинить расправу, на то имеются прокурор и суд. Но, говорят, и статьи такой нет. Так что глумись сколько угодно над памятью человека, который тебе сопли вытирал, свою кровь отдал.

Вот такая история.

А в поселке стало два дурачка: Миша и Петя. Один рыжий, другой чернявый – и оба кудрявые. Когда сходятся они вместе, вспоминают Суслониху и хохочут так, что опрудятся оба. Но что с них взять?

г. Красноярск, 1983 г.

В ДОЖДЛИВУЮ НОЧЬ

Назар Скоробогатов шагал едва приметной тропинкой с тяжелым рюкзаком и ружьем за плечами. Наступила поворотная пора от лета к осени с августовскими затяжными дождями. Березы развесили поржавевшие, застиранные кофты, травы побурели, подломились и по земле расстелили лопоухие листья. Весь день моросил дождь. Пахло сырой прелью, под ногами хлюпала вода, тропу часто пересекали ручьи. Раздумчиво пасмурные ели низко пригнули тяжелые лапы и даже при легком прикосновении стряхивали каскады брызг и, освободившись от груза, облегченно приподнимали упругие ветви. Назар шел с податливой неторопливостью по левому склону распадка, привычно примечая каждую мелочь, обходя густолесье и набрякшие от воды деревья, думал о прожитой жизни, которая тоже вступила в пору студеной осени.

В молодые годы жил он промыслом зверя, его по-таежному добротная изба с хозяйственными пристройками стояла в стороне от Рябиновки, между речкой и еловым лесом. Женился Назар поздно, когда вернулся с войны, срубил дом, завел лошадь, корову и раскорчевал огород до самого леса. Не было девки в деревне, у которой не розовели бы щеки при встрече с ним.

А он, на удивление всем, жену взял из городских, но бабу тонкой, иконописной красоты. Однако Ксения так и не прижилась к таежному суровому укладу, часто болела и родила двух дочерей, таких же, как сама, пригожих, но здоровьем слабых, и назвала их на городской манер Викторией и Маргаритой.



Каждую зиму Назар уходил на промысел. Ксения бедовала одна с детьми, кое-как управлялась с домашней живностью. Назар, на зависть деревенским бабам, берег жену, не допускал к тяжелой работе, готовил в зиму поленницы березовых дров, набивал сеном сеновалы, подполье картошкой, кладовку солеными огурцами, капустой, грибами, рыбой и мясом, закупал муки, круп, постного масла. Охотник он был фартовый, и семья не перебивалась с хлеба на квас. И все же к его возвращению Ксения, худая и бледная, ложилась недели на две, а то и на три в постель.

К тому времени не приспевали еще хлопоты на огороде. Назар без усилий наводил порядок в избе и хлевах, чинил заборы, ворота, телегу и справлял женские дела: топил печь, готовил еду, выпекал хлеб, стирал белье, мыл полы. По вечерам забавлялся с дочерями: играл с ними в прятки, ползал на четвереньках и возил их на спине, от чего в избе не умолкал визг и хохот. Ксения болезненно морщилась, ворчала:

– Покалечишь детей... Голова трещит от вашего содома.

А если случалась неловкость и кто-то из девочек ушибался, жена выговаривала с сердцем:

Говорила, зашибешь! Тебе игрушки – им слезы. Меры бестолковой силе не знаешь!

Игра прекращалась. Назар дурашливо корчил обиженное лицо, брал палец в рот, как нашкодивший озорник, поглядывал то на жену, то на детей. Девочки катились со смеху, и возня начиналась снова...

...Назар резко остановился. Впереди затрещал валежник, вскоре ручьем пошла мутная вода. «Сохатый, – отметил Назар. – С лежки спугнул. Однако и мне на привал пора». Он выбрал ровное место, распалил костер. Пожевал вяленой сохатины и вскипятил чай. Затем нарубал пихтовых веток, отбросил в сторону головешки, размел золу, застелил кострище лапником и соорудил над ним шалаш. Выпил кружку крутого чаю, покурил и забрался внутрь шалаша.

Дождь сеял и сеял легкой пылью, вода копилась на листьях, ветках, висла бисером на хвоинках, капала на сырую землю, стекала по стеблям и веткам, создавала непрерывный вязкий шорох. Редкие таежные звуки — взлет потревоженной птицы, вздох упавшего дерева, рев зверя — смягчались и быстро глохли, увязая в мокрых кронах и влажном воздухе. Только ручей вплетал осторожный говорок в однообразные шорохи промозглой тайги, не нарушая ее гнетущего покоя и навевая думы о чем-то таинственно-грустном, бесконечном, непостижимо вечном.

Ксения, кажется, всю жизнь могла пролежать в постели с книгой в руках, даже в погожие дни ее трудно было вытащить за грибами, за ягодами или просто в лес, на речку.

 Я полежу и почитаю, – говорила она. – Лучше постели и книги ничего не знаю и знать не хочу.

Любил книги и Назар, и каждый раз привозил их из райцентра по целой связке, что вызывало снисходительные улыбки деревенских жителей.

Чо, Назар, взаправду в профессоры нацелился? – подкусывал Пронин.

– Ага, – кивал Назар без улыбки.

Когда учился он в десятилетке, читал жадно и много, даже сочинял стихи для стенной газеты и малевал карикатуры на одноклассников. Учитель литературы горячо доказывал, что ему надо учиться дальше и непременно в институте журналистики, тогда и дали Назару прозвище Профессор. Одни вкладывали в прозвище вроде уважения, другие издевку. Но учиться Назару не пришлось, помогал отцу растить братьев. А там — служба в армии и война... А после и книжку прочитать удавалось не часто. Но если это удавалось, близко к сердцу принимал он судьбы героев, спешил пересказать прочитанное жене, поделиться мыслями, впечатлениями.

Ксения, опустив голову, слушала некоторое время, роняла равнодушно:

– Читала я... Давно читала, – и уходила.

Как-то, вернувшись с зимовья, Назар смущенно сказал жене, подавая тетрадку:

– Прочитай, Ксюша... Буранило, неделю в избушке просидел и вот... написал рассказ.

Она взяла тетрадь, бегло пролистала ее, вернула Назару.

– Ну как? – спросил он.

Ксения пожала плечами и промолчала.

Однажды приехала в гости мать Ксении — сухонькая подвижная старушка. Все дни с утра до позднего вечера, как мышь, проворно бегала она по избе, подтирала, подметала, стряпала рыбные пироги, лепила пельмени, штопала, ее натруженные руки сами искали работу. Муж ее умер рано от туберкулеза, оставив на руках Зинаиды Васильевны двух дочерей-малолеток. Она их вырастила и жила теперь со старшей, нянчила внучат. Век свой жила в трудах и заботах, и в семьдесят лет старушка не могла минуты просидеть зря, по вечерам она вязала девочкам носки, а Виктория читала сказки, вроде той, как лиса притворилась мертвой, а доверчивый дед подобрал ее и положил в сани. Зинаида Васильевна принимала сказку за чистейшую правду и реагировала с детской непосредственностью:

– Ну вот! Едет и не оглянется. Да оглянись ты, оглянись!.. Без рыбы приедешь... Чо старухе-то скажешь? – всплескивала она руками.

Назар впервые за много лет увидел открыто счастливое лицо жены, услышал ее звонкий, радостный смех. А когда Зинаида Васильевна уезжала, Ксения плакала навзрыд, прижав кулачки к груди, подавшись вперед и вытянув шею, будто ссылали ее в вечную каторгу. Назар растерянно оглядывался на глазеющих ротозеев и повторял:

- Хватит, Ксюша! Хватит, успокойся.

Проводив мать, Ксения закаменелой вернулась домой, невидящим взглядом обвела стены, истошно завыла, рухнула на кровать.

Именно тогда шкворцем ударила по затылку Назара мысль, что их жизнь не удалась и что он был и остался для нее чужим. Эта мысль оглушила его безысходностью, неповоротливостью. Он уложил котомку, до срока ушел на зимовье. Там хватило времени все обдумать. Стала понятной постоянная холодность жены к нему самому и к его родным. Раньше ее замкнутость относил он либо к нездоровью, либо к особенностям характера. И даже шутил:

– Ты бы хоть раз притворилась, что любишь меня.

Ксения скупо улыбалась и молчала.

Теперь память услужливо выискивала подробности, на которые он когда-то не обращал внимания или не придавал им никакого значения, но которые, видимо, автоматически фиксировались где-то в подсознании. Назар обладал особенной памятью, вероятно, свойственной в какой-то мере каждому таежному охотнику. Идет он по тайге, тысячи мелочей проходят перед его глазами. Он не пытается их запоминать, это происходит само собой. И если нужно, охотник точно вернется прежним путем, ориентируясь по этим мелочам-приметам, как ищейка по запаху. Так и давно прошедшие события восстанавливались в памяти Назара одно за другим, будто записанные на перфоленте.

Целыми днями сидел Назар в избушке, перемалывал невеселые думы, смолил самосад. И получалось, что дело вовсе не в природной нелюдимости жены. Находила же она для дочерей, которых, безусловно, любила, трогательные слова, была с ними ласковой и нежной. Сестре писала милые, сердечные письма. В них каждая строчка дышала заботой о матери, сестре, племянниках.

О муже только в конце, по необходимости: «Привет от Назара. Он собирается на свое зимовье». О его родных — отце, матери, братьях — ни слова. И была-то у них Ксения раза два, но если заходила речь, не скрывала пренебрежения.

Припомнились Назару и отрезвляюще брезгливые гримасы жены, когда он льнул к ней с необузданной мужской лаской.

Дымом да псиной провонял на своем зимовье, – говорила она, отодвигаясь.

«За столько лет супружества ни разу не обняла, не поцеловала», – усмехнулся он и крепко пожалел, что не женился на своей деревенской, хотя бы на Глаше Прониной, которая и сейчас при встрече опускает глаза и рдеет. И муж ей достался – на тебе, мне не надо.

«Зачем Ксения вышла за меня? – недоумевал Назар. – Ведь любила и любит того заводского парня». Видел Назар, как вздохнула жена, когда Зинаида Васильевна сказала, что Валерий окончил техникум заочно и женился. И знал раньше, что каждый раз, когда ездила Ксения к сестре, встречалась с этим парнем. А однажды случайно подсмотрел, как Валерий, проводив до калитки, целовал его жену.

И тогда, и тем более сейчас не ревность грызла Назара. Сожаление. Горькое сожаление, что тогда же не поступил решительно... И детей тогда не было.

А беды, говорят, в одиночку не ходят. По недогляду – видно не в себе был – напоролся Назар на берлогу. Опомнился, когда медведь черной махиной кинулся на него и подмял. Успел-таки выхватить нож и вогнать зверю под левый локоть, но поплатился и сам.

Чудом добрался потом до избушки, бережно расходовал запас дров, травами да медвежьим жиром залечивал до ребер разодранный бок.

Угрюмым и исхудалым возвращался Назар в том году с промысла, почти без пушнины. «В сорок лет, — прикидывал он, — еще можно завести новую семью. Но как же хворая Ксения? Куда она денется? Только ли она виновата, что не люб ей? И виновата ли вообще?.. Сердцу не прикажешь. А в чем повинны дети? Учатся они хорошо. Мне не удалось, пусть они закончат институт». Единственно верное решение, как тогда казалось Назару,

пришло само собой. Да и позднее не считал он, что поступил неправильно, приняв намерение нести свой крест и не показывать виду о горькой догадке.

Прошел год, два и... десять долгих лет. Все эти годы Назар ходил на промысел, лето чертоломил в огороде, на покосе или заготавливал дрова, себя не жалея. Возвращался усталым, молча ел и падал в постель. Иногда и дома не ночевал. Но каждый свободный денек посвящал дочерям. Запрягал телегу, ненастойчиво приглашал Ксению (она чаще отказывалась) и уезжал с девочками на озеро: там удили рыбу, на костре варили уху, а потом Назар рассказывал о прочитанных книгах, о войне, а больше о тайге, о повадках зверей и птиц, о приключениях таежников. Девочки слушали с открытыми ртами, просили:

– Пап, расскажи еще.

Под конец затевали шутейную борьбу или втроем пели песни. В другой раз ехали собирать грибы или ягоды. Случалось, в лесу захватывал дождь, да еще ливневый и с грозой. Назар прятал дочерей под телегу, укрытую пихтовым лапником. Шум дождя сильнее будоражил воображение и рассказчика, и слушателей. Даже домой ехать не хотелось.

Перед возвращением набирали букет цветов и договаривались, чтобы каждый написал сочинение о том, что больше всего понравилось в лесу.

Назар повернулся на бок: пихтовая подстилка сильно нагрелась и жгла спину. Он пытался уйти от воспоминаний, чтобы не травить душу, считал до ста, чтобы отвлечься и уснуть, вслушивался в ночные звуки, объяснял себе и без того понятные их суть и значение... Сон не шел, а мысли возвращались к прошлому. Назар вылез из шалаша, свернул самокрутку и глубоко затянулся. Дождь падал поплотнее, где-то в вершинах шелохнулся ветерок, с деревьев посыпались крупные капли. «К утру, должно, разгонит тучи», — заключил он.

Хотя и решил он не показывать виду и старался изо всех сил оставаться прежним, сам того не замечая, переменился. Стал сдержанно сосредоточен и чем-то озабочен, не тянулся к жене, как раньше, с ласками и не сносил молча, как это было всегда, ее жестких замечаний.

– До чего ты некрасиво ешь, – говорила она.

- Как умею, отвечал он.
- Будто в погреб спускаешь, не жуешь даже, морщила нос Ксения. – Глядеть неприятно.
- Книжки читать не колуном махать, огрызался Назар. Вот и жуй по-благородному.

У Ксении влажнели глаза, она поджимала губы, уходила изза стола.

В другой раз она накладывала гору мяса в тарелку мужа, себе и дочерям наливала одной жижи. Назар садился за стол, начинал есть и тут замечал непонятную несправедливость. Спрашивал:

- Почему все мясо в моей тарелке?
- Мы же не работаем, смиренно отвечала Ксения.

Чтобы не взорваться и не сказать лишнего, он отодвигал тарелку, уходил во двор, до изнеможения колол дрова, пока не наступали сумерки.

Ксения скоро заметила перемены в муже и еще больше замкнулась. Всем видом говорила, мол, терзай, мучай, я все вытерплю, я слабая, беззащитная. Его бесила внешняя пришибленность жены, будто вечно обиженной и обездоленной. Ее скупые, но расчетливые слова, сказанные без эмоций и обязательно при дочерях, обезоруживали его; если он спокойно возражал, она вздыхала и, недослушав, уходила. Если он взрывался, Ксения плакала, и Назар видел, что дочери осуждали его. Так установилась между ними полоса отчуждения, преодолеть которую было уже невозможно. Так и катились день за днем, неделя за неделей, складывались в годы.

Назар собирался грести сено. Не спешил: пока роса испарится, он поспеет на покос.

- Надолго уходишь? спросила Ксения.
- Как погода... А что?
- Тебе горя мало, что Виктория из шубы выросла, вздохнула Ксения. Зима же скоро.
- Купи, спокойно ответил Назар, укладывая в сумку картошку, лук и малосольные огурцы.
- Где я деньги возьму? Сама хожу, как пугало, стыдно на улицу выйти.

— Знаешь, что пока денег нет…— начал Назар. Но Ксения его уже не слушала. Тяжело вздохнув, взяла ведро и ушла из избы.

Он подождал ее возвращения, спросил с плохо скрытым раздражением:

- Что ты предлагаешь?
- Что мы можем предлагать? Ты хозяин, ты отец, а только и заботы поиграть с ними себе на забаву и в тайгу на полгода.

Назар торопливо свертывал цигарку, роняя табак. «Знает же, – думал он, – не бока пролеживаю на зимовье, но зверя стало меньше».

- Только Сережка Пронин одет и обут хуже моих девочек, продолжала Ксения, так у него отца нет.
 - Воровать мне, что ли? повысил он голос.
- Не кричи на нас, ради бога, и так слово сказать боимся, –
 Ксения закрыла лицо ладонями, плечи ее вздрагивали.

Снова наступила зима. Выкрутился Назар. Сдавал заготовителям ягоды, кедровые орехи, справил дочерям обновы, сделал нужные запасы и подготовился в тайгу. Обнял дочерей, сказал, чтобы слушались мать, рано лег в постель. Когда дочери уснули, Ксения неожиданно спросила:

– Чем не угодила? Ходишь букой.

Назар промолчал.

- За все лето слова ласкового от тебя не слыхала.
- А я за двадцать лет, хотел сдержаться и не сдержался Назар.
- Зачем себя мучить?.. Я с девочками как-нибудь проживу, а ты один не останешься.
- Почему ты с девочками, а я не с девочками? Назар приподнялся на локте.
- Дочерей не отдам. Да и не нужны они тебе, зло проговорила Ксения и отвернулась.

Больше не было сказано ни слова, но и этим все было сказано.

Ксения не любила Назара, считала его грубым и неотесанным, но боялась окончательного разрыва, не знала, как сможет жить одна. Она хорошо изучила характер мужа и легко им управляла: несдержан, но отходчив, сам же и приходил заглаживать неловкую выходку. Но это было давно, когда они поженились, когда наживали детей. И вот Назар стал совсем другим. Молчал

упорно, будто соревнуясь с женой, а если шумел, не искал примирения. Она долго приглядывалась, взвешивала, пока убедилась, что удерживают его дети. Короткий ночной разговор продумала заранее и теперь не сомневалась, что уйти он не сможет, хотя, вроде, и предоставляла ему полную свободу.

Назар не спал до утра. «Мягко стелет, а бьет наотмашь», – размышлял он. Ксения спокойно спала, а может, притворялась спящей. Он поднялся, накинул полушубок, вышел за ворота.

За последние годы Рябиновка из глухой таежной деревушки превратилась в большой поселок, и все потому, что рядом пролегла Абакан-Тайшетская ветка. В поселке построены средняя школа, больница, дворец культуры, двухэтажные дома, но разросся поселок в одну сторону, старая Рябиновка сиротливо прилепилась к нему сбоку, а дом Скоробогатова так и остался на отшибе.

Под самой горой, на другом краю поселка, окна ремонтных мастерских леспромхоза светились огнями, время от времени метались в них сполохи электросварки. Там шла подготовка к зимней вывозке леса. На станции, лязгая цепами, остановился товарняк. Слева нарастал гул и светились глазища встречного поезда.

Назар остро почувствовал оторванность от чего-то большо-го и важного. Первый, нетронутый еще снег усиливал это ощущение, как бы увеличивал пространство между поселком и его домом. Его заботы и весь узкий мир, в котором он жил, показались ему мелкими и никому не нужными. Не в первый раз подумал он забросить промысел. План добычи пушнины выполнять все труднее, зверь уходил в непотревоженные дали, а из-за разлада в семье тянуло к людям. «Работа мне и здесь найдется, – рассуждал он. – Могу плотничать, столярить, в армии шоферил, на фронте вступил в партию... Но смогу ли без тайги?»

Обо всем этом Назар как-то говорил с секретарем парткома в леспромхозе. Тот прищурил близорукие глаза, хмыкнул.

– Такие, как ты, нам во как нужны, – он ребром ладони чиркнул по горлу. – Однако ты и сейчас при нужном деле. Государственном, можно сказать. Не зря говорят: мягкое золото! И не зря о тебе в газетах пишут. В тайге тоже нужда в людях, которые не только добывают зверя, но и оберегают его от хапуг. Так что

определяйся сам. А то хоть сегодня назначим тебя бригадиром в столярку.

«Видно, в последний раз иду на промысел», – вздохнул Назар.

...Восточный край неба порозовел, когда Назар вышел из дома. Речка еще не замерзла, и он свернул в обход, через мосток. У самого моста на тропу вышла женщина с ведрами на коромысле. Назар сразу узнал Глашу Пронину, хотя давненько ее не видел. От неожиданности остановился.

- К удаче, Назар. Ведра-то полные, тихо сказала она. –
 Здравствуй... Не признал, что ли?
 - Здравствуй, Глаша.

Ее муж в прошлую зиму по пьяной дури залез в прорубь купаться, застудился и помер. Назар помолчал и спросил:

- Как ты?
- Известно, как, еще тише ответила она. Зашел бы какнибудь да сам и поглядел.

Назара кольнула жалость.

– А что? И зайду, – улыбнулся он, чтобы подбодрить ее.

Она вскинула голову:

– Не шуткуй, Назар. Вправду ждать буду.

И торопливо ушла, словно испугавшись, что он оборвет ее надежду.

Много раз вспоминал он эту мимолетную встречу, но к Глаше так и не зашел. Однако бес не дремал, во второй раз свел их в другом месте.

Ох, каким щедрым было то памятное лето! Солнечное, ласковое, и дожди выпадали вовремя и в самую меру. Травы по еланям перли из земли как на дрожжах. Уродилось в тайге и ягод, и грибов, и кедрового ореха сила несметная. Весна была дружной, вода высокой, потому и рыбы поднялось по речушкам богато. Перед покосом Назар взял отпуск, работал он тогда в леспромхозе. Косы, грабли, вилы подготовил загодя. У самой речки под елью построил просторный шалаш и три дня со свету до темна махал косой, по полшага наступая на упругую стену буйного разнотравья, пока уложил рядами валков всю покосную площадь.

Сбросил пропотевшую рубаху, забрел в речку, вымылся студеной водой, сложил рупором ладони, заорал от избытка дурашливой радости:

– Эге-ге-э-э-эй!

Эхо покатилось по тайге, разноголосо повторяясь. Назар улыбался, стоя в воде, и слушал. Вдруг почудился ему далекий ответный голос. «Показалось», — решил он. Вышел на берег, все еще прислушиваясь, лег на охапку свежей травы, широко раскинув руки, и блаженно прикрыл глаза. По его сильному телу разлилась приятная усталость. «Через денек-другой буду грести, — прикидывал он, — а завтра можно за грибами с Маргариткой». Виктория в том году закончила второй курс университета и уехала на практику.

Тяжело дыша, из леса выбежала бледная, простоволосая Глаша. Она бросилась перед ним на колени, запричитала:

- Чо с тобой, Назар, милый?.. Чо случилось?..

Назар открыл глаза. Сел.

- Косила я за ключом... Слыхала кричал ты. Чо случилось-то? с трудом переведя дыхание, повторила она.
 - Тебя звал, шально улыбнулся он и понес ее в шалаш.

Не заметили, как подкралась теплая, светлая ночь, густо пропитанная ароматами вянущих трав и хвойного настоя.

С темно-бархатного неба тысячи миров глядели глазами звезд и стерегли покой притихших полей и лесов, городов, деревень, отдыхающих после трудового дня людей. Стерегли покой любящих сердец, прошедших годы тоски и одиночества и бьющихся наконец рядом в шалаше, затерянном в саянской тайге. Ельники и кедрачи сомкнутой стеной обступили шалаш, оберегая таинство любви — первооснову всего сущего. Только человек, считающий себя царем природы, узаконил любовь по обязанности и платил за это душевными муками, и производил слабое продолжение, и только человек обязан прятать любовь от себе подобных. Мудрая природа хоть в этом помогала ему.

Крепок утренний сон здорового человека после тяжелой работы и сладкой любви. Проснулся Назар поздновато. Глаши рядом не было. «Ушла косить по росному холодку», — догадался он, вылезая из шалаша, и невольно сравнил ее с Ксенией. Солнце уже вышло из-за горы, но сквозь густой туман только угадывалось по

размытому контуру розоватого пятна. Кустарники и травы обвисли под тяжестью росы, в ельнике посвистывал рябчик, дятел монотонно колошматил сухостоину — наступал новый день, умытый и радостный. «Глаше-то подсобить надо», — спохватился Назар. Он сунул брусок за голенище, взял косу, широко шагал по стежке следов, оставленных Глашей на росной стерне скошенных трав.

Если бы и на склоне лет попросили Назара назвать самые радостные дни его жизни, он назвал бы день Победы и сенокосную страду с Глашей Прониной. Ее покос смахнули они за день. Сразу же перешли грести копны и метать стожки на его участке. С таким же напором, с маху поставили сено и ей. Глафира ни в чем не уступала Назару. Косила шаг в шаг, подхватывала пудовые навильники и укладывала в зарод не хуже мужика, вместе с ним мылась ледяной водой, обнажая литые груди. Пока он причесывал и оглаживал стожки, прилаживал на них березовые жерди, успевала развести костер и приготовить еду. И после такого дня только за полночь шептала жаркими, припухшими губами:

– Назарушка, милый, угомонись. Упластал совсем... Побереги на потом.

Назар встал с валежины, размял занемевшие ноги. Брезентовый плащ на нем пропитался водой и затвердел. В распадке вскрикнула сова, предсмертным стоном заплакал заяц, и снова сгустилась вязкая тишина, с гнетуще однообразным шелестом падающей и повсюду струящейся воды. Назар вызяб от неподвижности и холодной влаги, промочившей плечи. Он сбросил плащ, забрался в шалаш, плотно прижался спиной к примятому лапнику, хранящему тепло. Укрылся плащем.

Молва в Рябиновку прилетела раньше, чем вернулись с покоса Назар и Глаша. Он понял это, едва переступив порог. Маргарита, сидя у стола и плотно сжав губы, исподлобья глядела на него волчонком. Ксения поднялась с кровати, вымученно спросила:

- Обедать будешь, или тебя накормили?
- Выйди, дочка. Нам поговорить надо, спокойно ответил Назар.

Маргарита не шевельнулась, только глаза сузила.

– Она взрослая, пусть послушает, – возразила Ксения.

– Что ж, пусть слушает, – согласился Назар, – у меня совесть перед ней чиста.

Он закурил, собираясь с мыслями. Присутствие дочери его смущало. Не все при ней скажешь, а это как раз и устраивало Ксению. Она всегда оказывалась расчетливее мужа, а затянувшееся молчание уже ставило его в глазах дочери в положение виновного.

- Что ж, пускай слушает, повторил Назар, начиная трудный разговор. Ксюша, зачем ломать комедию? Ты знаешь мы давно друг другу чужие. Сама говорила: «Зачем мучаться?..»
 - Дура была, вырвалось у Ксении.
- Знаешь, что не ушел я из-за дочерей. Девочек на тебя... на больную оставить не мог, продолжал Назар. Но я, кроме лошадиной работы, ничего не видел ни любви, ни ласки.
- А мы не в счет? Мы не любили тебя? сквозь зубы процедила Рита.
 - Разве я не отплатил вам тем же? опешил Назар.
 - Вижу, как отплатил. Предал, отрубила дочь.
- Прости... прости меня, доченька, захлебываясь слезами зашептала Ксения, не уберегла тебе отца.
 - Вы считаете... я должен остаться? растерялся Назар.
- Останься! На коленях молю! заголосила Ксения и кинулась ему на грудь.
- Мама! Не смей! Рита отшвырнула табуретку, вылетела из избы, хлопнув дверью.

Назар осторожно, но твердо отстранил жену.

- Ловко разыграла, усмехнулся он.
- Подлец. Как тебя земля держит?..

Назар вышел во двор и обрадовался, что есть работа. За оставшиеся дни отпуска надо перевезти сено. Он запряг лошадь, выехал за ворота. Ксения выглянула в окно, оделась и отправилась на почту. Дала телеграмму Виктории: «Отец бросает нас уходит Прониной крепись мама». Содержание телеграммы облетело поселок до того, как ее передали по телефону на узел связи райцентра. Затем Ксения завернула к Глафире. Тихо вошла в избу, прикрыла дверь, остановилась у порога. На ее бледном лице – покорность и застоялая печаль мученицы. Хозяйка увидела гостью, охнула, опустилась на скамейку.

- Можно пройти? спросила Ксения.
- Проходите... Садитесь.

Ксения прошла, села напротив Глаши, опустила голову.

— Не шуметь, не ругаться пришла, — заговорила она, — пришла просить вас. Не отнимайте у меня мужа и отца у моих детей.

Пронина не мигая глядела на гостью, постепенно бледнея. Жалость и ненависть боролись в ней.

- Я знаю, пояснила Ксения, Назар бросит нас, если вы его не прогоните.
- Прогнать?.. Глаша покачала головой. Разве хватит сил? Люблю его... Всю жизнь люблю. Когда он женился... Утопиться хотела. Но не просила вас... Убить могла, а не просила.
 - Тут моей вины нет, осторожно возразила Ксения.
- В этом, может, и нет. В другом есть. Не любишь его и никогда не любила, – жестко выговорила Глафира, переходя на ты.
- Откуда вы знаете? зло усмехнулась Ксения, намекая на что-то грязное. Сразу спохватилась, приняла прежний надломленно-покорный вид.
 - Не слепая, повысила голос Глаша.
- Он мой муж, отец моих детей... вы женщина и мать... Как вы можете? Ксению душили слезы бессилия. Лицо ее перекосила злоба: Своего мужа сгубили, теперь чужого!

Пронина встала. Жалости в ней больше не было.

- Не муж он тебе, а работник. Бесплатный работник. Барыней жила за его спиной... Кабы любила, не выпрашивала Христа ради, как ведро картошки, вскипела Глаша. Закончила успокоенно: Грамотная, а понять не можешь нельзя человека отнять или отдать. Сам Назар пускай решает. На меня сердца не имей, что на твоей дороге встала: давно вижу извелся он с тобой. Жалко стало и его, и себя. И о детях говоришь пустое. Прикрываешься ими, чтобы привязать мужика и тянуть из него жилы. Дети не только твои. Ты их родила, Назар вырастил. Они для него всегда останутся его детьми.
- Посмотрим, Ксения резко поднялась, вприщур взглянула на Глашу, решительно вышла, хлопнув дверью.

Она вернулась домой, не раздеваясь, упала грудью на стол, заплакала. Рита обняла ее за плечи:

- Мам, успокойся. Что-то еще случилось?

- Пронина... краля его, сквозь рыдания шептала Ксения, оскорбила, как только могла.
- ...Партийное бюро затянулось. Сначала секретарь прочитал заявление Скоробогатовой, подписанное тремя свидетельницами, и попросил:
- Коммунист Скоробогатов, разъясни свой, значит, проступок. Назар встал, пожал плечами:
- Написано, в общем, правильно. Только... разве может ктото разобраться в наших личных отношениях?

Подумал, махнул рукой и сел.

– Дозволь мне, – кивнул секретарю автослесарь Фоменко. И понес с ходу: – Семья – не частная лавочка, товарищ Скоробогатов. Ишь чего захотел! Седни – туды, завтра – сюды. Энгельс вместе с Карлой Марксом написали, что от семьи все как есть зависит. Цельную книжку написали, а тебе на это наплевать. Мы не дозволим, чтоб ты гробил советскую семью. Думаешь, токо тебя на сладенькое тянет? Дак ты ж должон блюсти себя.

Все знали, что Фоменко выступает постоянно и довольно бестолково, однако слушали его и даже кивали головами.

- Что предлагаешь? спросил секретарь.
- Дать сроку месяц, чтоб Скоробогатов доложил партейному бюро, мол, в семье полная любовь и мирное сосуществование.
 - Как же это можно? удивился Назар.
- А шкодить знал как? вскочила нормировщица Шевкунова. Через тебя Пронин в прорубь залез, загубил себя...
- Когда это было-то? загудел шофер лесовоза Титков. С перепою он. Чо уж здря-то говорить?
- Отколь ты знаешь, когда они с Глашкой-то снюхались? напала на него Шевкунова. Может, Пронин и пил со стыда?
- Пронин до женитьбы ишо пил, стоял на своем Титков, чо напраслину буровить?
- Пусть просит прощения у жены и детей, не слушая Титкова, закончила нормировщица.

Все сходились на том, чтобы Скоробогатов помирился с женой и забыл дорогу к Прониной.

Секретарь дал слово Назару.

– Товарищи, мы с Ксенией поняли, что вместе жить не можем, лет десять назад...

– Слышали? – вставила Шевкунова. – Десять лет мучились и Пронин, и Скоробогатова. Две семьи из-за него лихорадило, а мы прохлопали. И человек погиб! Пронин-то, говорю, погиб же...

Секретарь встал, подвел итог:

- C бригадиров тебя, Назар, снимем. Выговор вкатим. Сроку на исправление месяц. Другие предложения есть? Голосую.
- Нельзя заставить любить голосованием, Назар встал, не дожидаясь, когда поднимут руки. И Ксения не согласится.
- Ее и спросим! вдруг рассердился секретарь. Любовь!.. А долг, а обязанность?.. Перерыв, товарищи.

Привезли Ксению. Глядя на нее, у любого сжалось бы сердце. Она сохраняла достоинство, чтобы видно было, какими усилиями это удается измученной женщине. Ее сопровождала Маргарита, поддерживая под локоть. По настоянию Назара Маргариту попросили выйти в коридор.

Иди, доченька. Если мне будет плохо, тебя позовут, – проводила ее Ксения. – Иди, будь умницей.

И опять выиграла. Выиграла сочувствие и не только.

Едва за Маргаритой закрылась дверь, секретарь, глядя Назару в глаза и недобро улыбаясь, отчеканил:

- Коммунист Скоробогатов, повтори при жене, что только что говорил.
- Повторяю: мы с Ксенией давно не любим друг друга. Она предлагала мне уйти, но я остался, чтобы девочек поставить на ноги...

Все повернулись в сторону Ксении.

- Первый раз слышу, удивилась она.
- Ксюша!.. заволновался Назар. Недавно ты подтвердила при дочери...
 - Не помню.
 - Ясно! хлопнул секретарь ладонью по столу.

Партийное бюро исключило Скоробогатова из рядов партии. Райком не утвердил это решение. Вынес ему строгий выговор с занесением в учетную карточку. На суд Ксения не пошла. Дала письменное согласие на развод.

...Наметился серый рассвет, когда Назар уснул провальным сном. Дождь прекратился, но распадок затянуло белесой марлей

тумана, который оседал холодной водяной пылью на травы и деревья.

К ручью вышел сохатый, поднял могучую голову, расширил ноздри, втянул воздух. Ноздри его затрепетали: он уловил запах кострища, запах человека. Зверь постоял секунду, неслышно исчез в ельнике, не колыхнув веток.

Шалаш, где спал Назар, стороной обошла рысь, щуря зоркие желтые глаза. Заметив промелькнувшую белку, рысь остановилась, но приблизиться к шалашу не посмела. Облизнулась и ленивой пружинистой походкой двинулась дальше. Угодив ногой в сырое место, брезгливо встряхнула лапой, прыгнула на валежину. Оглянулась в сторону шалаша, приложила к голове кисточки ушей, оскалилась и пошла прочь.

Разбудил Назара тихий шорох. Он открыл глаза и... улыбнулся. Под крышей шалаша, в метре от его лица, притаилась белка, недоверчиво косила на него блестящим глазом. У самых ног Назара возились два бурундучка, что-то, похоже, не поделили, ссорились. «Кто же испугал вас? Куница?» — подумал он и осторожно пошевелил рукой. Бурундуки вылетели из шалаша. Белка сердито зацокала, но осталась на месте. «Бранишься, — снова улыбнулся Назар, — а защиты ищешь около человека. Жаль тебя беспокоить, но мне пора в дорогу».

Назар выбрался из шалаша, наломал веток, что сухими сохранились под кронами елей, сунул под них бересты, подпалил. Сверху положил обгорелые головешки. Костер подымил, пошипел и разгорелся. Назар пошел к ручью, зачерпнул воды в котелок и вдруг остановился. Двумя пальцами снял с ветки волосок. «Рысь, — заключил он. — Только что прошла. А вон и следок».

Пока грелся чай, Назар присел на валежину и не заметил, как вернулся к воспоминаниям.

Ксения с его согласия продала дом и все, что было в хозяйстве, уехала с Маргаритой в город, к сестре. Доходили слухи, что работала она библиотекарем. Дочерям Назар посылал половину заработка. Несколько раз писал письма, но в ответ получил одно, сухое и злое. Когда Маргарите исполнилось восемнадцать лет, Назару вернули посланные им деньги. На почтовом переводе было написано рукой дочери: «Адресат от получения отказался».

К тому времени Виктория закончила университет и вышла замуж. Назар понял – дочери вычеркнули его из сердца.

Глаша молча страдала. Она видела: Назара гложет какая-то тоска — и не знала, чем помочь. К ней он был неизменно ласков, но всегда хмур и задумчив. Часами сидел неподвижно, невидяще глядел в пространство.

Давно уволился из леспромхоза, нанялся проводником к геологам и каждое лето бродил с ними по тайге. Иногда и на зиму оставался сторожить их имущество. Редко был дома. Из тайги приносил стопки исписанных тетрадей, убирал в сундук. Не стало у него и прежней жадности к работе. На бане прохудилась крыша, крылечко покосилось, а он, если и был дома, до третьих петухов курил и что-то писал. Утром умывался, рассеянно ел и опять садился писать. Не позови – и обедать не вспомнит.

- Назарушка, починил бы крылечко, мягко говорила Глаша, – совсем развалилось.
 - Погоди немного. И крылечко, и крышу все починю.

Но, видимо, забывал обещание и все сидел над своими записями. Или вдруг вскакивал, рвал бумагу в мелкие клочья, швырял в печь и уходил в тайгу.

Она несколько раз украдкой читала его тетради и дивилась: «Зачем Назар переписывает книжки, и такие, что сердце замирает?» Сына Сережку спросить бы, любит он Назара, но сын в армии, а кому-то чужому показать тетради она не решалась.

Только в сенокосную страду Назар преображался. Возвращался из тайги и шел на покос, как на праздник. Под той же елью строил шалаш и работал с веселой удалью. Как мальчишка, вдруг падал спиной в ворох сена, увлекая за собой Глашу, улыбаясь, глядел в небо, говорил ей:

– Видишь облако?.. Будто корабль плывет по синему океану. Паруса на нем... И капитан глядит в подзорную трубу. Видишь? А перед ним узкий пролив среди снежных гор до самых туч.

Ласточкой пролетали для Глаши дни сенокосной страды. Назара будто подменяли. Он хмурился и по-скорому уходил в тайгу.

В марте вернулся Скоробогатов с зимовья непривычно обновленным. Обнял Глашу.

- Измучилась со мной, сказал он и погладил ей волосы. –
 Седина появилась... Но теперь или... или.
 - Что «или»? спросила она.
 - Так я...– улыбнулся Назар. Давай топить баню.

Наутро он запечатал тетради в большой пакет, отнес на почту. С этого дня стал он для Глаши прежним Назаром. С рассвета до ночи тесал, стругал, пилил. Только когда проходила почтальонша, бросал любую работу, стоял у калитки. Перед самым покосом получил он письмо. Дрожащими руками вскрыл конверт, перечитал несколько раз, глазам не веря. Потом рванул ворот рубахи, сложил ладони рупором и заорал в сторону тайги:

– Эге-ге-ге-э-э-й!

Эхо покатилось по падям и урманам, в поселке залаяли собаки. Глаша выскочила из избы, едва выговорила:

- Чо случилось, Назарушка?

Он сгреб ее в охапку.

– Глаша... Глашенька! Книжку я написал. Понимаешь? Книжку!.. Вот письмо. Приняли. Напечатают... – Назар кусал губы, в глазах светились слезы.

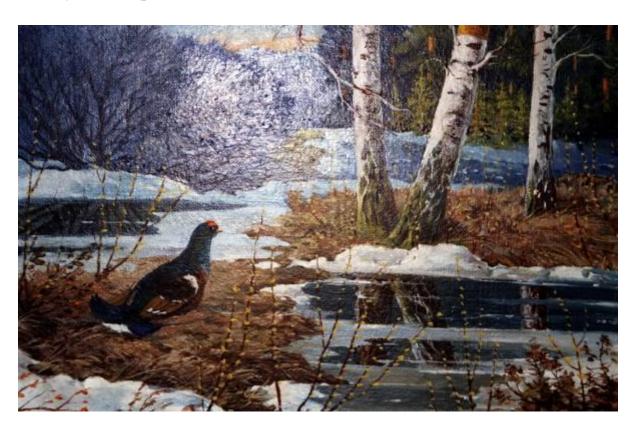
А через год получил он телеграмму: «Прочитала твои повести молодец Виктория».

Вскипел чай, Назар снял с огня котелок, всыпал щепоть заварки. Пока она упревала, сложил вещи, огляделся. Белка, притаившись, выглядывала из-за ствола кедра. «Не убежала, – подумал он, – значит, рысь где-то недалеко». Перекусил, залил костер и тронулся в дорогу. Ему надо успеть до ухода геологов. Предстояла зимовка в таежной избушке и работа над новой книгой. Телеграмма дочери разволновала его, взворошила прошлое, лишила с трудом обретенного покоя, принесла бессонницу в эту дождливую ночь.

г. Красноярск, 1982 г.

ПЕРШИНСКИЙ КОРЕНЬ

Федот Кузьмич выбрался из бестолковой путаницы тальников и смородинника на приречный галечник. К осени река усохла, откатилась к правому берегу. Кузьмич приставил к кусту двустволку, устало сел на лесину, принесенную половодьем, отдохнуть на нежарком солнечном угреве. Непривычная слабость после простудной хвори повергла его в унылые размышления.



Двоих сыновей унесла война, и остался он со старухой доживать век на таежном полустанке. Густой першинской закваски были ребята, словно молодые кедры, возросшие на приволье, навечно вцепившись корнями в саянский суглинок.

Ладные были охотники, мало чем уступали отцу. Третий сын — последыш — ни статью, ни ухваткой не удался в породу Першиных. С малолетства присох он к книжкам, складно разговаривал по ним вслух, да так и свернул с таежной тропы, уехал в город. Теперь он большой ученый, о чем Кузьмич самолично читал в газете.

Каждое лето приезжает он из города «на землю отцов» подышать кипрейным воздухом, испробовать духмяной таежной ягоды, похлебать харьюзиной ушки. Ничего не скажешь, голова мужика туго набита мозгами, но здоровьем хилый. Очки да нос крючком и на кой-то хрен клинышек бородки. Ему сапогиболотники, котомку да ружье за плечи – и в тайгу, на зимовье. Глядишь, и костью раздался бы, а на них и мясо наросло. Только какой из него таежник? Сидит больше в огороде, блестит залысинами. В крайности убредет до ближайшего плеса, днями торчит на убрусном камне, читает либо пишет. Вечером придет в дом, довольно потирает руки:

– Работалось славно. Корми, мать. Устал и зверски проголодался.

Поковыряет вилкой в миске, как заморыш-копалушенок, и сыт. Словом, не лежит сердце Кузьмича к последышу. Тайно считает, что его пригуляла супруга, когда соболевал он на дальнем зимовье, и пуще гложет тоска по погибшим сыновьям. В труху рассыпался листвяжной крепости першинский корень без молодой поросли. Остался Кузьмич, как эта лесина, выброшенная на галечник, да последыш Степан, навроде чахлой осины в согре. Нелегко доскребать восьмой десяток с такими думами.

Перед самым уходом на войну средний сын Андрей, любимец Кузьмича, принес с болота сироту — сохатенка — и выходил на коровьем молоке.

 Расти, Сохач, – потрепал он за холку лосенка, – вернусь – вьюки возить на зимовье будешь.

Но сын не вернулся. Зимой пришла и на него похоронка. Старшего к тому времени уже оплакали.

А лосенок рос и мужал возле дома своих благодетелей вместе с коровой и телятами. Тогда еще держал Кузьмич корову и ее приплод до полутора, а то и двух лет. Ставил в зиму пять-шесть стожков сена.

Дичи в тайге было не в пример богаче, и небольшая нужда держать скотину для мяса. Но Кузьмич и его сыновья ни разу не вскинули ружья ни на птицу, ни на зверя в пору их свадеб и расплода. Тогда и годилась домашняя солонина. Так шло от дедов: брали из тайги, жили тайгой, но и берегли ее, кормилицу.

Размашистый домина Першиных, рубленный отцом Кузьмича из смолевого листвяка, стоял на отшибе, и Сохач со свету до темна пропадал неведомо где, а к ночи приходил ко двору.

– Спроводил бы, Федотушка, Сохача подале от людских глаз, – посоветовала старуха, – пущай Андрюшина память по тайге ходит.

Кузьмич так и сделал. На веревочке, как теленка, отвел Сохача-двухлетку верст за сорок к дальнему зимовью, отпустил в тайгу. Сам ушел скрытно, по руслам ключей и речушек затерял следы. На другой день в обычное вечернее время пришел Андреев Сохач во двор Першиных как ни в чем не бывало. Три года прожил он возле дома. Выправился в могутного зверя, рогами обзавелся, а все был ручным, как теленок. И вдруг к осени взбесился. Землю роет, ревет трубно, глазами огонь мечет. С раздутыми ноздрями умчался в тайгу, ни вечером, ни ночью не вернулся.

– На любовь потянуло, – успокоил Кузьмич старуху, – считай, насовсем ушел.

Но недели через две на рассвете вышел Кузьмич во двор, припорошенный кое-где снежком, и увидел Сохача. Лежал он под навесом и не поднял головы на зов. Сойки рогов обломаны, шея и грудь исполосованы рваными ранами.

- Эк встретили тебя таежные братцы, покачал головой Кузьмич и позвал старуху.
 - Господи!.. Напасть какая!.. запричитала она.
- Не суетись, не для того позвал. Согрей поболе воды, да положи в нее этой... как ее? Ну, твоей травы, что от ран помогает.

Во второй раз в этом доме выходили Сохача. Он скоро окреп, зимой отпали обломанные рога, а к лету оформились новые, больше прежних, с широкими лопатами и с пятью стойкамиотростками на каждом роге. За зиму и лето он взматерел, заметно раздался в груди, на шее загустела грива, лобастая голова стала огромной. Словно зная свою мощь и силу, он подходил к Кузьмичу, смотрел на него умными выпуклыми глазами, кажется, с осознанной благодарностью, осторожно терся отвислой губой о плечо и ладони. Старуха побаивалась Сохача и он, будто догадываясь об этом, не подходил к ней и сам.

Отгремело грозами, отшумело ливнями лето. Утекла из тайги лишняя вода. Побурели, полегли травы. Зажелтели золотниками березы, прихваченные утренниками. И ушел Сохач искать обидчиков. Ушел с поднятой головой, не расходуя до времени силу. С тех пор Кузьмич не бил сохатых. Крепко запали в сердце слова старухи: «Пущай Андрюшина память по тайге ходит».

Лет через пять, когда в зиму навалило несусветную толщу снегов, а к весне покрылись они коркой наста, пришел Сохач под окна Першиных. Старики обрадовались, выбежали навстречу дорогому гостю. Но когда увидел Кузьмич, что позданки Сохача изодраны в кровь, он скрутил такой тугой узел матюгов, что старуха распахнула рот и уставилась на мужа. И не диво. За всю долгую жизнь не слышала от Федотушки бранного слова.

Кузьмич метнулся в дом, накинул полушубок и треух, схватил горсть патронов и с молодой прытью убежал на лыжах, на ходу заряжая двустволку. Воротился поздно.

– Паскудники... Варнаки! – негодовал он. – Сохатых по насту собаками вусмерть загоняют.

На этот раз гостил Сохач недолго, пока зажили на ногах ссадины.

И еще раз Андреева Сохача встретил Кузьмич у гремучего ручья, вблизи зимовья, где промышлял белку. Сохатый сам вышел к зимовью, почуяв знакомый запах. Он постарел, волос покрылся пепельным налетом, на боках проступили ребра. Ему перевалило за два десятка!

– Сохач! – воскликнул Кузьмич, – ты ли?

Сохатый подошел и, как прежде, потерся губой о ладони старика.

- Андрюшу помнишь ли?.. прошептал Кузьмич дрогнувшими губами и уронил слезу на морду зверя. Старик-Сохач уловил тоску в голосе Кузьмича, поднял голову, навел на него печальные глаза, осторожно положил морду на плечо.
- Помнишь, значит... помнишь... шептал старик, оглаживая шею сохатого.

Сохач постоял с минуту, побрел прочь по сугробу. У опушки оглянулся и ушел в сумеречную тайгу навсегда.

Улетев думами к той давней встрече, к последней живой памяти о сыновьях, Кузьмич еле переборол закипевшие слезы. Годы, конечно, и хворь эта, будь она неладна, сказали себя, и ослаб старик телом и духом. Еще весной сплоховал он, окунулся в ледяное крошево и пластом провалялся весну и лето. Далеко ли сходил — до Кривого болота, подшиб пару серух, а усталость сморила, будто на Медвежью гору оттопал в оба конца.

Донимает Степан: переезжайте, мол, к нему в городскую жилплощадь, с внуками забавляться, да отгорожено сердце Кузьмича от Степана холодной стенкой. Старуха молчит до поры, но...

Хруст галечника оторвал Кузьмича от тяжелых дум. Из-за тальников на речную косу вышел парень, одетый для тайги, но по-городскому. Новенькая штормовка сидела на нем с красивой небрежностью, темные волны волос спадали на плечи, за спиной прилажена аккуратная торбочка, крепкую шею охватывал ворот красного свитера. Он скользнул по Кузьмичу равнодушным взглядом, развернул голенища сапог и забрел в воду. Точным движением руки кинул нахлыстом мушку-обманку в самую стремнину. Еще вчера подметил Кузьмич этого ладного парня, когда тот с товарищем сошел с поезда и в момент растянул цветастую палатку неподалеку от полустанка. Сейчас Кузьмич сидел в четырех-пяти метрах от парня и любовался его ловкостью и неистраченной силой, которая легко угадывалась в каждом движении сбитой фигуры.

С первого заброса удилище согнулось, на леске заходила рыба. Кузьмич, сам страстный рыболов, отметил, что парень поторопился, грубо потянул рыбу, и она сошла. Что-то сразу изменилось в парне. Он засуетился, стараясь поскорее забросить мушку, а это не удавалось. «Не ерепенься, парень. Оплошку дал, эка беда!» – бодрил его Кузьмич про себя.

Мушка упала в воду близ берега, и за крючок зацепился мелкий хариусок. Парень зло сорвал его с удочки, с силой ударил о галечник. Кузьмич заелозил на лесине. Парень между тем раз за разом выдернул еще двух рыбок и с нарастающим озлоблением бил их о камни.

- Чего рыбу изводишь, поганец? не выдержал старик.
 Парень оглянулся через плечо.
- Рыбные запасы не обеднеют из-за этих рыбешек, снис-ходительно пояснил он. А ты, дед, ковыляй отсюда на полусогнутых.
- Мне ковылять не к спеху, сохранил спокойствие Кузьмич. А ты знаешь, что за каждого харьюза-маломерка штраф пять рублев?

– Так бы давно и сказал, – хохотнул парень, – выпить хочется, а не на что. На, старик, от щедрот Вадима Комова.

Парень вынул из кармана десятку, небрежно бросил к ногам старика и зашагал по галечнику. Кровь прихлынула к лицу Кузьмича. Он вскочил, схватил двустволку.

– Стой, щенок! – закричал не своим голосом.

Комов шел вразвалку, будто не слышал старика.

– Стой, говорю!..

Грохнул выстрел. Пуля взвыла выше головы Вадима, срезала вершинку бамбукового удилища. Комов вздрогнул, повернулся побелевшим лицом к старику.

- Что ты, дедушка?.. едва разлепил он задеревеневшие губы.
 - Подь сюда!

Комов робко подошел.

Подбери деньги, паршивец! – строго скомандовал Кузьмич, не опуская двустволку.

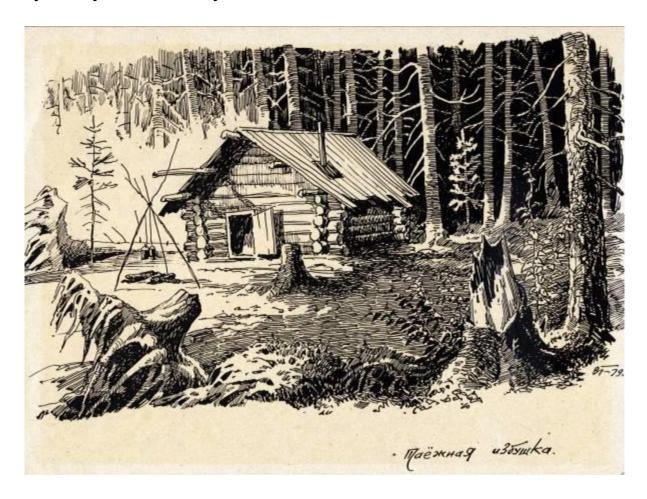
Вадим поднял десятку. Спесь с него слетела, как осенний лист. Он стоял бледный и растерянный, боясь шевельнуться. Дед оказался не развалиной-старикашкой, как подумалось сначала. Он высок и крепок, как горный кедр на картине Ряннеля. Его глаза насквозь прожигали Вадима. Такой тюкнет и не моргнет.

— Чтобы вашего цыганского балагана и духу не было. Скоро пройдет поезд — уезжай от греха. И не попадись мне с паскудством вдругорядь. Белку в глаз бью, — Кузьмич перекинул через плечо подстреленных уток, пошел, не оглядываясь.

Случай этот распалил в душе старика давно копившееся возмущение на залетных горожан. Деды и прадеды кормились тайгой, она не скудела. А ныне год от году беднеет. Просторны Саяны, слов нет. Зверя, птицы, рыбы, грибов и ягод всяких в ней великое множество. Пользуйся, но и вперед гляди. А эти саранчой летят в тайгу на разной технике. Неводами выцеживают харьюзят-сеголеток без всякой пощады.

Найдут груздок — перероют вокруг прель и мох до земли, вконец загубят грибницу. На десятки верст груздя не найдешь, а годов десять тому возили возами. Бульдозерным ножом бьют с разгону в комель столетних кедров, обивая шишку, а то и под корень пилят и вырубают кедрачи. Нахватают кошелку зеленой еще

ягоды – перетопчут, переломают все малинники и смородинники. До сроку побивают неоперенную птичью молодь. Ночуют в таежной избушке – испоганят, и с нее же крышу жгут, а рядом сушняку и валежнику вдосталь.



Заказники придумали, считай, в каждом таежном районе. А что толку? Вон он, заказник, рядом. Из него лесоучасток хлысты возит и кедру тоже. В нем и удочкой махнуть грех, а кому режевками рыбу грести дозволено. Как не дозволишь? То власть, то начальство, то родня, а то и за бутылку.

И где уберечь заказник на сотню верст двум-трем егерям? Егерь, который и сам норовит на машину нахапать, али пьет беспробудно. Настоящему рыбаку и охотнику в заказник ходу нет. А хапуге-браконьеру безлюдье наруку, ему раздолье. Глядя на это, исконные таежники, что помоложе, тоже начали шкодить. Всю тайгу заповедной надо сделать и не любого-каждого в нее допускать. Которые замечены в паскудстве, тем вовсе запрет положить, чтобы и ноги их в тайге не было. Доподлинным охотникам и лю-

бителям права дать, чтобы берегли тайгу и живность в ней пуще глазу. Лучше их того никто не сделает. «Нет сил глядеть, как тайгу разоряют. Андрюшка, тот бы уберег, — думал Кузьмич, — лучше убраться в город к Степану, с глаз долой, чем эту срамоту видеть».

На неделе засобирался старик в город.

- К Степану съезжу, внучат проведаю, пояснил старухе.
- И то пора, повеселела старуха, младшего, Андрейку, в глаза не видел, а ему шестой годок.
 - Раскудахталась. Сказал: еду проведать.

В заплечную котомку уложили кедровых шишек, сыпанули орехов внукам на забаву. Положили по банке разных варений, моченой брусники, грибков, солить которые старуха большая мастерица, и в путь.

Кузьмич на новой квартире Степана не был и не стал ее искать. Сноха Феня, конечно, ничего бабенка. Шустрая и уважительная. Цыганистые глаза с искрой. Но тонка шибко и пазуха пустая. Где ей першинскую породу множить. И внучата, Надюша и Сема, черноглазые, как воронята, всем в мать. С новой силой сдавила нутро Кузьмича старая боль о зачахшем першинском корне. «Заеду к Степану на работу, вместе с ним как-то способней на квартиру явиться», – решил он.

Степан Федотович Першин, крупный ученый, ректор университета, давно разгадал причину отчужденности отца. Он, Степан, не оправдал надежд продолжить першинский таежный корень. «Можно ли винить родителей в том, что они желают видеть в детях свое повторение? – рассуждал Степан Федотович. – Это естественное желание. Разве я сам не хочу, чтобы мои дети работали со мной в одной области науки?»

Он ни в чем не винил отца и относился к нему с полным уважением и сыновней любовью, однако никогда не говорил с ним о своей работе, о наклонностях и увлечениях внучат, весьма далеких от охотничьего промысла и зимовий.

Много лет не приезжал Степан Федотович к родителям вместе с семьей, находя каждый раз уважительные предлоги. Он не хотел бередить душевную болячку отца. От природы наблюдательный, Кузьмич понимал «линию» Степана, видел ненавязчи-

вую, но прочную любовь сына к родным местам, родителям и всему першинскому. Поэтому и решил, что со Степаном «способнее» явиться на квартиру. Встреча со снохой и внучатами его волновала и беспокоила. Он на что-то надеялся, не зная, на что, и безотчетно боялся. В поезде его то одолевало нетерпение, то желание воротиться с полдороги. Он почти сутки не сомкнул глаз, простоял у окошка вагона.

Университет и кафедру, где работал Степан, нашел Кузьмич без труда, хотя был здесь много лет назад. На кафедре молодая бабенка, городская пигалица, с трудом сообразила, что суровый, бородатый старикан спрашивает Степана Першина, и проводила до приемной ректора. В приемной из-за широкого стола, уставленного телефонами и обложенного бумагами, встала строгая женщина в очках.

- Степан Федотович занят. Никого не принимает.
- То ись как не принимает? опешил Кузьмич, А ежели я, можно сказать, к нему приехал?
 - Сказано, занят.
- Обожду, старик поставил в уголок котомку, присел на стул.
 - Напрасно будете ждать, сегодня не приемный день.
 - Обожду, повторил упрямый старик.

В приемную время от времени заходили люди. Одни отступали сразу, другие уговаривали строгую женщину:

- Мария Семеновна, доложите. Прошу вас. Дело срочное.
- Степан Федотович занят, был ответ. Заходите завтра.
 Вы же знаете.
- Знаю, конечно. Ну да ладно, чесал затылок и уходил какой-то толстый лысый дядя.

Звонили телефоны. «Занят, – говорила в трубку Мария Семеновна. – Только завтра».

Кузьмич достал кисет, на клочок газеты насыпал щепоть махорки.

– Дедушка, здесь курить нельзя.

«Вот это заказник, язви тя, – подумал Кузьмич, ссыпая в кисет махорку, – и егерша зоркая». Неожиданно вышел Степан.

– Мария Семеновна... – начал он и осекся. Шагнул к отцу. – Батя! Чего же не сообщил? Встретили бы. Заходи. Мария Семеновна, вызовите машину и позвоните в горсовет, что задержусь на десять... Нет, на пятнадцать минут. Петру Петровичу – он сейчас на занятиях – передайте, чтобы совещание проводил без меня.

Широкий, как вокзал, кабинет охватил Кузьмич одним беглым взглядом. И ковры на полу, и шкафы во всю стену, набитые книгами, и кресла, и ровные ряды стульев. «Из етой барской горницы разве заманишь его на зимовье», — как-то безразлично подумал он.

- Садись, отец, устал ведь с дороги, Степан подвинул кресло. Кузьмич опустился, как в моховую перину.
- Как себя чувствуешь после болезни? Как мама? Степан сел напротив.
 - Что нам сделается? Шевелимся.
- Сейчас подойдет машина, меня завезет в горсовет, а тебя к нам, Степан Федотович взглянул на часы. Часика через полтора и я буду дома.
 - Обожду, где укажешь, чтобы к тебе вместе.
- Устал же с дороги да и болел недавно, Степан Федотович заметил, что брови отца съехались к переносью, а это признак недовольства. Извини, пожалуйста, батя, но в горсовет мне обязательно. Все другие дела брошу и скоро прикачу домой.
- Заладил: «устал», «болел», «извини», как барышне, язви тя. Сказал, обожду.
- Тогда посиди в саду университета, я покажу место, где никто не помешает, а сам постараюсь скоро вернуться.
 - Посижу. Сидел уже возле твоей егерши.
- Может, здесь, в кресле подремлешь? Я иногда так отдыхаю.
 - В саду посижу.
- ...Вадим Комов проверял контрольные работы заочников. За это нудное дело он брался охотно и даже находил время беседовать индивидуально с авторами, что совсем не обязательно. Другие преподаватели кафедры были ему благодарны. Мороки с контрольными много, а педнагрузку засчитывают как пятнадцать минут (треть академического часа!).

Вадим просмотрел последнюю работу, написал заключение, отложил в сторону. Из внутреннего кармана достал миниатюрный блокнот, аккуратным бисером записал фамилию, имя, отчество, адрес и в скобках пометил: «Директор школы в таежной деревне». Мурлыча какую-то мелодию, посмотрел в окно и присвистнул. Он увидел Кузьмича и сразу узнал его. Таежная встреча ему хорошо запомнилась. Молодой, захваленный преподаватель университета был самолюбив. Обида и унижение, нанесенные стариком, занозой застряли в сердце, хотя он и успокаивал себя: никто, мол, не видел и не слышал. И вот случай. Здесь не тайга, где старикан хозяин. Здесь цивилизованный город, где хозяин Вадим. Здесь не пригрозишь двустволкой, из которой удилище пополам или белке в глаз.

Вадим торопливо сложил бумаги в портфель, заспешил в сад. Он еще не знал как, но был уверен, что отомстит старику.

- Здравствуйте, дедушка, поздоровался он с напускной вежливостью.
 - Здорово, внучок, ответил Кузьмич, не поднимая головы.
- Сын или внук в нашем университете? спросил Вадим, нащупывая почву и нажимая на слово «нашем». Подсел рядом.
 - Сын... последыш.

Вадим тонко улавливал «душевные нюансы» людей, которые ему нужны. Он почувствовал в голосе старика нотку разочарования или огорчения и внутренне ликовал.

– Двоек нахватал? – улыбнулся он. – Науки, дедок, не каждому даются. Это не из ружья бухать да людей пугать.

Кузьмич, наконец, поднял голову, взглянул на собеседника и удивленно вскинул брови. Он узнал Вадима Комова. А тот продолжал:

- Здорово напугал меня своей пушкой в тот раз. Только чего уж вспоминать? Берусь уладить дела твоего последыша. Шкурки соболя привез или куницы?
 - Какие шкурки?.. Зачем?..
- За парня хлопотать надо, а задаром дураков нет, Вадим не боялся циничной откровенности. Слов к делу не пришьешь. Да и деду все равно податься некуда. Последыша сварганил, конечно, в старости, а это любимое дитя. И шкурки можно слупить, и носом в дерьмо ткнуть «блюстителя всенародного добра».

Кузьмич начал понимать, куда клонит Комов. Не первого любителя собольих и куньих шкурок встретил он на своем веку.

- A ты что же, учитель здесь? кивнул он на здание университета.
 - Старший преподаватель.
- Ишь ты, какое дело, покачал головой старик, не зря, стал быть, тебя, подлеца, из тайги шурнул.

Красные пятна выступили на лице Вадима. Он встал, подбоченился.

- А я сынка твоего из университета шурну. Попомни слова Вадима Комова.
 - Степана?
 - А хоть Федота, зло усмехнулся Вадим.
- Постой, постой... стушевался Кузьмич, доставляя удовольствие Комову. Федот это я..., а Степан... Степан Федотыч Першин мой, значит, сын.
 - Брось, дед, пугать то берданкой, то Першиным.

В это время и подошел Степан Федотович. Заговорил еще издали:

– Вот и я. Освободился даже раньше, чем обещал. Здравствуйте, Вадим Григорьевич. Спасибо, что отца развлекали, пока я был занят. И как это у вас все ловко и своевременно получается? Спасибо еще раз.

И уже обращаясь к отцу, закончил:

– Толковый парень и исполнительный. Думаю себе в аспиранты взять. Пойдем, машина ждет.

Кузьмич встал, возвысившись ростом над Степаном и Вадимом, спросил:

- А что это... сперант?
- Как тебе объяснить? Ученик... Лучший ученик.
- Дерьмо твой лучший ученик, отрубил старик и пошел к машине.

Степан Федотович растерялся:

– Чем вы рассердили отца?

Вадим стоял бледный, со страхом смотрел на Першина.

– Да успокойтесь вы, голубчик, и извините... У старика крутой нрав... И возраст...

Вадим будто онемел.

Отец и сын всю дорогу молчали, молча вышли из машины. «Что у них произошло? – думал Степан Федотович. – Срывается отец в исключительных случаях. В чем дело?» У подъезда он остановился.

- Батя, за что ты Вадима Григорьевича? Чем он тебе досадил?
 - Не мне. Людям.
 - Расскажи, прошу тебя. Давай на лавочке посидим.

Сели. Кузьмич свернул цигарку, закурил. Степан Федотович терпеливо ждал, не торопил.

- Шкурки он вымогает, подлец, закипел старик, собольи и куньи. А ты, язви тя, под носом не видишь. Охрану у дверей поставил. Может, сказали бы давно. Да эта твоя егерша грудями прет, никого не пущает.
 - Шкурки, говоришь? Это хорошо...
- Чего хорошего? загремел Кузьмич, по твоей, значит, указке?

Он вскочил, смял в кулаке цигарку.

- Сядь! таким повелительным и плотным басом гаркнул
 Степан, что Кузьмич ушам своим не поверил.
- Сядь, говорю, и замолчи, тише, но с металлом в голосе повторил Першин младший. Век доживаешь, а ведешь себя, как первокурсник. Сына в махинациях заподозрить!

Кузьмич сел. «А ведь в ем першинская кровь. Гляди, как реванул», – подумал он, успокаиваясь.

— А теперь слушай, — Степан наклонился в отцу и приглушил голос. — О том, что кто-то в университете вымогает пушнину у студентов из таежных деревень, и не только пушнину, мне с месяц назад пришло письмо без подписи. Я сообщил в следственные органы. Им, оказывается, известно об этом еще раньше. Вчера пришло второе такое письмо, со штампом нашей станции на конверте. Но его могли бросить в ящик проездом. С нашей станции студентов нет, есть с соседней. Ты-то какие доказательства имеешь?

Кузьмич пересказал разговор с Вадимом, а потом и встречу на таежной речке.

– Вадим Григорьевич, значит, был в наших краях? А ты не ошибся, батя?

- Я же говорю, в удочку стрелил. Он меня только что попрекал. Говорит: «То берданкой пужаешь, то Першиным».
- Так. Сегодня ты устал. А завтра я приглашу следователя, все ему перескажешь. Только спугнул ведь ты его, батя.
 - Опять устал, да устал. Раз такое дело, зови следователя.
- ...Сноха Феня приятно поразила старика. Те же глаза с искрой, ласковый голос с протягом, но раздалась баба, и пазуха заполнилась. Кузьмич с улыбкой рассматривал ее, полез пятерней в затылок. Сноха смекнула, в чем дело, по-молодому зарделась, заторопила:
- Раздевайтесь, батя! Ой, дети обрадуются! В цирк они ушли, скоро вернутся. Степан, где ты? Сын называется. Отца у порога оставил, а сам звонит куда-то, будто без него и земля остановится.

Степан Федотович вышел из кабинета, куда проскочил, не раздеваясь, положил руку на плечо жены.

- Фенюша, отец с утра голодный. И водочки на стол поставь. Батя, можно?
 - Седни можно, одобрил тот.
 - Я мигом, блеснула она глазами.

Сын проводил отца в кабинет.

— Вот-вот подъедет следователь. Посиди здесь, встречу его. Я не хотел говорить при жене, — слукавил он. У Степана Федотовича секретов от жены не было. Но он знал, что отец в серьезных делах не доверяет «женской нации», и тонко угодил ему. «Все ж таки Степка нашей, першинской породы, — думал Кузьмич, сидя в кабинете сына, — только костью не вышел, язви тя».

Следователь внимательно слушал, дотошно выспрашивал подробности. Во что был одет, покупная удочка или срезана в лесу. И все записывал. Под конец прочитал написанное, спросил:

- Все ли так было?
- Доподлинно.
- Подпишитесь вот здесь, он развел руками, такой порядок. И больше никому об этом ни слова.

Перед уходом поблагодарил старика:

– Спасибо вам, Федот Кузьмич. Помогли вы мне здорово. Что значит глаз таежника! А! Ведь на речке еще раскусил ягодку. Извините, спешу, дело такое.

Только следователь за порог, в кабинет вкатилась Феня со всем выводком. Старшие, Надя и Семен, подбежали к Кузьмичу, зашумели наперебой:

– Здравствуй, дедушка! Что так долго не приезжал?

Младший стоял у двери рядом с матерью, смело глядел на деда серыми глазищами. Кузьмич не мог отвести от него завороженного взгляда. Он забыл все и всех на свете, только беззвучно шевелил губами:

– Андрюша... Андрюша... Першинский корень... Язви тя... – по щекам старика катились слезы. Внук Андрейка, как две капли росы, был похож на погибшего сына Андрея.

г. Красноярск, август 1980 г.

ВИТЬКА БИДОНОВ

Виктор Бидонов ушел от жены. От Светланы. Только на божницу ее не ставил, и то оттого, что божницы нет. И вот ушел. Взял чемоданишко и ушел. Раньше собирался — пороху не хватало. И на этот раз, может, стерпел бы, да брательник, Никифор, чуть по сопатке не заехал.

– Ты чо, – говорит, – баба али мужик? Погляди на себя в зеркалу – Ермак, идрит твою в …! Только без бороды. Прынц! Из всех Бидоновых прынц! Моя бы Нюрка так… Я бы ее, заразу!

Виктор, и вправду, не на обочине обивок. Спокойный, обстоятельный, ни статью, ни силой не обижен, и шофер, каких поискать. Прямо завидный мужик. Бабенки поедом его ели ненасытными глазищами. И характером Виктор мягкий. Его хоть на хлеб намазывай.

Встретил он Светку в ресторане «Сибирь». Зашли с шоферней премию спрыснуть. И тут она подошла и пропела:

– Што будем кушать?

Виктор взглянул на нее и обалдел. Глаза голубые-голубые. И чистые, будто родники таежные. Лицо свежее, румяное, волосы – льняными волнами. И вся она уж такая аккуратная да игрушечно хорошая, что если самую малость убавить или прибавить чего,

то будет хуже. Такие только в сказках и во сне. Виктор убрал под стол вздрагивающие руки, хотел что-то сказать и не смог.

Шоферюга Гришка Скворцов – забулдыга и бабник – говорит:

- Организуй нам, Светочка, по салатику из помидоров, цыпленков в табаке и пару графинчиков водки.
- По сто граммов, Светлана в шутливой строгости свела брови. Больше нельзя!
- Ну, Светик, из рейсу мы. Прозябли, Гришка дурашливо скривился и погладил ее ручищей по спине и ниже.

Виктор побледнел, выкинул руки на стол, подался корпусом к Гришке, но сдержал себя.

 Только ради вашего друга, – Светлана так взглянула на Виктора, словно погладила его ресницами.

Виктор сразу вспотел.

Светлана улыбнулась ему – именно ему, плавно повернулась и пошла. Гляди, мол, я и с другой стороны не хуже.

Бидонов проводил ее глазами, обернулся к Гришке. А Гришка гад строил рожи, прикрывал рукой рот, чтобы не заржать, кивал на Виктора, прижимал ладонь к груди и закатывал глаза. Он всегда так делал, если хотел показать, что кто-то в когото втюрился. Бидонов опустил голову и молчал.

– Аппетитная бабочка, – зубоскалил Гришка, – мужики пробовали, хвалят.

Бидонов вскочил, схватил Гришку за грудки, рванул к себе через стол, прошипел в лицо:

– Не смей! Придушу! – Он разжал пальцы, опустился в кресло.

Гришка с минуту глядел на него во все глаза, потом поправил ворот рубахи, заворчал осторожно:

– Ни фига... тихоня. Ну и ну. Взъелся. – Затем отодвинулся подальше и продолжал: – Жена тебе, что ли? Энта куколка токо замужем была разов пять, как не боле.

Бидонов помалкивал. Молчали остальные. А что говорить? Расскажи в автоколонне — не поверят. Чтобы Витька Бидонов — в драку! Из-за бабы? Не поверят. Он поди и баб-то не того!.. В общем, смирный он, уважительный. А тут — на тебе!

Тук-тук каблучками подошла Светлана, приткнула к столу краешек подноса, разложила вилки, поставила рюмки, графин с водкой...

Виктор, не поднимая головы, глядел на ее ручки и боролся с глупым желанием прикоснуться к ним губами.

Гришка наполнил рюмки (он всегда верховодил в компаниях), заговорил, налаживаясь на веселую волну:

– Держим, браты, за нас и за тех, кто в рейсе! Мишка, Анатолий, поехали! А ты чо, Виктор? Брось ты! Ну, сболтнул, как говорится, не в ту степь. Чо теперь? Давай.

Выпили по первой, по второй, а веселья не получалось. Мишка рассказал, как они полаялись с табельщицей Любкой, как с того завязалось знакомство, поженились, а теперь сынишка растет, такой же настырный, как мать. Но черт-те почему, все получалось не по-настоящему, а как-то, как в самодеятельности, без естественной легкости. Кто бы что ни сказал, все казалось, что говорит человек намеренно, чтобы снять неловкое напряжение. Постепенно замолчали и обгрызали куриные косточки.

Бидонов ушел первым. Положил на стол деньги и ушел. Ни «прощай», ни «до свидания». Ну, ушел и ушел. Может, правильно сделал. Поглядел на красивую бабу, и ладно. На том спасибо. Мало ли их, красивых-то, в кино и в телевизоре? Только те всем поют и улыбаются. Они вроде нездешние. Вроде с Марса. Заглянули к нам, и нет их.

А эта ему, Витьке Бидонову, улыбалась. О нем говорила: «Только ради вашего друга». Значит, из остальных его выделила.

В рейсе — гляди дорогу, крути баранку, а башка свободная. Думай сколько влезет. И думал Бидонов о Светлане со всякой фантазией. А как додумывался до того, как она гладила его ладошкой по щеке и шептала: «Витя, милый», так — все! Ставь машину на обочину — перекур! По спине — мурашки, в руках и ногах слабина.

Через неделю прикатил Бидонов из рейса, причепурился – и в ресторан. Сел за тот же столик. Посетителей – раз, два и обчелся. Подошла Светлана, пропела:

Здравствуйте, Виктор.И села рядом.

Это уж... вообще... знаете! Бред, что ли? За баранкой так и думалось Бидонову — подойдет и скажет: «Здравствуйте, Виктор. Извелась, глаза проглядела...»

- Здравствуйте, Свет... Светлана, - выдавил Виктор.

На много рядов передумал он за долгую дорогу слова, каких она, поди, сроду не слыхала и каких он сроду не говорил и раньше не знал даже. А тут брякнул ни к селу, ни к городу:

- Красивая вы...
- Провались эта красота! Липнут все! Да еще и лапают!
- А вы по морде, осмелел Бидонов.
- Нельзя. Работа такая. За грубость сразу выгонят.
- Бросьте эту работу, посоветовал Бидонов.
- И что потом? она положила руки на стол вверх ладошками. Кирпичи таскать? БАМ строить?.. Так и там найдут меня мужики-сволочуги, любые горы сулить будут. А я женщина, да еще красивая. Тут один артист говорил, что красивая женщина, как и любое произведение искусства, не может принадлежать одному человеку. Это всенародное достояние. Что подать?

Бидонов успел сообразить, ответил:

– Что угодно и сто граммов.

Светлана принесла заливную рыбу, водку в бокале. Пока обслуживала какого-то расфуфыренного с черным бантом вместо галстука, Виктор поглядывал на него, думал: «Должно, артист. Ишь, баском рокочет, не он ли придумал про всенародное достояние? Вроде в ней у каждого мужика доля, как в потребсоюзе».

Подошла Света, села к его столу.

– Устала, – сказала она и провела рукой по лицу, как бы стирая усталость. – Через час смена. Вечером тяжело – не присядешь. И вот же сегодня днем, а почему-то устала.

От простых слов она показалась Виктору проще, ближе. Не из сказки, а такой же, как все, только красивее, конечно, всех на свете.

- Я в дальнем рейсе другой раз умотаюсь жуть! А все равно после как-то хорошо, сказал он и смутился.
 - Вы шофер? С Гришкой этим вместе работаете?
 - А вы знаете его?
 - Знаю... Мылился ко мне. Говорил, что завгар.

«То-то и плел», – подумал Виктор и спросил осторожно:

- Вы замужем?
- Была два раза...
- За меня... пошли бы? Бидонов вжался в кресло, будто ожидая, что жахнут его по башке разводным ключом. Хуже! Ждал, что расхохочется, пропоет: «Опомнись, парень! Выпей водички, охолонись!» В какие-то секунды сквознячок пробрал Виктора, и пожалел он, что задал опасный вопрос, что сейчас же махом рухнут все его дурацкие надежды. Все и навсегда. Он с усилием поднял голову, взглянул на Светлану. Ее, похоже, совсем не удивил вопрос. Даже ресницы не дрогнули. Но когда подняла глаза ласковые, чуть повлажневшие в Виктора потекли теплые, сначала робкие ручейки, а потом хлынула горячая волна...
- Милый, хороший Витя, вылепила она губами, почти без звука, где ты был раньше?..
 - Рассчитайте, пожалуйста, пророкотал басок.

Светлана ушла к расфуфыренному с бантом, и уже за то, что он прервал их, Виктор возненавидел «холеного барина». Краем глаза видел, как тот вытер губы салфеткой, дождался сдачи, грузновато поднялся, с достоинством понес к выходу крупную фигуру. Светланы долго не было. Виктор подумал: «Не придет». Подошла она в норковой шубе, в шапке из соболя.

- Смену сдала. Проводи меня.

Бидонов ринулся одеваться. Из ресторана вышли вместе. Официантки сбежались стайкой, глядели вслед, ухмылялись недобро. Виктор оглянулся на них, приостановился, но Светлана потянула за рукав:

– Назвался груздем... терпи.

На улице стемнело. Хлопьями падал снег, размывая свет фонарей и окон. Виктор никогда не испытывал такого сложного чувства — восторженной радости, скованности и смутной тревоги. Он не мог ни о чем ни думать, ни говорить. Неловко держал Светлану под локоть, не смел шевельнуть рукой, чтобы взять удобнее, и все время сбивался с ноги.

- Пройдемся пешком? Я недалеко живу, нарушила молчание Светлана.
- Хорошо, одним словом выразил он и согласие пройтись пешком, и свое состояние. Он хотел, чтобы жила она далеко, чтобы идти вот так долго-долго. И пусть падал бы снег хлопьями с

варежку, чтобы отгородил их от огней, машин и прохожих. Но жила она близко, и это только сейчас, как-то внезапно, осознал Виктор. Он заволновался, что дойдет она скоро, а он ничего не сказал. Попробовал вспомнить те слова, которые сами собой возникали в рейсе, за баранкой, но заговорил нескладно.

– Света!.. Надо же! Имя дали – в самый раз... Удачно, говорю. Это же, вроде... ну, свет или заря, что ли... – понял, что говорит – как ножовкой по железу, покрутил головой и умолк.

Светлана рассмеялась.

– Не надо, Витя, красивых слов. И так не слепая. Еще в тот раз, когда ты Гришу... Вот и мой дом. Может, зайдем? Еще не поздно.

Виктор обрадовался, а больше напугался. Не вышло бы, как в присказке: пили, ели, веселились... Для одного раза что-то многовато. И так мотор перегрелся, клапана стучат...

- Ты одна живешь?
- Одна. Пойдем?

Двухкомнатная квартира застелена и завешена коврами, заставлена богатой мебелью, между которой двоим не разойтись. Возможно только одностороннее движение.

- Все осталось от второго мужа, пояснила она, погиб он в аварии.
 - Шофер? спросил Виктор.
- Автогонщик... Сизов. У меня его фамилия. Посиди, я кофе сварю.

Светлана ушла на кухню.

Бидонов остался в комнате. Он поерошил волосы: «Свихнуться можно! С балкона махнуть или еще чего учудить. Жаль, вприсядку не умею...» Кофе пили на журнальном столике диковинной работы. Виктор отхлебнул раз-другой и слушал. Светлана говорила одна. Он молчал.

– Видел в ресторане артиста?.. Мой первый муж. Не муж, а... запудрил мозги: «Кинозвездой будешь!» Жила у него полгода без регистрации, конечно.

«Предрассудок, – говорил он, – мещанство, восемнадцатый век. Брак крепок любовью, а не бумажкой». А потом подпоил меня, чего-то подсыпал в коньяк и подсунул в постель своего кореша. В своей же квартире. За статуэтку. Японскую, что ли?

«Обменялись, – говорит, – произведениями искусства. Что же в этом особенного?» Я статуэтку – в мусоропровод и ушла. Артисту того и надо: к нему вскоре жена приехала с детьми. А я забеременела от артиста или кореша... Черт их знает. Сделала аборт. Детей у меня не будет... Никогда не будет...

Говорила она без особых эмоций. Вроде сходила в магазин, купила булку хлеба. Только в конце голос дрогнул. Чтобы скрыть это, она хватилась:

- Кофе остыл, взяла чашки и ушла на кухню. Вернулась на прежнее место. Продолжила:
- В ресторан поступила сначала посудомойкой. Тут директор прилип... Я, как ты советовал, по морде. Но у этой морды волосатая рука!.. Через год, видно, Сизова встретила. Уговорил замуж. Честь-честью в ЗАГСе расписались. Свадьбу сыграли небу тесно. Уважал он покрасоваться, чтобы с кандибобером и треском. А любил только себя и дорогие вещи. Как из-под земли их доставал. На ухаживания за мной глядел сквозь пальцы. Даже сам иногда просил покрутить шарики кому-нибудь из снабженцев или торгашей. После его смерти курить стала, пить. Мужики, конечно, как тараканы на сахар. Так что зря ты Гришку. Правду он говорил. И замуж зовешь зря. Пожалеешь после.

Вот и пойми баб. Одна чего не удумает, чтобы заарканить мужика, а эта о себе такое выдала — у любого охотку отшибет. И ведь Бидонов приглянулся ей, и думала о нем постоянно. Все дни думала. Виктора понять — тоже мозги всмятку сваришь. В общем, женились они.

Бабенки в автоколонне – из бухгалтерии, из диспетчерской – взбаламутились, взъелись на Бидонова. Будто обокрали их. Меж собой судили в открытую: дурак, мол, а не лечится. Мужики помалкивали, а думали то же. Понимали – в угаре человек, а лапища у него, я извиняюсь! Приложит – до смерти на лекарства работать. И молчали. Гришка же и предупредил:

– Придушит!

А Бидонов ходил счастливым выше макушки и ничего не замечал. Просил не назначать в дальние рейсы. Начальство соглашалось, понимая мотивировку по-своему.

Со смены бежал Виктор в ресторан встречать Светку, как на праздник. Ни облачка не было на счастливом небе Бидонова,

только звенели жаворонки. В гардеробе ресторана однажды столкнулся он с артистом, заступил ему дорогу.

- Что вам угодно? пробасил тот, приподняв брови.
- Еще раз увижу здесь, ноги выдергаю из жопы, пообещал Виктор.
 - Позвольте! возвысил голос артист. Кто вы такой?
- Не позволю, Бидонов натянул ему шляпу на глаза, вытолкнул за дверь, дав легкого пинка.

На другой день швейцар не пустил Виктора в ресторан.

- Обождите. Сизова сейчас выйдет.

Светлана вышла в слезах, отдернула руку, когда Виктор хотел взять ее под локоть. По дороге домой — жили они в квартире Светланы — плелся он позади. Едва переступив порог, Светлана жахнулась в обморок. Виктор сгреб ее в охапку, унес на диван, брызгал в лицо холодной водой, метался, как угорелый, бледный и растерянный. Кинулся к телефону, заорал в трубку:

- «Скорая»?.. Девушка, это «Скорая помощь»?..

Светлана подняла голову, приказала:

– Положи трубку.

Аварийная ситуация с истерикой, слезами, угрозами затянулась. К утру мало-помалу выяснились ее причины. Оскорбленный артист сообразил, в чем дело, пожаловался директору. Тот немедленно созвал собрание. Пуще всех шумел сам директор и администраторша, она же председатель месткома: «Если всех начнет он выкидывать, с кем ты шуры-муры!..» Решили: просить извинения у артиста, не допускать Бидонова в ресторан, Светлану на месяц перевести в посудомойки.

- Директор... Это с волосатой рукой? спросил Виктор.
 Светлана кивнула.
- Я ему устрою Бухенвальд! Бидонов сжал кулаки.
- Нет!.. Хочешь, чтобы я всю жизнь мыла посуду?
- Тоже кому-то надо, спокойно ответил Виктор.
- Ты... ты... вообще соображаешь? Другому полмесяца горб ломать, а официантка за смену... лопух! и новая истерика.
- Ладно, Света, успокаивал Бидонов, пошутил я... У тебя и мебель, и ковры, и меха, и чего только нет! А радости много ли? Разве только в этом дело?
 - Но привыкла я, Витя...

Уснула Светлана, не раздеваясь. Виктор уснул, стоя на коленях возле дивана, уронив голову на плечо жены.

Прошел «штрафной» месяц. Директор пригласил Светлану в кабинет, сказал, что пока вернуть на прежнее место не может. Оно занято. Вот, мол, уйдет в декрет Петрова, тогда, так и быть, подумаю. И кончилось для Виктора безоблачное счастье. Будто его и не было. Светлана стала неприступно холодной. Вернувшись с работы, часами лежала на диване, глядела в потолок, курила. Или наливала водки, пила не закусывая, ложилась лицом к стене и засыпала. Она не шумела, не проявляла к Виктору неприязни. Она не замечала его. Ее красивые глаза были так печальны, что сердце Бидонова сжималось от собственной беспомощности. Он стирал белье, прибирал в комнатах, утром наскоро готовил глазунью, бежал на работу.

Подошел как-то к группе шоферов, попросил:

– Дайте папироску. Забыл купить.

Ребята молча разошлись. Виктор ошалело смотрел им вслед. Остановил Гришку Скворцова, кивнул на ребят:

- Что с ними? Какие-то хмурые.
- На, по старой дружбе, Гришка сунул ему папиросу. И отцепись.
- Белены обожрались? Виктор взял Скворцова за грудки, развернул к себе лицом. Толком объяснить можешь?
- Могу, Гришка прищурил глаза. Запарились мы из рейса в рейс. У Алешки Кукушкина мать при смерти, а он ночью из рейса и опять «туда пятьсот, назад пятьсот». Понял? А ты бабу бережешь от кобелей, в рейсы не ходишь.

Виктору будто помои в лицо плеснули. Он побледнел, постоял, свесив руки, смял папиросу в кулаке, пошел к начальнику автоколонны. Заговорил с порога:

- Федор Максимович, меня в рейс назначай вместо Кукушкина Алехи.
- Давно бы так. Их, Виктор, не укараулишь, баб-то, если они...
 - Не о бабах я. В рейс, говорю, посылай.
 - Хорошо. Иди к диспетчеру, я позвоню ему.

Вообще-то дальние рейсы выгодны. Знай наматывай тонно-километры. Но если распутье, да черт-те где от жилья, кругом

тайга – а ты один... Однако шофера народ бывалый и везучий. Бог не выдаст – свинья не съест. Вернулся Бидонов, и Федор Максимович позвал его, спросил озабоченно:

- Пробился?
- Кое-как.
- Да. Тайга же! На перевалах гололед, в оврагах каша.
 Знаю. И все же выручай, Бидонов. Туда же и по той же дорожке.
 Понял?
- В одиночку ее не пройти. Посылай сразу две-три телеги,
 Федор Максимович, тогда пробъемся.
- Рад бы, Виктор. Войди в положение: полмесяца треть парка стояла разутой. Едва успеваем забрасывать неотложные грузы. Везде поспеть надо. Если ты не пройдешь, кого посылать-то?
 - Попробую, Виктор махнул рукой. С утра?Федор Максимович кивнул.

По пути домой Бидонов зашел к брату. Никифор обрадовался:

- Каким ветром? Раздевайся. Бутылка в холодильнике киснет, а Нюрка не дает, зараза. Чо за бабы пошли? И моя туда же! Нюрка!.. Слышишь?.. На стол наладь, живо! Хорошо, что зашел, едрит твою в кур-от. Как ты? Давно ж не был. Рассказывай.
 - Сладкого мало, брат.
- С женой-картинкой и сладкого мало? Чо так? Да ты проходи, садись. Э-э, братуха, хвораешь ли чо? Скулы выперли, глаза провалились.
- В рейсе был, устал. А так... нормально, неохотно отвечал Виктор.

Бидоновых четыре брата. Старшего, Никифора, они уважали. За отца им.

Под недоверчивым взглядом Никифора Виктор досказал:

- Дома, правда, ералаш... Бывшего Светкиного встретил сволочь он... Пугнул маленько. Он с жалобой. Светлану в наказание посудомойкой. А она мне бойкот. Молчит, курит, выпивает даже. Два месяца молчит. Готовлю, стираю сам.
- А говоришь, нормально. Тады ненормально-то как?.. Бывших ухажеров гнать себя на посмех. Знал не девку берешь. Нехрен себя травить и ей душу бутырить. И прынцип ее

терпишь зазря. Дай бабе волю, опосля ты ей – брито, она тебе – стрижено. Не переломишь... Поколотить бы...

- Ты серьезно? удивился Виктор. Разве можно ее хоть пальцем? Ей и так не сладко.
- Можно-то можно. Она из того же бабьего теста и понимать должна не за вехотку замуж выскочила, чтоб ноги вытирать. Поколотить, говорю, не шутка. А толку-то? Се одно не склеить вам жизнь. Карасю, напримерно, давай воду теплую и тины поболе, харьюзу, опеть же, студеную, чистую. Нельзя им вместе. Ты и Светка харями врозь устроены. Чо маяться-то? Пока робятишков нет... лучше будет.

Бутылку уговорили, и Виктор заклевал носом.

- Спекся, Витька. С малой дозы сомлел, уважительно ворковал Никифор. Нюр, постели ему. Из рейсу мужик, и Светка выкомариват, туды ее...
 - Нет, решительно запротестовал Виктор, пойду домой.

Он оделся, вышел на улицу. Днем падал снег, теперь пуржило по-зимнему. «И эта кажет «прынцип», – усмехнулся Бидонов, – март, а она...» Он достал папиросу, прикурил, повернувшись спиной к ветру и прикрывшись воротником пальто. Зашагал домой.

На лестничной площадке остановился, прислушался. В квартире — музыка, песни, непонятный шум. Виктор открыл дверь своим ключом, вошел в прихожую, увешанную пальто и шубами, и оглох от: «...Маэ-э-стро! Тра-та-та-та, Маэ-эстро!..» Из кухни вышла сияющая Светлана, а какой-то контейнер в элегантном костюме, с мордой пятьдесят на пятьдесят, спешил следом и гудел: «Ты сегодня очаровательна, как никогда!»

Светлана остановилась:

– Виктор? Друзья, Виктор вернулся!

Гвалт утих. Только магнитофон орал: «...В восьмом ряду, и то же место!..» Кто-то догадался и его выключить.

Стало совсем тихо. Первым опомнился «контейнер». Он шагнул к Виктору, протянул руку:

– Зусман. Извините за вторжение. Коллективом ресторана «Сибирь» отмечаем Женский день. Украсьте наше общество.

Бидонов легонько пожал протянутую руку, подумал: «Забыл, утюг, про Восьмое марта», сказал:

– Умоюсь только.

В квартире тесно и душновато. Виктор вошел в комнату в спортивной рубахе с короткими рукавами, поздоровался со всеми сразу, сел рядом со Светланой. Ему заранее освободили место. Всех, кто был за столом, Бидонов знал в лицо, видел в ресторане. Кроме Зусмана. Догадался, что это директор. И догадался, что рядом со Светланой сидел он, а сейчас пристроился на углу стола, напротив. Гости глядели на Бидонова с любопытством и даже восхищением. Он показался им огромным, могучим и по-мужски красивым. Виктор видел это, но оставался сосредоточенно хмурым. На директора старался совсем не смотреть.

Разбитная полнеющая дама – администратор – в сережках и кольцах, с огромным кулоном на пышной груди, вскинула руку, крикнула нараспев:

– Наполнить бокалы! Слово хозяину дома, Виктору Семеновичу!

Виктор поднялся, долго молчал. Светлана затревожилась. Он положил ей руку на плечо, сказал:

За женщин. За матерей, подруг, сестер. За честность и чистоту мужчин перед женщинами. А пить мне нельзя: завтра в рейс.

Гости уловили некий потаенный смысл в словах Виктора, замешкались. Зусман поддержал:

– Прекрасный тост! До дна! – и выпил первым.

Ушли гости поздно и все разом.

Светлана светилась. Обхватила Виктора за шею и говорила, говорила:

— Михаил Спиридонович с завтрашнего дня меня — официанткой. С радости я и пригласила к себе. Как раз Восьмое марта... С усиками, вот тут сидел — Валентин, а рядом — Маша. У них скоро свадьба.

А Софья Наумовна, которая с кулоном, шепнула мне: «Мужа отхватила! Богатырь и красавец!» Как считаешь, довольны они? Вроде все хорошо вышло?

Легли вместе, в кровать. До сих пор он спал отдельно, на диване. Светлана скоро уснула, прижавшись к его плечу, и тихонько посапывала ноздрюльками. А Бидонов думал о своем: «Прав Никифор – смешно наскакивать на ее прежних ухажеров.

Зачем старое ворошить? Но и за ручку с ними... Противно. Только целоваться осталось!.. А Светка любезничает! Поди не даром в официантки-то?.. «Ты сегодня очаровательна, как никогда!..» Вот сволочь!.. А остальные? Приперлись... Лыбятся как ни в чем не бывало».

Виктор встал. Курил на кухне, не зажигая света, глядел в темноту за окном. Снова лег. Проснулся раньше обычного, ушел в гараж, не разбудив жены.

...Лесостепной участок пути одолел Бидонов без приключений. Морозец придержал прыть ручьев и речушек, и «Камаз» брал их с ходу. Дорога неуклонно пошла на подъем, к ней подступил лед. Чем глубже в тайгу и выше в горы забирался Бидонов, тем становилось холоднее и опаснее. С одной стороны дороги ломаной стеной высились скалы, с другой – где-то внизу – потрепанные ветрами вершины елей и кедров. И – гололед. Виктор с ювелирной четкостью держал газ, вел машину внатяг, на второй передаче. Пережми газок, колеса пробуксуют, отполируют лед, камазина хоть на секунду приостановится, и с места его, да еще в гору и с грузом, не сдвинуть.

Наступали сумерки, а до кордона лесника скрестись часа два. Можно было бы подремать в кабине. Виктор и шубу захватил. Но он прошлую ночь спал мало, если вторую недоспать, совсем опасно. Тут чуть что — загремишь — винтиков и костей вместе-то шапку не наберешь. «Значит, до лесника», — решил он.

В прошлый раз отмотал Бидонов этот участок без хлопот. Стояла теплынь, по колеям торопились ручейки, промывая щебенку. Гололед был только на самом перевале, что начинался сразу за кордоном лесника.

В прошлый раз труднее было в распадках, где бунтовали речки и ручьи. Сейчас дорога сплошняком стекленела ледком, а где текла вода, намерзли наплывы.

Виктор прижимался к самой скале, дверцу кабины держал открытой, а ногу на крыле, чтобы в любой момент выпрыгнуть. Несколько раз заносило машину к самому обрыву. Но бог миловал или черт выручал — Бидонов успевал проскочить наплыв и вырулить «Камаз» к скале. За поворотом открылась седловина, в которую навстречу друг другу по обочине текли ручьи. В низинке они сливались, пересекали дорогу и падали с обрыва. Морозом

перехватывало поток, вода шла верхом и снова замерзала. Так повторялось, видимо, много раз, пока ручьи замерзли совсем. И теперь ступенчатый наплыв льда с уклоном к пропасти перегородил дорогу полосой метров в десять. Виктору ничего не оставалось, как взяться за топор.

В полной темноте закончил он рубить две глубокие канавки по ширине колес и двинулся через наплыв. При выходе из канавок колеса пробуксовали, и машину стало заносить к пропасти. Бидонов выжал тормоз... Он долго ходил вокруг, зачем-то заглянул даже в черную бездну пропасти.

- А что? Можно попробовать, вслух подытожил он свои мысли. Затем разложил трос, одним концом обвязал раму за задним колесом, другим ломик, всунутый в расщелину скалы. По идее, «Камаз» мог двигаться вперед, но трос не даст ему скатиться ближе к обрыву, а совсем наоборот, подвинет к скале. Виктор насобирал ведерко мелких камней, подсыпал под колеса, завел мотор. Машина медленно поползла, одновременно, сантиметр за сантиметром, удаляясь от обрыва. Трос натянулся и тихо гудел.
 - Хорошо!.. Еще малость! сам себя подбадривал Бидонов.

Он стоял на крыле и осознал опасность секундой раньше – повернул зажигание, рванул тормоз, присел за кабину. В то же мгновение в скале что-то крякнуло, ломик просвистел над машиной, врезался в вершину дерева. Трос спружинил, с мстительным визгом хлестанул по кабине. Боль прожгла левое плечо Виктора. Концом троса задело его. На крыше кабины осталась вогнутая борозда.

До кордона добрался Виктор во втором часу ночи и проспал до обеда. Усталости как не было, только плечо слегка ныло. В чистом небе сияло по-весеннему щедрое солнце. «Пожалуй, и на перевале расплавило гололед», – подумал Виктор и засобирался в дорогу.

Сотворил Бидонов невозможное — доставил геологам груз и вернулся в автоколонну. Почернел и бородой зарос. У шоферов глаза зоркие, подметили: бодрится, виду не показывает, а на ногах еле-еле. Окружили его.

- Ну и ну!..
- Фокусник!
- Ну, даешь! На крыльях, что ли, через перевал-то?

Выскочил Федор Михайлович, обнял его:

— Виктор? Думал... Чего только не думал! Ночи не спал. Еще эти оглоеды, — он кивнул на шоферов, — в глотку вцепились, мол, на погибель послал... Отдыхай, Бидонов, машину приберут... Распоряжусь.

Шоферня хоть и считала, что летел Бидонов очертя голову к своей цаце, но знала — летать над пропастями все-таки уметь надо.

Виктор пришел домой, вымылся, уснул раньше, чем упал в кровать.

В рейсах он всегда думал. Вспоминал и думал. И в этот раз – и все о Светлане. Сначала обсасывал обиду, повторял слова Никифора: «Все одно не склеить вам жизню» – и соглашался: «Не склеить». Для нее – свет в окошке обдиралы эти. И сама обсчитывает же! «...Горб ломать!.. Лопух!» А я ломаю, и гордость моя в этом. Вот уж точно: «Мордами врозь устроены».

— Все! — сам себе объявил Виктор. — Уйду. Хватит. — И думал дальше: « Что с того, что красивая? Нюра у Никифора не красавица, а живут...»

Виктор поморщился. Он дивился на брата. Сам мужик как мужик, а жена, как веретено – ни спереди, ни сзади. Востренький нос с веснушками, белые бровки по два волосика. У Светланы глаза – поглядел, умирать можно. А губы! Плечи! Да что там!.. Постепенно обида отодвигалась, и хотелось домой все больше и больше. Только непобедимая усталость и нежелание видеть ресторанных, а то бы сразу побежал к ней.

Виктор вскочил, взглянул на часы:

– Проспал! Не успею!

Одевался уже на лестнице. Сначала бежал. Затем — прохожие останавливались, глядели вслед — перешел на широкий шаг. Вывернул из-за угла и... остановился. Светлана шла навстречу под ручку с солидным дядей, глядела ему в глаза, звонко смеялась, прижимаясь щекой к его плечу. Они прошли мимо, пересекли улицу, скрылись в подъезде гостиницы. Виктор укрылся от них за киоск, не зная, зачем.

Прозевали жену, – услышал Бидонов и резко обернулся.
 Перед ним стояла администраторша и мстительно улыбалась: –

Дружка встретила, в номер к нему пошла. Бегите, а то поздно будет.

- ...Виктор ввалился к Никифору, прошел, не раздеваясь, сел к столу. Он не замечал, что ботинки в грязи, а брат любил опрятность.
- Чо, опеть? нахмурился Никифор. Поди краля выгинается?

Виктор грохнул лбом об стол и заплакал.

- Да ты чо, в курицу мать! Никифор схватил его за ворот, встряхнул. Сказывай, чо учудила?
 - С прежним схлестнулась... Сам видел...
- Да ну? опешил Никифор. Осел, потом вскочил и зашумел, накаляясь до медной красноты: Стерва! Такого прынца и... и... ей чо, одного мало? Сука! А ты-то, ты-то раскорячился, в душу мать! Бидонов ты! Понял? Да я бы ее... Неожиданно утих, развел руками: Чо теперь? Забирай шмотки и сюда. Жду. Пироги вон поспели. До свадьбы, братуха, заживет.

Виктор встал, сказал спокойно:

- Все правильно. Заживет, и ушел за чемоданом.
- ...Виктор Бидонов внешне не изменился. Сначала он хотел уехать, но передумал и остался в автоколонне, перебрался к ребятам в общежитие, где жил до женитьбы. Женщины из бухгалтерии и диспетчерской легко простили ему ошибку, как они квалифицировали его неудачный брак, к тому же неофициальный, нерегистрированный, и, кажется, еще бесстыднее ели его глазами. Виктор и раньше не отличался краснобайством и развязностью, а теперь вовсе говорил мало и только о работе. Зато работал как зверь. Безотказно ходил в самые трудные и дальние рейсы и не ради материальной выгоды.
- Ты, Алеха, кати на новостройку. В оба конца с грузом. Говорил он Кукушкину. У тебя семья, заработок нужен. А я вместо тебя к геологам. Идет?

Словом, остался Бидонов таким, каким его знали и уважали в автоколонне. Только глаза притуманила устойчивая грусть, да чаще стал он заглядывать в рюмку, а выпив, мрачнел, покидал товарищей и одиноко бродил по ночным улицам. Он ни с кем не делился своими думами, даже с Никифором, оттого было еще горше и тяжелее. Виктор знал, что со Светланой покончено, что

они несовместимы, что она при всем желании не будет, не сможет быть только его женой. Знал разумом. А сердце изболелось от тоски по ней. Кто и когда сумеет занять ее место в сердце Бидонова? «Никто», – говорил он себе.

Из шоферов автоколонны один Гришка Скворцов догадывался, что на душе у Виктора, хотя и не знал, чем и как помочь товарищу. И, может, не случайно именно Скворцов оказался свидетелем их свидания со Светланой. Она сама искала этой встречи, увидев его издалека, подошла. Долго плакала и просила Виктора вернуться. Он молчал, опустив голову и всунув руки в карманы. Потом хрипло, будто с испугом, выкрикнул:

– Нет! Нет!

Круто повернулся, ушел, не оглядываясь.

Утром Бидонов выехал в рейс к геологам, в свой последний рейс...

Причину аварии установить не удалось: «Камаз», свалившись в пропасть, разлетелся по винтику. Оплошать Бидонов не мог. Дорога ему знакома, да и сухо было. И не таков Бидонов, чтобы задремать.

Шофера автоколонны каждый раз, проезжая место гибели Бидонова, останавливаются, молча курят и двигаются дальше.

г. Красноярск, 1982 г.

ВЕНЯ ШУРУП

Вообще-то у Вени Шурупа знатная фамилия — Орлов. Но всегда найдутся остряки, чтобы прилепить человеку прозвище. Веня непьющий и некурящий, но мужичонка так себе. Какой-то не свинченный: ни украсть, ни покараулить.

«Магнето поставлено у Шурупа на раннее зажигание», – заключил заведующий гаражом Кеша Фролов. И имел на то основания.

На рыбалке

В избе Фролова шесть ртов. «Рекорды ставит баба, рожает каждый год», – ворчал Кеша. Но кормить-поить ораву надо. В

зиму кабанчика можно заколоть, корова в запуске, должна отелиться. А пока картошка и картошка. Вот и позвал Фролов Веню Шурупа рыбу лучить: мужиков-то во всей деревне с руками и ногами больше нет. Какая война была!..

– Одному несподручно, – толковал он, – светить надо и опять же острогой колоть. Лодку я отбросил за Попов лог на полуторке, а ты фонарь прихвати с фермы.

Веня заведовал молочной фермой после трехмесячных курсов в райцентре.

– «Летающую мышь» из дежурки заберу, – охотно согласился он. – Рыбу на две доли?

– Само собой!

После обеда подкатил Кеша на «ишаке». Веня дожидался у калитки одетым по-теплому, как и советовал Фролов. Вид у Вени разудалый. Из-под треуха торчат в стороны медно-рыжие волосы, каждый на особицу, будто в ссоре. Цыплячью шею не жмет ворот, но рубаха расстегнута для форсу до последней пуговицы. Под ней виднеется полосатая тельняшка, выменянная за ведро картошки. Фуфайка-стеганка нараспашку. На мосластом заду штаны кошелем. В голенищах сапог ноги что чайные ложки в стаканах. С собой захватил он фонарь «летучая мышь» и куль под рыбу. Фролов оглядел Веню с насмешливым прищуром, приладил к багажнику фонарь, сказал:

– Садись.

Веня прыгнул на заднее сиденье, и мотоцикл, стрельнув синеватым дымком, завернул в переулок. Фролов с детства в ладу с техникой. Мотоцикл в его руках послушно и легко обходил неровности на дороге, довольно пофыркивая.

- Знать, припоздали, не выдержал долгого молчания Веня.
- Чо? переспросил Фролов.
- Речка поди замерзла. Припоздали то ись.
- В самый раз, успокоил Фролов.

За поворотом посреди дороги показалась стылая лужа. Кеша притормозил, обогнул ее правой обочиной, прибавил скорость.

– Лады, – довольно гудит он через плечо, вполоборота повернув шею, – скоро Попов лог.

Мотоцикл летел по покосам ровной неразъезженной дорогой, как по мягкому ковру, оставляя сединку дыма. Молчание Вени показалось подозрительным.

Скоро Попов лог, – громче повторил Кеша. – Чего молчишь?

В ответ ни звука. Он оглянулся. Вени на мотоцикле нет. «Иж» остановился как вкопанный. Фролов огляделся, помянул всех святых, круто развернул мотоцикл и выжал газ до упора.

В это время Веня Шуруп сидел на обочине дороги. Он в последний момент увидел лужу. Мурашки поползли по коже. «Не объехать, и тормозить поздно! Так и так гроб. Прыгать надо!» – молнией пронеслось в голове. Он зажмурился, оттолкнулся от сиденья и неуклюже растянулся на мерзлой земле. «Живой!» – обрадовался он. Привстал. Сделал шаг-другой и присел от боли в ноге. На правой штанине вырван порядочный клок и висит свинячьим ухом, с колена слуплена кожа.

- Как тя угораздило слететь? с ходу выпалил Кеша, останавливая мотоцикл.
- Я же самостоятельно спрыгнул, чтобы массовость, вес то ись, сбавить. Ты потому и совладел с рулем. Думаю: расшибусь, а друга спасу, уверенно врал Веня, глядя Кеше прямо в глаза.
 - Чо тут делов-то? Объехал лыву, и все.
- Объехал, не сдавался Веня, когда один на мотоцикле остался. А двойственный груз затянул бы в канаву, и заказывай Егорычу сразу два гроба. Я же умственно спрыгнул.
 - В тебе ж и грузу, как в варежке, ни хрена нет!
 - Не скажи. Жиров нет, а костность плотная.
- Ладно, махнул рукой Фролов, садись и не прыгай зря, а то лен сломишь.

Приехали на речку, столкнули лодку с закустаренного обрывчика на песчаную косу, приготовили фонарь, острогу, весла. До темна еще есть время.

Фролов развел костер, из-под стожка достал припрятанный котелок, из котомки вытряхнул картошку, подвесил варить.

- Показывай, что с ногой, приказал он Шурупу, заметив, что тот морщится и поглаживает ушибленное место.
- Коленку, то ись коленчатый состав, всмятку разнес, пожаловался Веня, – должно, мослы треснули.

- А говорил: костность плотная, поддел Кеша.
- Земля же мерзлая, как камень. Из нее искры сыпанули, когда я жахнулся.
 - Неужто искры? деланно удивился Фролов.
 - Я же говорю... То ись сам видел.

Кеша деловито осмотрел колено. «Мослы», конечно, целехоньки, они хорошо видны. Тут действительно одна «костность», обтянутая кожей. Но колено припухло, а ссадина забита землей.

– Обожди малость, – сказал он. Затем долго петлял по обочинам дороги, разыскал-таки мерзлые листочки подорожника, сполоснул в речке, прикрыл ссадину, обернул колено носовым платком, а поверх штанины обвязал шарфом.

Уварилась картошка. Кеша развернул тряпицу с солью, достал из-за пазухи горбушку в газетке. Разломил поровну. Хлеб откусывал над перевернутой фуражкой, чтобы не потерять ни крошки.

- Бульба, или как ее? Надоела, стерва, с души воротит, жаловался Фролов, вяло доедая вторую картофелину, к ней, понимаешь, приправа нужна.
- Ясно дело, согласился Веня, кидая в рот картошку за картошкой, как в молотилку, углеводность, то ись трахмал. По-ученому: уголь и вода перемешены. Только неправда это: угольто черный. От картошки без приправы ни сытости, ни скусу, одна звучность, то ись брюшная музыкальность. Оттого и зовут ее «буль-ба», навроде «буль-буль» и «ба-бах».

Он с сожалением заглянул в опустевший котелок, круто посолил долю горбушки, умял ее в минуту.

- Управился? улыбнулся Кеша. Силен! И брюха вроде нет. У тебя в ногах кишки, что ли?
- В ногах не бывает, авторитетно заявил Шуруп, козыряя осведомленностью. В ногах мослы для упорства, а под пищевой запас слепая кишка оборудована. В ней навроде НЗ. Только картошка, говорю же, углеводность. Вот рыба... В ней всякая питания. По цельному кулю наколоть надо, то ись под завязку.

В полной темноте столкнули лодку в воду. Ночь выдалась темная и морозная. Фролов зажег фонарь, передал Вене, сказал полушепотом:

Сиди тихо, как мышь под копешкой. Свети сюда. Ясно?
 Лады.



Фонарь высветил борт лодки и сквозь воду узкий круг дна, на котором стали отчетливо видны камни, коряги, травинки, затонувшие листочки, как через увеличительное голубоватозеленое стекло. Плотная тьма стеной придвинулась к лодке, так что едва различимы контуры прибрежных кустов. Лодка тихо плывет по течению, словно парит в бескрайней пустоте. Вене жутковато. Только близость Фролова и высвеченный клочок дна успокаивают его знакомыми, земными ощущениями. Светлое

пятно движется по дну, в его поле непрерывно меняются картины таинственного подводного мира. Зелеными змеями извиваются космы водорослей, между ними притаилась стайка пескарей. Обомшелая, наполовину заиленная коряга кажется чудищем, возле нее — затонувшее полено. «Какое полено? — задохнулся Веня Шуруп. — Щука!» Он схватил Фролова за плечо, закричал в самое ухо:

– Щука!.. Кеша, коли!

Лодка качнулась, около коряги крутанулось облако мути, и щука исчезла.

- Чо базлашь? Говорил, сиди тихо, шуруп моржовый! Садану острогой в слепую кишку, весь пищевой запас выпущу, взъярился Фролов и слегка сунул Вене кулаком под ребро. Шуруп выронил фонарь, согнулся вдвое, открытым ртом силясь захватить воздуху.
 - Чо ты!.. Чо ты!.. струхнул Кеша.

Веня отдышался, вытер кулаком слезы.

– Лупил бы по спине али по башке скрозь шапку. А то сразу под дых, то ись в солнечное заплетение, – ворчал он, принимая от Фролова фонарь. – Хорошо, фонарь успел в лодку кинуть.

Снова четыре глаза до соринки ощупывают дно. На зеленовато-желтой песчаной прогалине шевельнулась изогнутая коряжка... Налим!.. Веня забеспокоился, ворохнулся. Фролов, чтобы опередить его, поспешно шурнул острогой и... промахнулся.

– Не егозись ты ради Бога! – взмолился он. – Не можешь стерпеть – не гляди в воду!

Течение усилилось, лодка пошла быстрее. Фролов плавным движением весла подогнал ее к берегу.

– Тут ямка, – прошептал он, – рыба всегда держится.

Веня Шуруп отвел глаза от светлого пятна, подальше от соблазна, и обмер. Поперек реки лежит упавшая с берега береза, а лодка, как показалось Вене, стремительно летит на дерево. Столкновения не миновать.

Услужливая память мгновенно подкинула ему виденный в кино ужас кораблекрушения. Он вскочил, заорал с надрывом:

– Кеша, берегись!

И маханул на берег. Зыбкая опора ушла из-под ног, и он плашмя бултыхнулся в воду. Ощутив дно, вскочил на ноги. На

миг онемел от холодной, леденящей жути. Затем, ухая филином, заспешил к берегу, на четвереньках выполз на пологий откос. Фролов уперся рукой в березу, вдоль ее ствола легко подвел лодку к берегу. Подошел к Вене, склоняя богов и угодницу.

- Фонарь, то ись «летающую мышь», утопил, сообщил Шуруп, стуча зубами.
- Сам бы лучше утонул! «Два куля наколем», зло передразнил Фролов. Наколешь с тобой.

Кеша скоро поостыл, видя, что Веня дрожит и скулит от холода.

- Чо делать?.. До деревни езды, считай, час. Окоченеешь, рассуждал Кеша вслух.
 - До дому не-не сдюжу, подтвердил Веня.
- На гурт! вспомнил Фролов. В Поповом логу гурт стоял, вагончик увезти не успели. В нем и печка есть.

Но и до летней стоянки гурта оказалось не близко. На полдороге Шуруп взмолился:

– Стой!.. Стой, Ке-ке-ша!..

Одежда на нем покрылась ледком. Фролов снял с себя полушубок, завернул Веню. Сам остался в свитере домашней вязки и на безрассудной скорости, рискуя разбиться вдребезги, погнал мотоцикл к спасительному вагончику. Встречный ветер прошивал Кешу насквозь.

У вагончика он резко затормозил, сорвал с двери замок, негнущимися пальцами зажег спичку. У железной печурки валялось несколько полешков дров и топор с надломленным топорищем, на окне – огарок свечи.

- Лады, буркнул Кеша. Под руки привел Веню, быстро растопил печь. Тотчас же от нее пошло блаженное тепло.
 - Раздевайся, приказал Вене, живо.

Стянул с него сапоги, вылил воду. Веня Шуруп, учуяв тепло, сам поснимал мокрую, холодную одежду, остался в исподниках, подсел к печке.

– Дров не жалей. Я скоро вернусь.

Кеша вернулся с вязанкой сена, расстелил на лежанке, покрыл полушубком.

 Одежа до утра не просохнет, а мне завтра на работу, – пояснил он, – поспать надо. Но поспать Фролову почти не удалось. Сначала Веня, отогревшись окончательно, пустился в длинные рассуждения, как он два раза «рысковал», спасая Кешу от прямой смерти.

– Замолчи ты, – не сдержался Кеша, – с твоим «рыском» без рыбы остались и сами малость не околели. Помолчи, спать надо.

Только забылись, как Шуруп закричал во сне:

– Коли! Кеша, коли!

Вроде угомонится, притихнет, и опять то «Берегись!», то «Коли!» Фролов встал, подкинул в печку несколько полешков, отодвинул Венины штаны, чтобы не сгорели. Сбегал на улицу. Воротился. Шуруп во сне чмокал губами и, кажись, спал крепко. Кеша приклонил рядом голову и сразу уснул. Но тут навязалась новая беда. Фролов проснулся, силясь понять, что происходит. Веня обнял его и елозил по щеке мокрыми губами. Кеша отпрянул, как от лягушки.

- Вот, мать твою... За бабу принял! он грубо оттолкнул Веню. Тот на минуту притих. Не успел Фролов задремать, как Шуруп закинул на него ногу и опять полез обниматься.
- Ну, Шуруп! взбеленился Фролов и встряхнул Веню так, что у того клацнули зубы.

Веня вскочил, посидел минутку, обалдело тараща глаза, и, не просыпаясь, упал на постель. Кеша заметался по вагончику, не зная, как и на чем выместить ярость. Он схватил сапог, заскрипел зубами, размахнулся над спящим Веней... Но сдержался и шваркнул сапогом об пол. Сел на хлипкую скамейку, сцепил виски ладонями. Затем поднялся, подобрал сапог, завернул его в ватник Вени и подсунул Шурупу. Веня сразу же облапил сверток, прижался щекой к носку сапога и утих.

Остаток ночи Фролов проспал спокойно. Когда проснулся, было совсем светло. Веня спал, не выпуская из рук свертка. С открытой ненавистью смотрел Кеша на беспокойного напарника, худущее тело которого сплошь заляпано ржавыми лепехами веснушек, будто ночевал человек под насестом и забыл вымыться.

...Сосед Фролова Егорыч, инвалид войны, спросил с завистью:

– Богато, поди, рыбкой разжились?

– У Вени Шурупа, Егорыч, – серьезно пояснил Кеша, – магнето на раннем зажигании, а под костностью, в черепушке то ись, слепая кишка.

И ушел, оставив озадаченного Егорыча.

Фрося Сизова

Веня схватил-таки простуду и неделю провалялся в жару.

Его жена Лида работала дояркой. Не назовешь ее писаной красавицей, но баба статная, ухватистая. Бюст кофту рвет. Рядом с ней Веня — окурок бросовый. Конечно, после войны мужики в цене были. На безрыбье и рак рыба, на бесптичье и воробей соловей. А Веня Шуруп — куда с добром! Еще и петушился:

– Лидка, ты мою точку знашь! Дам то ись по калгану, до заду расколю, дальше сама развалишься.

Доярки, больше безмужние, шутили невесело:

- Лида, уступи Веню на ночку, хоть на руке полежать, а то позабыла, как мужиком пахнет, начинала обычно Дуся, худая и жилистая, вдовая с первого года войны.
- Два шкелета, начнете костями брякать, всю деревню побудите, – расплывалась во все лицо пышнотелая Фрося. – Его перво-наперво подкормить недельки с две.
- Испортишь только мужика. Хороший петух жирным не бывает, авторитетно заявила бабка Пелагея.
- А петушок что надо! За три года Лидке сына и дочку накукарекал, да и в больницу раза два сгонял.

Шутки шутками, но прищучила как-то Фрося Веню Шурупа в тамбуре, сгребла в охапку, опрокинула в ворох сена, задышала паровозом. Веня ужом вывернулся, но в дверь юркнуть не поспел. Фрося проворно вскочила, развела руки в стороны, стала теснить мужика в угол.

– Ошалела... То ись дура! – зашипел Веня.

Но разгоряченная баба притиснула его в углу, зашептала:

– Венечка, милый... никто не узнает...

С того разу Фрося всюду стерегла Веню, но уловить одного не могла. На людях не спускала с него жадных глаз. А однажды на удивление всем собралась и уехала в райцентр, заколотив окна и двери своего дома досками. Поступила посудомойкой в столовую. Приезжала после, нашла случай сказать Вене адрес.

Что ты! – ужаснулся тот. – И так от Лидки шары прячу.
 Но адресок запомнил.

При всей безрассудности Веня ни разу не пошел поперек жене. Петушился, хорохорился, «казал мущинский карахтер», а во всем следовал ее советам. Председатель колхоза и главный зоотехник были вроде довольны работой заведующего фермой Вениамина Орлова. Нередко на заседаниях правления даже ставили в пример его исполнительность.

- Зимний запас грубых кормов создаете около фермы? строго спрашивал главный зоотехник.
- Токо седни не возили, с таким расчетом, что трактор сломался, – с готовностью отвечал Веня.
- Форсируйте, Вениамин Степанович. С ремонтом помещений как?
 - Осилим. Осталась мелочность.

При подобных разговорах Лида незаметно прислушивалась и фиксировала в цепкой памяти указания начальства, затем каждое утро напоминала Вене, что он должен делать, кого и куда направить. Шуруп внимательно слушал, под конец огрызался для порядку:

- Без твоих, то ись бабьих, мозгов знаю плант на седни.

Довольный, что отбрил Лидку, Веня шел «сполнять», что подсказала жена. И выполнял в точности. Лида равнодушно относилась к заскокам и угрозам мужа, сознавая свое превосходство, не придавала им ровно никакого значения. Веня никогда мизинцем ее не тронул, и пусть попробует тронуть! Он давно смирился с полной зависимостью от жены и без ее дозволения шагу ступить не смел.

С Фросей он впервые узнал расточительно-безрассудную страсть женщины. Бесстыдная радость близости, благодарность за минутный восторг, готовность упрашивать, умолять, лечь половицей под ноги льстили его мужскому самолюбию, которое дремало до поры, придавленное волей Лиды. По сути, он постоянно покорялся чьей-то воле, чьему-то желанию. И вдруг он, Шуруп, как его обычно называла даже Лида, — «милый Венечка». Не он, а другой человек зависит от его желания, от его воли. Фрося ему отдавалась, а Лида позволяла, как бы оказывая честь. Он хотел и боялся встреч с Фросей, и страх был сильнее. «Лидка

вызнает, башку расколошматит, как пить дать», – думал он. Но к сдержанно-рассудительной близости с Лидой заметно охладел.

Это не могло пройти мимо внимания жены. Лида не сомневалась, что причина в женщине, и догадывалась, в ком. «Не зря эта сдоба пялит зенки на Шурупа. Ой, не зря! В момент отважу суку, только бы выследить», – бледнела она, кусая губы. Лида не то чтобы любила или уважала мужа, но он был удобен ей во всех отношениях, и делить его с кем-то она не собиралась. Неожиданный отъезд Фроси сбил ее с толку, да и Веня вроде стал прежним, Лида успокоилась.

Центральная контора колхоза располагалась в райцентре. Каждый месяц Веня ездил туда сдавать отчет, над которым корпел дня по три и обязательно давал проверить жене. Она, не торопясь, перелистывала акты, накладные, ведомости, сверяла, считала и обычно находила ошибки. Веня беспрекословно поправлял неточности. И на этот раз он, закончив отчет, принес Лиде.

— На, смекни мозгой, то ись в понятие возьми, как я до тонкости все обкумекал, — он небрежно положил перед женой папку с бумагами.

Лида полдня просидела над папкой. Отчет этот особенный: закончена подготовка к зиме. Все многообразие дел отражено, а Лида не нашла ошибок.

– Не все за твою, то ись, юбку держаться, – резюмировал Веня. Он скоро собрался и в тарантасе уехал с отчетом в центральную контору.

Сначала Лида не обратила внимание на слова Вени: как обычно, «соблюдал карахтер». Но затем уловила в них новизну и снова встревожилась. В них не было обычного бахвальства, он даже признал, что до сих пор держался за ее юбку, в чем никогда раньше не признавался и, насколько она знала мужа, не признался бы. Вороша прошлое, Лида отметила, что он не всегда дослушивает ее утренние наставления, тяготится ими. Есть о чем подумать.

Как никогда много и упорно думал и Веня. С каждым днем нестерпимее тянуло к Фросе, хотелось кинуться в ее горячие объятия, услышать ее ласковый шепот, до звона в ушах обжечься о жаркие губы. Сколько раз под вечер направлял он тарантас к райцентру и... возвращался с дороги. Слишком велика над ним

власть Лиды. «Не узнает же, – уговаривал он себя и сразу возражал: – Лидка? Это такая инфляция! Дознается». В душе Вени все настойчивее укоренялись ростки раздражения на жену, протест против слепого, безоговорочного повиновения. «Опять же и Фрося, можно сказать, природное существо, то ись живой человек. «Веничка, – грит, – желанный...». Родное село через меня кинула...»

Всю дорогу до райцентра Веня крутил клубок мыслей, вязал и развязывал узлы, а конца веревочке так и не отыскал. Дело такое, что и совета не спросишь.

Отчет сдал без задоринки. Главный зоотехник, лысоватый, с багровым шрамом через все лицо, мужчина средних лет, подписав отчет, пристально посмотрел на Веню, спросил:

- Вениамин Степанович, сколько вам лет?
- Дык, к тридцатке подходит, то ись двадцать шесть с гаком.
- Давно собирался поговорить... Послевоенные трудности явление временное, на фермы скоро пойдет новая техника и все такое... Учиться вам надо. В техникум поступайте. Сначала на подготовительный курс. От правления дадим рекомендацию.
 - Али работаю неладно, не по фарватеру?.. опешил Веня.
- Пока ладно. Но согласитесь, только по указке. Для инициативы знаний не хватает.

Разговор главного зоотехника встревожил Веню. «Откеда лешак плешивый трансформацию имеет, что по Лидкиной указке фермой заведую?» — ломал голову Веня, хотя «лешак» и ведать не ведал об этом. Но тот же разговор и ободрил его. А почему бы не поступить учиться? Рекомендацию не каждому дают, надеются люди, что одолею науки. Примерно так рассуждал Веня, подъезжая к столовой перекусить горячего.

Только приналег он на щи, к нему кто-то подсел. Вскинул глаза и поперхнулся: рядом сидела Фрося. Испуг и радость вперемешку охватили Веню Шурупа.

- Венечка, здравствуй, тихо сказала она. В ее голосе тоска и обожание, грусть и запрятанная мука. В глазах печаль. Веня хотел бежать без оглядки, но ноги не слушались. Он глядел на нее не моргая. Твердый комок сжался внутри, мешал дышать.
- При людях... Лидке скажут... выдавил он хриплым шепотом.

- С земляком поговорить нельзя?.. А без людей ты прячешься от меня, и опять в голосе Фроси почудилась такая безнадежная тоска и боль, что Веню обдала жгучая волна жалости к ней и к себе.
 - Пошто не зайдешь никогда?
 - Дык... и замолчал, опустив голову.
- Не бойся, горько улыбнулась Фрося, понимаю я... Только о себе хочу все-все сказать, чтобы плохо не думал... Скоро домой-то?
- В магазин заеду, то ись, Сережке ботинки Лидка велела купить... И домой, обрадовался Веня изменению темы разговора. И вдруг слова «Лидка велела» кнутом стеганули по сердцу. В них и обида на себя, что не сам он, а опять жена велела, и напоминание о Лиде урон его «мущинскому» достоинству, а Фросе новая боль и еще что-то, чего Веня и сообразить не хотел. Он торопливо поправился:
- Давно вижу, малы ботинки-то. Все купить хотел. Седня, значит, и заеду.
 - Подожду тебя за переездом, у леска?
- Подожди... Фрося, сказал и смутился непривычно ласковому обращению.

Увидел ее издали. Приостановил лошадь, пока Фрося влезала в тарантас, свернул на полевую дорогу. Ехали молча, плотно сдвинувшись в тесном тарантасе. Ее тепло сквозь пальто волновало Веню, будило желание обнять, прижать к себе, найти ее губы, но его удерживала какая-то непонятная сила. Фрося сидела, опустив голову.

В залесенном овражке Веня остановил лошадь, выпрыгнул из тарантаса, привязал вожжину к березе. Было здесь тихо и уныло. Под сапогами шуршала опавшая листва, с однообразно серого неба падали и падали редкие снежинки. Веня потоптался в нерешительности и, собравшись с духом, приклонил к себе Фросю, просунул руку за пазуху между упругих грудей.

– Веня, милый, не надо...

Встреча получилась не такой, какой виделась Вене в горячечных мечтах. Он стоял, не убирая руки, не отстраняла ее и Фрося.

- Венечка... пропала я... сердцем к тебе присохла, плечи ее задрожали. У Вени защипало глаза. В жизни он не слыхал таких слов ни от жены, ни от кого другого. Он растерянно моргал, не зная, что делать. Осторожно вытянул руку из-за пазухи.
 - И я, то ись... совсем, значит... чо плакать-то?Фрося взяла себя в руки, вытерла глаза концом платка.
- Не хотела плакать... дура! Уехать собралась, да тебя искала... поглядеть напоследок и сказать о себе все, Фрося закусила губу, но справилась с собой. Может, тебе и ни к чему, а я обскажу, мне полегче будет.
- Сам знаешь, запнулась она, но досказала: Не девка я. Подпоил один, а жениться не стал. Погиб он на войне, и судить его грех. Думала, все одно никому теперь не нужна. Не девка, не баба. Вон сколько девок-то, а парней и мужиков нет. Кинулась на тебя, хоть раз с мужиком, чтобы... Не знала, что так после мучиться буду. Полюбила тебя, как белены объелась. Может, потому, что ты первый... Того я и не знала совсем... И глупая была. Стал мне нужон не мужик какой бы, а ты. Только ты и все... В столовой заведующий смолой липнет, и мужик видный, а душа к нему не лежит. По тебе извелась, хоть в петлю...

Она вымученно улыбнулась, в глазах стояли слезы.

– Умом знаю, своя у тебя баба и дети же, а сладу с собой нету. Вот и все... А теперь суди меня как знаешь... Хоть на куски режь али целиком ешь, – она притиснула голову Вени к груди, задохнулась нескончаемо долгим поцелуем. Земля поплыла изпод ног Вени...

Домой он воротился под утро.

Через три дня Орлова пригласили на расширенное заседание правления для обсуждения готовности животноводства к зимовке. После заседания он подошел к главному зоотехнику и сказал, что решил учиться.

– Молодец. Правильное решение, – одобрил тот и пообещал даже переговорить с директором техникума, заверить, что Орлов человек надежный, не подведет. Все сегодня радовало Веню. И то, что его сегодня похвалили на заседании, и то, что намерение учиться подкреплено первым реальным шагом, и искристая белизна снегов, выпавших за эти дни, и предстоящая встреча с Фросей. Ехал он в легких санках и светло улыбался.

Но в столовой, как ни высматривал, Фросю не увидел. «На выходном», — решил он и, наскоро перекусив, отправился к ней на квартиру. Старушка-хозяйка, где Фрося занимала комнату, сказала, что она вчера расплатилась честь-честью, собрала вещички и ушла. А куда? Бог ее знает.

С недобрым чувством вернулся в столовую. Заведующий, «видный мужик», щуря масляные плутоватые глазки с припухшими веками, сказал, что Сизова Афросинья привела себе замену и получила полный расчет. «Должно, в деревню вернулась», — надеялся Веня, погоняя лошадь. Однако дом Фроси закрыт и заколочен досками, на голубоватом к вечеру снегу вокруг дома ни следочка.

Жутко стало Вене. Будто ночь захватила его в неоглядной холодной степи. Мелькнул обманчивый огонек, растравил душу и затерялся. Где его искать? Отец Фроси не вернулся с войны, мать померла, и жила она последнее время одна-одинешенька в запущенном и почерневшем доме.

Побрел Веня, сам не зная куда. Только не домой, только не на глаза жене. Когда уже постучал в слабо освещенное изнутри окошко, догадался, что это домишко Егорыча. Сам Веня не смог объяснить, почему потянуло к бобылю Егорычу. Но он не хотел бы видеть сейчас ничьей радости.

А здесь, в этом доме, какая радость? Егорыч и до войны пил запойно. Правда, пьяным не буянил, не дебоширил. А когда, не доехав до фронта, потерял ногу, отвалялся в госпиталях и на костылях вернулся домой, пропил все вчистую. И коровенку, и баню на слом, и швейную машинку жены, которая обшивала всю деревню, да тем и жила. Помаялась она и уехала к дальним родственникам на Урал, захватив сына. Живет Егорыч один, на пенсию и кое-какой приработок. Столяр он, каких поискать. Но все уходит на самогон и водку.

Егорыч был навеселе. Удивился и обрадовался появлению Вени.

О-о!.. Сам, значица, заведущий скотофермой пожаловал!
Он и есть... Шуруп, – пьяно улыбался Егорыч и вдруг посуровел.
Не серчай. Шуруп в столярном мастерстве, значица, не в пример выше гвоздя!

Он вскинул под потолок указательный палец, покачнулся, сел на лавку. По-трезвому пристально посмотрел на Веню.

- Чтой-то смурный. Не в себе. Нешто жена кинула и убегла, значица, ажник на Урал?
 - Навроде того, Егорыч... то ись кинула.
- Первеющее дело, в таком разе, хлобыснуть стакашекдругой. И мужику завсегда облегчение. Бабе — той не! У ей вся градуса — в мокреть, слезой, значица, выходит. А мужику — облегчение.

Егорыч налил в стакан до самых краев самогонки, протянул Beнe.

– Держи. На закуску только тараканы, – развел он руками.

Веня принял стакан, одним духом выпил самогон и задохнулся. Будто совок раскаленных углей сыпанули ему в нутро. На глазах выступили слезы, он вздрогнул, прикрыл ладонью рот.

- Крепкая? То-то. Пелагея гонит. Завсегда, значица, у ей и беру, Егорыч налил себе, выпил. Завернул самокрутку в палец, потянулся к коптилке. Карасину бы дал с фермы. На донышке, значица, осталось.
 - Дам, пообещал Веня, завтра, то ись, и принесу.
 - Лидка, што ли, убегла-то?
 - Нет…не Лидка.
 - Полюбовница? Егорыч захохотал и погрозил пальцем.

Веня молчал, глупо улыбаясь. Ему и вправду стало легче, безразличнее. «Фросю найду, а Лидку брошу», — думал он. Вопрос, казалось, решается удивительно просто. Он «хлобыснул» еще стакашек и не помнил, как дошел домой.

В обед принес бутылку керосину. Егорыч что-то выстругивал рубанком посреди избы.

- Болит голова-то?
- Болит.
- Мутит?
- Мутит.

Егорыч достал из-под кровати бутылку, налил полстакана.

- Подлечись.
- Глядеть не могу!.. Веня замахал руками, попятился к порогу.

– Выпей, говорю. Через всякую, значица, силу, а выпей, и беде конец.

Веня выпил. Лицо его перекосило отвращение, по спине прокатился озноб. Он дрожащей рукой вернул стакан, сел на табурет, закашлялся. Прошло некоторое время, и отступила тупая боль в висках, дрожавшие до сих пор руки и ноги окрепли. Но от предложения Егорыча повторить по маленькой наотрез отказался.

Шла неделя за неделей. Зима завладела миром. Веня подал документы в техникум. А дома жена глядит зверем, и Фрося исчезла бесследно. Прочно вошедшая в сердце тоска по ней переменила Веню. Он почернел и осунулся, только глаза лихорадочно блестели на вконец измученном и усохшем лице. Между сдвинутых бровей легла глубокая борозда. Он мало говорил и только по делу, а дома и вовсе молчал. Когда явился от Егорыча пьяным, Лида не пустила его в постель.

С тех пор Веня так и спал отдельно, сначала на полу, а затем принес старенькую кровать. Лиду по первости это не волновало: «Пущай потешится, — думала она, — придет и наш черед поломаться. На коленках будешь просить, Шуруп паршивый!» Дошло до того, что Веня сам себе варил картошку и стирал бельишко — Лида решительно отказалась, но просить, да еще на коленях, не собирался. «Видно, Веня взаправдешним мужиком становится», — решила она и сдалась. После ужина, уложив детишек, сказала Вене, переломив себя:

 Долго будем поврозь-то спать? Не чужие ведь. Ладно уж, ложись ко мне.

Веня посмотрел на жену чужими глазами, ответил:

– Не лягу. Сама, то ись, прогнала.

Лида побелела. Не могла она простить Вене такой обиды, такого унижения. Глаза ее сузились, уголки губ опустились, лицо стало злым и неприятным. Она подбежала к порогу, распахнула дверь, закричала с визгом:

- Чтобы ноги твоей здесь боле не было, Шуруп рыжий! Ноги целовать должон, спасибо говорить, что жена досталась не тебе пара! Сколько годов терплю гниду! Вон из дому!
 - Не ори. Детей спужаешь, Веня оделся и ушел.

...Утром удивленные сельчане увидели, что из трубы покинутого дома Фроси Сизовой идет дым, а Веня Шуруп разгребает во дворе снег.

г. Красноярск, 1980 г.

СИСИМСКИЕ ПЕРЕКАТЫ

Сисим – правобережный приток Енисея. На всем протяжении, от Саянских белогорий до устья, мчит он прозрачные, быстрые и холодные воды по дуроломной таежной глухомани. До недавних времен в среднем, а тем более в верхнем течении Сисим был почти недоступен.

Заходили иногда таежники на лошадях под вьюком на богатую рыбой речку, чтобы запастись в зиму малосольным, отменно крупным и жирным сисимским хариусом — черноспинником. Но путь был труден и опасен. Запросто можно было и головушку сложить в присисимском чернолесье. В самой что ни на есть глуши, в единственной деревушке на всем течении Сисима, Медвежьем Логу, с давних времен жили нелюдимые староверы. Род их начат от беглых каторжан и разбойного люда. Жили они охотой и ловлей рыбы по Сисиму и его притокам — Сейбе и Ко — и ревностно оберегали угодья от пришлых людей, вплоть до самых жестоких мер.

А угодья были ой богатыми! И зверем хищным, пушным и копытным. И птицей водяной и лесной. И рыбой хариусом, ленком и тайменем. И ягодами разными, и грибами для сушки и для соленья, и кедровым орехом, и черемшой. По еланям, гарям и редколесью травы вздымались в полтора человеческих роста. Когда они зацветали, густой медвяной запах плыл по распадкам такой пьянящей волной, словно Сисимской долиной не вода текла, а прозрачный, как слеза, мед. Все богатства саянской тайги щедро сгрудились по берегам Сисима и в его водах. И кормила, и одевала жителей Джотки присисимская нескудеющая тайга. Прямо за огородом куницу, соболя да и марала добывали, а медведи частенько сами под окна жаловали. С тех пор и названья мест по Сисиму пошли: Медвежья яма, Маралий брод, Соболиная падь, Волчий лог...

Джотка беспорядочно раскинулась на отлогом южном склоне Сисимской долины, по правому берегу речки. С востока, севера и запада окружена она высокими горами и девственной тайгой. Посередине деревушки стремительно бежит к Сисиму неиссякаемый горный ручей, от которого по дворам были сделаны отводки. Вода в ручье чистая и холодная до зубной боли.

Дома, бани и надворные постройки не отличались роскошью, изяществом и резными украшениями, но были сработаны на века из кондового листвяжника так, что и медведю не под силу разворотить хлев и задрать скотину. В каждом дворе держали лошадь, а то и две. Они были необходимы для доставки промысловику-таежнику в отдаленные охотничьи избушки зимних припасов и вывоза из тайги добытого впрок мяса: медвежатины, маралятины, сохатины, а также для вывозки дров и сена. Держали и коров, благо сенокосных угодий в тайге было вдосталь.

В каждом дворе было несколько лютых на зверя собак. Некоторые старики занимались пчелами. Лето в этих местах хоть и короткое, но взятками богато. Жили староверы в надежном достатке, но суровой жизнью, похожей на жизнь зверей. Без лишних сантиментов грубо любили они семижильных кержачек, которые рожали кряжистых, как листвяжный сутунок, парней и ядреных девок, продолжая крепкий кержацкий род. Сильный в тайге не сгинет, слабых тайга не жалует. Не любому и каждому дарит она свои богатства. За короткое лето нужно совершить многосотверстный таежный переход, сбыть пушнину и закупить муки, соли, пороху, свинцу и мало ли еще чего по хозяйству. Заготовить на долгую зиму дров и сена, ягод и грибов, рыбы и черемши. По снежному первопутку свезти дрова и сено во двор. Добыть кедрового ореха. К осени подготовить охотничье снаряжение и забросить в таежные избушки. С наступлением устойчивых морозов сделать запас мяса, завалив крупного зверя. Лето пролетало птицей.

В зиму, которая в этих местах длинная, суровая и многоснежная, в деревне оставались только старики и дети. Все взрослое население Джотки расползалось по таежным падям и урманам на свои далеко разбросанные охотничьи угодья добывать вызревшего к тому времени пушного зверя.

По двое-трое жили в таежных избушках, в которых все вместе сходились нечасто: преследование куницы или соболя иногда затягивалось на несколько дней, и ночевать приходилось где придется. В течение зимы таежные охотники по нескольку раз наведывались в Джотку: попариться в бане и в тепле подвалиться под горячий бабий бок. И снова уходили за 40-50 и более верст на широченных, подбитых мехом лыжах в стылую тайгу. И приходили, и уходили крадучись, ночью: староверы скрытны и суеверны. Размеренно и однообразно, без видимых перемен, жили кержаки-староверы в таежной деревушке Джотке. Даже известие о гибели охотника от зверя или лихого человека принимали стойко, без воплей и слез, только матери и вдовы бледнели и плотнее сжимали губы. Если нет взрослых сыновей, осенью на промысел зверя пойдут они вместо погибших мужчин... Ничто не предвещало перемен...

И вдруг в начале тридцатых годов нагрянули на Сисим геологи и стали бить шурфы, прощупывая нутро земли в окрестностях Джотки. Не один геолог остался навечно лежать в замшелых ельниках с самодельной кержацкой пулей в груди. И все же нашли они в долине Сисима богатые россыпи золота, и заохала, загудела, застонала, завыла тайга под пилами и топорами.

В тот же год, по первому зимнему пути, стали прибывать на огромных санях, запряженных цугом по пять и больше пар лошадей, железные машины и изделия невиданных размеров. В четырех верстах выше Джотки, у впадения Сейбы в Сисим, вскоре вырос приисковый поселок – Кордон. Всю зиму в Кордоне тюкали топоры и визжали пилы. К весне мастеровые люди под руководством расторопного инженера построили «бесовскую машину» – драгу. Это плоскодонное плавучее корыто сажен в двадцать длины, на котором разместили паровую машину с котлом и топкой, сложное переплетение стоек брусьев, колес, тросов и непонятных рычагов. На носу драги из металлических балок устроили стрелу десятиметровой длины. По обеим сторонам стрелы укрепили на осях зубчатые колеса с накинутыми на них цепями. К цепям приладили металлические ковши размером с узкоколейную вагонетку. Драга возвышалась на галечниковой косе у Сейбы первобытным чудовищем.

В эту зиму охота была неудачной. В темных сердцах староверов клокотала и густела злоба на мастеровых, «анжинера» и их бесовскую машину.

Вообще не отличаясь приветливостью и общительностью, стали они вовсе нелюдимы и замкнуты. Даже при встрече друг с другом прятали глаза под густыми бровями, молча приподнимали шапки и ускоряли шаг, будто стесняясь за бездействие, когда решительные меры так необходимы. Не сговариваясь, поодиночке часто пробирались в густолесье около Кордона, подолгу следили из-за валежин за ходом загадочных работ, хищно прищурив глаза и сжимая шомполку в запотелых руках. Скрипели зубами, а стрелять не решались.

Еще осенью старик Дремин с сыновьями Федором и Иваном сделали налет на Кордон, подперли бревном двери и подпалили барак, застрелили троих мастеровых, ранили их начальника и подожгли лесопилку. Приехали военные, на Кордоне оставили охрану, Дремина с сыновьями под конвоем отправили в город.

Наступила весна. По большой воде сплавили драгу вниз по Сисиму верст на десять и начали золотые разработки. День и ночь черпала драга неподатливый каменистый грунт на десятиметровую глубину, перемывала пески и медленно продвигалась по Сисимской долине, оставляя после себя горы обработанной породы и гирлянды заполненных водой ямин и котлованов. С этого времени начались коренные изменения в жизни таежников Джотки. Охота и рыбная ловля стали невыгодным делом: рыба таежных рек не любит мутной воды, непуганые звери разбежались из Сисимской долины. Многие семьи, заколотив окна и двери и покинув Джотку, подались на новые нехоженые места, каких в саянской тайге еще много. Другие брали на Кордоне подряды на заготовку дров для драги, которая сжигала в своей утробе больше сотни кубометров древесины каждые сутки. Крепкие руки и выносливые лошади ценились высоко, и постепенно охота и рыбная ловля стали занятием второстепенным, подсобным.

За двадцать лет метр за метром перелопатила драга десятиметровый пласт грунта на площади в несколько десятков квадратных километров, пожрала леса на обширной территории и перемолола вековые устои староверческой Джотки.

Неожиданной бурей ворвалась в жизнь таежных людей бесовская машина, быстро подчинила их себе. В угоду ей губили они дремучие сисимские леса, которые веками оберегали, не жалея жизни. Но наступил день, когда машина вдруг остановилась, огненное нутро в ней потухло, и она застыла нелепым нагромождением деревянных и металлических конструкций: золотоносные пески кончились. Волна захирения прокатилась по Джотке. За двадцать лет здесь выросло новое поколение, не привычное к суровой промыслово-охотничьей жизни.

Теперь большинство жителей Джотки и Кордона разъехались в Артемовск, в Минусу, на лесоразработки в поисках работы и заработка. В Сисимской долине остались опустевшие поселки, в которых не наберется пяти обитаемых дворов. Полуразрушенная, полуобгоревшая драга и теперь стоит на Сейбе близ Кордона, напоминая фантастическое сооружение из романа Жюля Верна.

Прошло около десяти лет. Изуродованная драгой Сисимская долина покрылась тальниками, березовым, а местами сосновым лесом, каменистые отвалы поросли смородиной и малиной. На истребленных лесах поднялся подлесок, упрятав обомшелые могучие пни в три обхвата на срезе. Сисим проложил новое русло, соединив между собой огромные котловины, оставленные драгой, в которые теперь скатывалась рыба на зиму. Тайга залечивала раны, когда новое грандиозное строительство пришло в Сисимскую долину.

По правому берегу Сисима, в восьми километрах от опустевшей Джотки, пролегла Абакан-Тайшетская железнодорожная ветка.

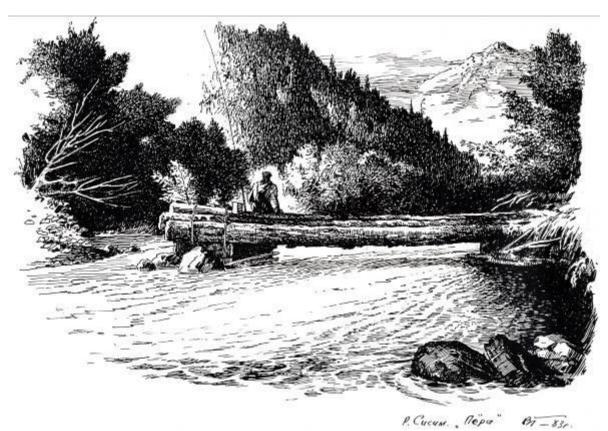
г. Красноярск

ЧЕРЕМША

В оврагах кое-где лежал еще почернелый спрессованный снег, и земля ладом не прогрелась, а черемша выперла четверти на полторы — сочная да ядреная. Ермила Брагин знал места — лучше некуда. Сплошняком — черемша и черемша! Хоть косой коси. Породистая — до коленок и стебель в палец!

А главная штука — на солнечном склоне. В других угодьях токо-токо, а тут вон чо уже вымахала. Далековато, правда. Верст двенадцать от полустанка. Зато черемша, идрит твою в кочергу, пятьдесят копеек пучок. Старуха сказывала, у других по тридцать пять — нос воротят, а у ей по пятьдесят — с руками.

Не зря Фомушкин сколько разов набивался, возьми, мол, с собой. С каких пирогов? Не в том резон, что черемши убудет. Ее тута комбайном не свалишь. Однако ему покажи, другому покажи, глядишь, цену-то и собьют. Скупердяй, говорит. Дореволюционный куркуль ты, говорит, Ермила». Это Фомушкин говорит. А я ему: «Коли ты не скупердяй, дык выкинь на помойку али мне отдай трешку либо пятерку. То-то! Тебя по черемшу взять все одно што деньги из кармана выкинуть за здорово живешь». Брагин вспомнил, как ловко припер он Фомушкина, усмехнулся.



«Седни надо бы пучков сто пятьдесят навязать, — прикидывал он. — Черемши на рынке ишо нет. Первая-то и подороже пойдет. Немножко далековато токо. Но ничо. Ничо. Дотопаю».

Ровнехонько сто пятьдесят пучков Брагин наторкал в рюкзак, увязал его. Сверху приторочил в пакет свернутую полиэтиленовую пленку и котелок с продуктами – в тайгу идешь на день, бери на три. Вскинул рюкзак сперва на выворотень, вздел руки под лямки и тогда взвалил груз на спину. Покачнулся, на миг потеряв равновесие. «Чижолый, собака. Но до вечера — ого!.. К поезду так и так подоспею». Ермила взял в руки ружьишко и подался к тропе.

Всего-то ушел километра с два, а выдохся — хоть выпрягайся и падай. По спине сырая испарина, в мотне ложки полоскать можно, в глазах темно. А тут еще подъем-пыхтун, чтоб он провалился! Еще когда собирал черемшу в наклон, Брагину показалось, что захворал он. Раза три обносило голову, да так, что становился на карачки. Теперь вовсе разобрало. Главное — в глазах туман и ровно плывет все. Остановится маленько и снова плывет и плывет. Короче — хрен дело.

На середке подъема пришлось делать роздых. Сбросил рюкзак — полегчало. Перестали в глазах плыть деревья, пни, валежины, тропа... «Стой! Чо это на тропе-то?» — Брагин нагнулся и увидел свежие следы медведя. Десяти минут не прошло, как сидел он тут: в углубление следа текла струйка воды из лужицы, а заполнить его не успела. Мордой сидел в сторону Брагина. Поджидал, значит, но тропу уступил. Ермила внимательно огляделся, погрозил тайге кулаком.

Уходи, сука, покеда жаканом не врезал! – грозил, чтобы себе духу прибавить. Медведя укокошить – не муху ладошкой прихлопнуть.

«Вдруг пальнешь мимо? Хворый же! Ни в руках твердости, ни зоркости в глазах. Аккурат мимо и пальнешь. Чо тогда? Вон лапища-то, шире мово сапога...», – рассуждал Ермила, взваливая на спину рюкзак.

После остановки брел он еще медленнее. Дышал с хрипом загнанной лошади. Ружье держал наготове, усилием сохранял в глазах ясность, время от времени оглядывался назад. Пока взобрался Брагин на хребтину увала, медведь еще два раза оставил на тропе следы. С тропы уходил вправо. «Понятное дело, — смекнул Ермила, — счас любовь крутят медведи-то. Должно, здесь его участок, навроде единоличной усадьбы. И сударушка где-то недалече... Любую дурость может отмочить: в свадебную потеху всяка живность шибко дуреет. На похвальбу при подруге-то загрызет, как пить дать».

На увале увидел Ермила и самого хозяина тайги. Это матерый самец. Брагин знал, что нельзя выказывать страх, упрямо шел и шел вперед. И то сказать: чо кроме делать-то? Медведь взрявкал, нехотя сошел с тропы. Пятки взад и мотать бы отседова, да силов нету. Ноги ватные, в коленках дрожание, в голове звон. Хворь вот-вот с копыт опрокинет.

Под уклон двигалось легче, а спуск долгий и пологий, но Брагина начал колотить озноб, аж зубы клацали. «Кажись, отцепился хозяин-то? И то ладно... До ручья надо бы дотянуть, а там – на прикол... На полустанок седни и думать неча...», – вяло соображал он.

Как доплелся до ручья, Ермила не помнил. Но сумел-таки натянуть из пленки двухскатный шалаш, накидать в него лапника, убрать рюкзак. Да еще вскипятил чай со смородиной и, обжигаясь, выпил цельную кружку. Остатки поставил в котелке у изголовья и свалился обессиленный – ни живой, ни мертвый...

Рядом затрещал валежник. Брагин встрепенулся, шарил и не находил ружье. «Где оставил его?» — подумал он и притих. Медведь отгреб лапой пленку, сел около.

- Чо притворяешься? спросил он. Не спишь ведь.
- Пошто мне притворяться? удивился Брагин.
- Трусишь.
- Ково?
- Меня трусишь. Я же хозяин тайги.
- А я... я, значит, царь над всей природой. И над тобой тоже.
- Ты царь? Барыга ты, прохиндей. Царь нашелся! Кто в прошлом году шишку до срока бил колотом и крадучись сбывал на рынке? Кто харьюзов ловил в икромет? Хапуга ты, а не царь. Давануть, чтоб мокро осталось... Потому через участок и провожал тебя, чтобы не напакостил... Постой!.. Это ты же моего младшенького пестуна застрелил? Ты, медведь навалился всей тушей на Брагина, вдавил в землю. Земля расступилась под ним и завалила черной тяжестью...
- ...Очухался Ермила оттого, что старуха дала испить смородинного настою. Он выпил до капли, лег на спину.
 - Чо болит-то? спросила старуха.
 - Все насквозь болит.

- Пуще-то в костях ли где?
- В грудях жжет и воздух застревает.
- Пошто не вернулся, как хворь учуял?
- Думал доскребусь.
- Все-то тебе мало. Все мало, заворчала старуха, говорила же: возьми Фомушкина. Чичас он тебе и подсобил бы. Один-то сгинешь.
- Не каркай, огрызнулся Брагин, открыл глаза, приподнялся на локте.

В ногах на месте старухи сидела ворона. Она каркнула с испуга, взлетела на дерево. В тайге солнечный день. В теле несусветная слабость, во рту сухо. Он увидел котелок, жадно припал к нему. Но котелок пуст. Брагин выполз из-под пленки, огляделся, не понимая, где он. До тошноты хотелось и пить, и есть. Снова забрался в шалаш пошарить в рюкзаке съестного.

- Черемша? прошептал он... И вспомнил все: Стало быть, в беспамятстве был?.. А чай из котелка все-таки выдул. Сколько ж ден провалялся?.. Дня три-четыре: черемша-то совсем завяла. «Добро зверь не наткнулся, думал он, разжевывая черствый хлеб. Вдругорядь, видно, Фомушкина брать, а то долго ли до сурьезной беды. Он бы чичас чайком да супчиком мигом поставил меня на ноги... Шибко хорошо бы горячего хлебова-то... Ермила так размечтался, что прикрыл глаза и сглотнул слюну. Погодь, сам себя остановил Брагин, а ежели Фомушкин захворает? Ногу подвернет али... ну, мало ли чо! Возись с ним. Онто должон меня выхаживать, потому как я ему место черемшиное укажу. А с ним как же? Тоже поди в немочи не кинешь?.. И прибыльное время в самый раз упустишь!...»
 - Нет, уж. Ну его к лешему, вслух подытожил Брагин.

Он с трудом приподнялся, пошатываясь, побрел к ручью зачерпнуть воды в котелок. В глазах потемнело, ноги подогнулись. Он присел на кочку, отдышался. Снова пошел. У самого ручья изпод ног с треском вылетел рябчик. Брагин от неожиданности сунулся в сторону, упал неловко и тяжело. С маху ударился головой о камень. Котелок подхватило течение, закувыркало по галечнику. С камня в ручей стекала кровь...

Над тайгой неподвижно висело солнце. На перевале орали кедровки. Студеная вода в ручье лизала окоченевшие пальцы Брагина...

г. Москва, 27-28 февраля 1982 г.

ЩУЧЬЯ ЖАДНОСТЬ

Когда я проснулся, костер давно погас. Светало. Сквозь сплошную пелену тумана противоположный берег и прибережные ивняки вырисовывались расплывчатым розовато-серым контуром.

Все казалось совершенно неподвижным: и вода, и кусты, и даже розоватый туман. Вздрагивая от утренней прохлады, спустился я к реке, по мокрым доскам перебрался на плот проверить поставленные с вечера жерлицы. Крайняя из них была полностью размотана, шнур отвесно уходил в воду.

Рыба шла легко, поэтому шнур выбирал я без особого интереса: полукилограммовая щука — не бог весть какой трофей!

Но что это?.. На крючке надежно «сидела» действительно небольшая щука, которую поперек держала огромная зубастая пасть. Отчетливо была видна только голова. Серо-зеленое пятнистое тело щуки уходило в глубину и постепенно теряло очертания. Неподвижными глазами смотрела она из воды и неторопливо двигала жаберными крышками.

Сколько раз я мечтал выловить такую рыбину! Вот она рядом, но сейчас выплюнет изжеванную щучку и спокойно уйдет в недоступную глубину.

Я отпустил шнур. Щука помедлила, затем лениво шевельнула оранжевыми плавниками и ушла на дно. Шнур натянулся, удилище согнулось и захлопало по воде.

В несколько прыжков я очутился на берегу, схватил багор и возвратился на плот.

С большой осторожностью выводил я рыбину, хотя шла она на поверхность почти так же легко, как и в первый раз.

Опустив в воду остро отточенный багор, я резко подцепил щуку снизу и выволок на плот. Только тогда она выплюнула свою добычу. Но было уже поздно!

Так щука поплатилась за жадность.

г. Красноярск, 1967-1968 гг.



опыт поколений

День обещал быть теплым. Солнце приятно пригревало спину. Но от настывшего за ночь сумрачного чернолесья, густых зарослей прибрежных тальников и галечных наносов веяло таким холодом, что кончики пальцев прикипали к удилищу. В затененных местах на жухлой траве и опавших листьях лежал иней.

Вчера в протоке сошла с крючка крупная рыбина, и я едва дождался рассвета, чтобы повторно испытать рыбацкое счастье. Протока начиналась нешироким, но быстрым перекатом и вдоль левого заселенного берега переходила в глубокую ямину. С пра-

вой стороны в протоку вдавался узкий клин песчаной косы, ниже которой образовалось лишенное улова течение.

Я перебрался на косу, наживил «аппетитного» червяка и забросил удочку. Поплавок запрыгал по перекату, быстро приближаясь к яме. Вдруг с левого берега в быстрину упал темный комочек и, быстро-быстро работая лапками, стал медленно приближаться ко мне, преодолевая течение. Это была мышь. Видимо, чрезвычайные обстоятельства вынудили несчастную пойти в опасное плавание.

Чтобы не спугнуть храбрую зверушку, я плавно подвел удочку к берегу и замер. Здесь, в затишке, поплавок застыл на месте, и рыба вряд ли клюнет. Можно переждать, пока мышка переправится и убежит по своим делам.

«Однако зачем она, – думал я, – тратит столько силы на борьбу с течением? Ведь если ее снесет на тихое место, будет легче плыть». В это время сильный толчок передался в руку. Оглянулся – поплавок ушел под воду, леска потянулась. Подсечка! По яме заходила рыба... Клюнул не особо крупный хариус, и он довольно скоро был водворен в берестяную кошелку.

А где же мышка? Ее напугал неожиданный шум, она повернула назад и пробивалась к берегу, с которого начала плавание. Как и в первый раз, упорно сопротивлялась течению, стремилась пересечь протоку поперек переката. Ее снесло совсем немного и только на самой стремнине. Вот и берег. Мышь ухватилась лапками за корень подмытого дерева, помедлила, выбралась на него и долго оставалась неподвижной, набираясь сил.

Позднее мне несколько раз приходилось видеть, как мыши, бурундуки, белки переплывают таежные речки. Они, как правило, избирают мелководье, хотя здесь течение быстрее и приходится тратить больше сил.

Как объяснить такую нецелесообразность? Дело, полагаю, в том, что реки Саян стремительны. Тихое течение в них только там, где глубокие ямы. Но в них-то как раз и держатся крупные ленки и таймени, которые с удовольствием лакомятся мышью, бурундуком и даже белкой. Опыт многих поколений не прошел бесследно.

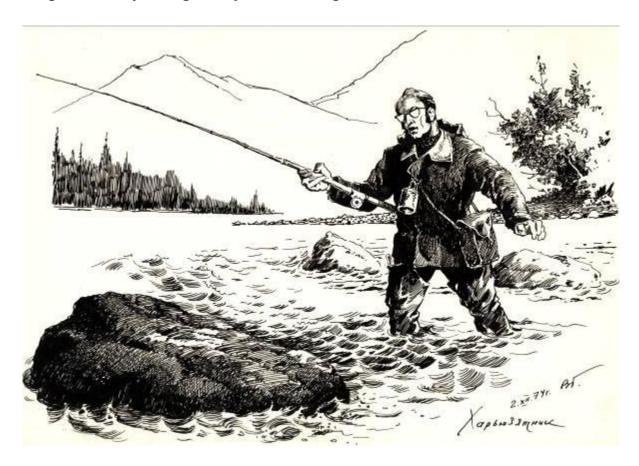
г. Красноярск, 1979 г.

БИДЖУЛЬ*

*Биджуль — название таежной речушки, впадающей в Сисим. В настоящее время — территория Сисимского заказника в Курагинском районе.

Летний изнурительно длинный день на исходе. Добела раскаленное солнце приостыло, покрылось красной окалиной и готовилось к ночлегу за розовеющими на горизонте облаками. Но разогретые за день земля, скалы, неподвижный воздух и даже травы и деревья источают удушливый зной.

Хвойная тайга расступилась в обе стороны, узкая, глубоко пробитая тропа идет по широкому распадку то мелколесьем, то разнотравьем некошеных лугов, огибая подножие горбатого кряжа, по склонам которого плотной многоступенчатой стеной стоят кедры, а самую вершину венчает гряда гольцов.



Слева вдоль тропы петляет между тальников и черемухи до того звонкоголосая и веселая речушка, что ее заливистый смех по

первости невольно вызывает улыбку, затем недоумение и, наконец, раздражение. Битый час она забористо хохочет, резво прыгая по камням и бурелому, будто издеваясь над усталыми путниками.

Едва наметились признаки близкого рассвета, когда сошли они с поезда на глухом разъезде, приладили за спину друг другу увесистые рюкзаки и смело двинулись в сырую темень тайги.

День на исходе, а конца пути не видно.

Сначала впереди вымерял саженные шаги долговязый и конопатый, не по летам моложавый Женя Яковлев. Мужику за тридцать, имеет двоих детей, а все его зовут Женей. За ним тянулся Иван Николаевич Коробов по прозвищу Коробок. Его нерослая фигура под объемистым рюкзаком, кажется, еще уплотнилась и раздалась вширь. Шагал он неторопливо, но емко. Только самолюбие не позволяло отстать от «молокососов» Андрею Петровичу Владимирову. Рослое, могучее тело бывшего тяжелоатлетаразрядника за последние годы огрузло. Несмотря на ночную прохладу, он скоро взмок. От самой лысины по шее, между лопаток, по спине и пояснице заструился ручеек пота.

«Ишь как чешут, кутята, – думал он, – будто ждет их манна небесная. Только надолго ли хватит пороху?». Если признаться, то и Андрей Петрович собрался в дорогу ради «манны небесной», и, если бы «хватило пороху», сам наддал бы ходу.

Еще в прошлом году, в последние дни отпуска, повстречали они с Коробовым рыбака. Собственно, рыбак сам свернул с тропы, подошел и попросил закурить. Сладко затянувшись папиросой, снял с плеч торбу и присел на валежину. Затем заглянул в берестяные кошелки Владимирова и Коробова и небрежно бросил:

- Белячки...
- Покажи свой улов, выдавил Андрей Петрович, пересилив обиду.
 - Глядите, секретов нету.

Торба доверху была набита подсоленной рыбой. И какой рыбой! Сверху лежал харьюзина, каких ни Андрею Петровичу, ни Ивану Николаевичу даже видеть не доводилось.

– Крупняков наверх для форсу положил? – поддел Иван Николаевич. Но рыбак был невозмутим:

- Конечно, есть и мельче, но ни одного белячка, а внизу пара добрых ленков.
- Где же такая рыбка плавает? с напускным равнодушием поинтересовался Андрей Петрович.
- Секретов нету, повторил рыбак, в этой же речке, но пониже километров на сто с гаком, если идти правым берегом. А с левого берега от брода, что за третьим кривуном отсюда, торная тропа идет прямиком через перевал. По ней вдвое короче. Вот гляди, рыбак начертил на песке прутиком схему и толково рассказал дорогу.
 - Тропа шибко забуреломлена?
- Не так чтобы... Есть, конечно... Но топей много, и перевал под самые облака. Однако я пятый год в каждый отпуск хожу. Черноспинного хариуса со струи вывести... Это же понимать надо!.. рыбак даже прищурился от удовольствия, сжал кулак и повел, как бы под напряжением, руку в сторону. Крякнул, снова переживая рыбацкий азарт.
 - Сам-то из Красноярска? допытывался Андрей Петрович.
- Нет, усмехнулся рыбак, со станции Винзили. Это под Тюменью.

Владимиров и Коробов только переглянулись.

- А ночевал где?
- Ночую в бараке. Геологи построили, говорят, году в тридиатом. Тропа прямо к бараку и приведет. А я больше под елкой или пихтой, на лапнике, чтобы не бегать взад-вперед. Утром и вечером самый клев. Стой!.. Чуть не позабыл. На перевале, у тропы, справная избушка. Ежели что, переночевать можно.

Рыбак собрался уходить. Вскинул торбу, но чего-то медлил. Наконец, смущаясь, попросил:

– Ребята... хлебца не одолжите? Вторые сутки только рыбу ем...

С тех пор Владимиров и Коробов потеряли покой. Сколько раз в зимние вечера молча рассматривали они схему маршрута, которую нарисовал Андрей Петрович по свежей памяти цветными карандашами! Загодя составили список, что взять с собой, чтобы не забыть и самой малости.

Дни перед отпуском тянулись воробьиными шажками. А вчера прибежал Женя Яковлев: возьмите, мол, с собой. Отчего не

взять? Работают вместе. Парень хороший, постоянно на Доске почета. А главное – рыбак что надо! О нем доморощенные остряки говорят: «На асфальт помочись – Женя тут щуку поймает».

От самого разъезда взял Женя разгон, в семь потов вогнал Коробова и Владимирова. Привал сделали у брода, когда рассветало. Не сговариваясь, скинули рюкзаки, размотали удочки — ловить рыбу на уху. Все это было оговорено еще зимой. Быстро надергали белячков, сработали ушицу, заправились. Докуривая папиросу, Андрей Петрович сказал:

- Ты, Женя, убавь прыти. Дорога долгая, а нас черти не гонят.
 - Али упрел, Петрович? осклабился Женя.
- Смотри, поддержал Андрея Петровича Коробов, скиснешь бросим на тропе.

За бродом по узкому коридору густого хвойного леса поднялись на пологий увал, с которого открывалась неприглядная картина таежной заболоченной равнины, подернутой жиденьким туманом. Среди зарослей зелено-синей осоки и хилых деревьев виднелись узкие полоски озерин, куртины тальников и острова темных ельников. Когда-то было здесь, видимо, просторное озеро. Со временем заросло оно сначала травой, а затем кустарником и редкими деревцами. Из плотного сплетения кореньев образовались гибкие кочки высотой в половину человеческого роста. Основание кочек залито водой, а их вершины заросли осокой.

Такие места в Сибири называют согрой. Упаси бог забрести в целинную согру без тропы! Под сплошным пологом осоки отдельные кочки не видны, приходится их осторожно нащупывать ногами. Под грузом человека они ходят ходуном и медленно погружаются в черную жижу. Спеши на следующую, столь же ненадежную опору. Промахнулся, сорвалась нога с кочки — увяз в родниково-холодном месиве, хорошо, если не до пояса. Встречаются места, лишенные кочек. Они совершенно ровные, поросшие мелкой травкой. Это зыбуны, недавние «окна». Они прогибаются, как гамак, и на поверхность выступает мутная вода. Сердце холодеет, а ноги сами спешат убраться с опасной зыби. Если «гамак» проткнуть шестом, он легко уходит на два-три метра в болотную кашицу. Но всего опаснее «окна», коричневая вода которых подернута ядовито-зеленой ряской. Обходи их стороной.

В дополнение ко всему согра – настоящее царство комаров. В сумерки или пасмурный день они налетают темной тучей на все живое.

За увалом тропа вступила в согру. Тропа многолетняя, кочки обтоптаны, особо топкие места устланы хворостом или валежником. Кое-где сохранились остатки сгнившей гати. Женя легко перешагивал с кочки на кочку, с валежины на валежину, почти не проваливаясь, перебегал мелкими шажками мочажины, хляби и зыбуны. Вес-то кроличий, а ноги — что жерди, и подошва большой площади: сапоги-болотники — сорок четвертого размера!

 Без рюкзака я могу по лопухам кувшинок бегать, как трясогузка, – балагурил он.

Туго пришлось Коробову. Где Женя шагнул, ему — прыгать. В трясиннике вязнет по колено. Потерял равновесие на кочке — сорвался в самую середину мочажины и увяз до пояса. Андрей Петрович выволок Коробова за руки, а сапоги в трясине остались. Иван Николаевич почесал затылок, да делать нечего. Разделся, полез в черную жижу сапоги шарить. Вылез в грязи по шею. Женя ржал во всю глотку:

– Ну, патрет! Знакомому черту подари – откажется. Хотел же, зараза, фотоаппарат взять! На конкурсе первую премию отхватил бы.

Петрович подносил ко рту папиросу, в ладони прятал улыб-ку.

Ивану Николаевичу не до смеха. Он в мутной лужице обмакивал травяной жгут, старался смыть тину. Комары вились вокруг него серым облаком. Жирная грязь, как вакса, въелась в тело и не оттиралась. Коробов махнул рукой и стал одеваться.

– Очумел, – потешался Женя, – подумают, что с болотной кикиморой спал. Опять же, говорят, из болотной грязи цемент делают. Учти. Схватится – от шерсти не отдерешь.

Коробов молчал.

Двинулись дальше. Нелегко было и Петровичу, под ним глубоко проседали зыбуны, пузырясь, выступала вода, он то и дело хватался за траву на кочках, чтобы не провалиться. «Вот холера, – думал он, – и место высокое, а такие топи, что погибель одна».

За болотами сразу начинался подъем на перевал. Тропа сначала полого, а затем все круче забирала вверх, петляя между каменных глыб и упавших деревьев. Ее плотно обступил мрачный хвойный лес, иногда смыкаясь вершинами. Дно тропы до камней промыто дождями и вешними водами, а по обе стороны — переплетение густого подлеска, бодяги, какалии копьевидной и борщевика.

Пятый час длился подъем. Навстречу, косо пересекая тропу, мчались студеные ручьи. Путники черпали ладонями и жадно хватали пересохшими губами воду, споласкивали лицо и брели дальше, до земли свесив руки. Здесь нужны лошадиная сила и выносливость. Жидковатый Женя скис. Плелся он, мотаясь из стороны в сторону, на подгибающихся ногах, пропустив вперед сначала Коробова, затем и Владимирова. И в его тощем теле нашлась лишняя вода, он обливался потом, в висках стучало, щеки взялись горячечной краснотой.

Стой, друзьяки-товарищи, – скомандовал Петрович. – Привал.

Сели у ручейка. Женя упал в траву, не снимая рюкзака. Андрей Петрович черпанул кепкой воды, вылил ему на лицо. Яковлев не шевелился.

- Женя! окликнул Петрович.
- -40?
- Ну как ты?
- Хреново.
- Вот, что, молодцы, так может и удар от жары хватить. Николаич, раздевайся и вымойся, да и майку с трусами простирни. Ты, Женя, сполоснись до пояса, а то и весь, распоряжался Петрович. Я тоже обмоюсь. Мыло есть, воды хватит. Дальше через каждый час отдыхать будем по пять минут. Дошло?

«Молодцам» пришлись по душе распоряжения Андрея Петровича, и они не заставили себя ждать. Вскоре Коробов натянул выстиранные трусы и майку, поеживаясь от приятной прохлады. Женя плескал на себя пригоршнями воду и стонал от удовольствия. Он так втянул живот, что его стенка прилипла к позвонкам.

- Зря вымылся, Коробок, тебе шибко к лицу чернота была, между делом подтрунивал Яковлев.
 - Помолчи, балалайка! огрызнулся Иван Николаевич.

Даже Петрович прыснул. Худющий, с проступившими ребрами, Яковлев действительно чем-то напоминал балалайку.

- Во! Балалайка! не смутился Женя. А то скребусь на перевал, в глазах туман волнами ходит, в ушах музыка народная «Выйду ль я на реченьку...». Откуда, думаю, музыка? В это время хрясь лбом об лесину!..
 - Покупались? прервал Петрович. Пора в дорогу.

На перевал взошли за полдень. У избушки Женя затребовал привала до утра. Дескать, харьюза пущай подрастут, а мне ни за что не дойти «на реченьку». Коробов помалкивал, видимо, соглашаясь с Яковлевым. Но Петрович был против:

Пока стоит погода, самый лов на обманку. А вдруг дожди?
 Вода поднимется, помутнеет на два-три дня, а то и на неделю.
 Съедим харчишки и назад? Не дело.

Он уполовинил груз Жени, переложив себе картошку, соль, хлеб, вскинул непомерный рюкзачино и зашагал от избушки. За ним Коробов, а затем и Яковлев.

- Николаич, ты передом иди. Под гору оно легче, но не торопись, - Андрей Петрович уступил дорогу. - Я пойду левофланговым.

Спустились с перевала к исходу дня. Скоро должен быть барак. Усталые путники огибали один из отрогов мрачного кряжа, на седловине которого и осталась позади избушка. Перешли третий ручей, впадающий в речку-хохотунью. Должен быть барак, а его все нет.

Андрей Петрович с опаской поглядывал на Женю, который, шатаясь, с трудом переставлял негнущиеся ноги. Вдруг Коробов остановился и заорал:

– Ура! Барак!

Около барака двое рыбаков готовили на костре уху. Они равнодушно ответили на приветствие, не отрываясь от дела. В бараке слева от входа — добротная русская печь, рядом с ней — железная печурка. Против двери — два окна, в правой стене — три. Все стекла целехоньки. Пол выметен, и даже березовый веничек приютился у порога. Вдоль стен, на полу, настелена сухая трава, в изголовья брошены рюкзаки. На гвоздях, вбитых в стены, развешены куртки, плащи, штаны, кепки и прочая немудреная одежонка. На подоконниках разбросаны рыбацкие принадлежности.

- Ого, подал голос Коробов, двенадцать рюкзаков! Людновато здесь.
- Места и нам хватит, успокоил Петрович, только на кой ляд теплые одеяла перли? Здесь голяком спать можно.

Солнце садилось за горы, жара схлынула. Владимиров и Коробов нарезали ножами траву и устраивали постель. Женя, раздевшись до трусов, растирал ладонями худые ноги, сидя на порожке в проеме открытой двери.

- Спасибо, Петрович, вдруг сказал он, еще над тобой насмехался, зараза...
- Ладно, Женьша, смутился Андрей Петрович, ложись отдохни, и все образуется.

Сон сморил всех троих. Ночь считай не спали. В вагоне «общего пользования» народу было плотно. Сидели на рюкзаках и клевали носом да ноги берегли, чтобы не оттоптали.

Первым шумнул неожиданно басовитым храпом Женя. «Никакая он не балалайка, — ухмыльнулся Андрей Петрович. — Настоящая труба. Ревет утробой, будто пустой изнутри». Коробов свернулся калачиком и уютно посапывал. Петрович не заметил, как провалился в сон и вывел такой храп, что стекла в окнах заволновались. Не слышал он, как вошел в барак парень, осторожно прошел и остановился над спящими. Так же тихо вышел.

Проснулся Андрей Петрович оттого, что кто-то тряс его за плечо.

- Знаю, что устали, но заправиться надо. Возьмите на уху, говорил какой-то парень, протягивая миску с рыбой.
 - Спасибо. Завтра отдадим, пришел в себя Петрович.
 - Чо отдадим? Не узнали, что ли?
 - Гоша?
 - Он самый.

«Какой молодец вымахал, – подумал Андрей Петрович, раскладывая костерок. – Давно ли полуживого из тайги вынес. Ушли школята в поход, а тут пурга. Всех тогда подняли на ноги».

Солнце, наконец, спряталось за хребты, и сразу от тайги и реки потянуло сырым холодом. Доваривалась уха. Андрей Петрович на плаще расставил миски, порезал хлеб, чтобы разбудить ребят к готовому столу.

К бараку стянулись рыбаки, стабунились шумными кучками. Днем они расходились вверх и вниз по реке и ее притокам, а к вечеру обычно собирались к бараку: ночи в Саянах холодные. Да и опасно в одиночку, медведи, говорят, пошаливают. У барака разноголосый гомон. Кто еще варил хлебово, кто ужинал, кто попивал чай, настоенный на таежных травах, кто потрошил и подсаливал рыбу. Возбужденный говор, шутки, всплески смеха... И вдруг наступила полная тишина. Андрей Петрович оглянулся.

К бараку по тропе продвигалось что-то непонятное. Все повскакали с мест и всматривались в темноту.

– Люди!.. – полушепотом выдохнул кто-то.

Действительно, люди. В переменчивый свет костров вступили два дюжих парня. Они подтащили волокушу, связанную из свежих березин, к одному из костров и сразу сели в изнеможении. На волокуше неподвижно лежал человек. Рыбаки окружили пришельцев и, кажется, не дышали.

– Что с ним? – не выдержал Андрей Петрович.

Детина, что постарше, встал, сбросил рюкзак, оглядел собравшихся, полез пятерней в волосы...

- Не тяни резину! Чо сотворилось?
- А ничо, огрызнулся он.
- Ты это брось, выступил вперед Гоша. Сами поди гробанули мужика. Говори!
- Кого гробанули? Сродственник он. Флотский. В гости заехал, значит, в отпуске. Ну, мы с брательником его на Биджуль, значит, красоту показать. Тайгу и все такое... Упластался он, в лежку лег. От самого перевала волоком тянем.

Рыбаки уже весело поглядывали на флотского, посыпались заковыристые шуточки:

- Ах, флотский! С каких морей?
- Как жизнь, братишка?
- Это тебе не по палубе форсить.
- И не мозги кралям пудрить клешами да бескозыркой.

Моряк зашевелился и на одном дыхании выдал такую многоколенную и забористо-хлесткую матюговину в адрес тайги, Биджуля, тропы, топей болотных и даже «сродственников», что рыбаки замерли, жадно вслушиваясь в каждое словечко, и грохнули хохотом.

- Говорок-то! А?
- Из одних морских узлов!
- Чего ржете? поднял голову матрос, помогли бы человеку в каюту пройти.

Его подхватили и на руках внесли в барак, потешаясь над незадачливым морячком. Хмурые брательники раскинули на полу манатки, раздели моряка и укрыли курткой.

Женю Яковлева не добудились к ухе ни вечером, ни утром. Он проснулся, когда солнце через окошко заглянуло ему в лицо. В бараке никого не было. «Рыбалку проспал!» — вскочил он. Но сразу сел. Болело все: ноги, спина, плечи. Около постели стояла миска, прикрытая газетой, рядом — ложка, хлеб и даже кружка чая. «Петрович, как ребятенка, обхаживает», — подумал Женя, уписывая холодную уху. После еды стало вроде полегче. Встал, осторожно прошелся взад-вперед, как по битому стеклу: подошвы ног горели. Стал одеваться. Собрал рыбацкие принадлежности, вышел к реке, соображая, куда податься.

«Что за наваждение? – крутнул он головой. – Опять эта музыка «Выйду ль я на реченьку». Тут увидел Женя, что на бережку, в тени кустов, сидит симпатяга-парень в трусах и тельняшке, а рядом транзисторный приемник наяривает эту самую песню. Яковлев подошел поближе, посоветовал:

– В следующий раз, братишка, телевизор неси в тайгу.

Женя и не подозревал, что наступил морячку (а это был он) на самую больную мозоль. Моряк обернулся, смерил его уничтожающим взглядом и процедил:

 Сначала ширинку застегни, дерьмо долговязое, а потом топай отсюда, а то я нервный.

И сгреб булыжник.

Женя отпрянул, торопливо застегивая прореху, и поспешил прочь, пожимая плечами.

Он шел и шел берегом, теряясь в догадках, что за псих приперся в тайгу за полста верст, чтобы крутить транзистор, пока не услышал всплеск рыбы над перекатом.

Женя преобразился. Размотал леску, забрел в воду, пустил по струе мушку. Он постепенно наклонял удилище, подрагивая его гибкой вершиной. Создавалось впечатление, что насекомое

изо всех сил сопротивляется течению, но его все-таки сносит к яме.

В прозрачной глубине мелькнула стремительная тень, но обманку рыба не взяла. «Ясно, — прошептал Женя, — наколот, грамотный». Он повторил маневр. Но когда мушка подходила к месту, где схоронилась рыба, резко повел ее в сторону берега, с суматошно-конвульсивными подергиваниями, и сразу в руку передался рывок. Рыба «села» без подсечки и заходила на звенящей леске.

Без суеты и спешки, однако, не давая слабины, вывел ее Женя со струи и подвел к самому берегу. Отмели близко не было, пришлось поднимать рыбу, чтобы вытащить на берег. Хлебнув воздуха, хариус упал на воду. Он уткнулся носом в прибережную осоку и оцепенел. Женя знал, что через несколько секунд пройдет шок и хариус молнией стрельнет в глубину. Поэтому, не боясь шума, решительно шагнул к осоке и пригоршнями выбросил его на берег. «Вот это рыбка!» – ликовал Женя.

Выловив с десяток отменных хариусов и даже ленка, хватился, что не взял с собой еды. До барака километра три-четыре, пока смотаешься за краюхой, пропасть времени потеряешь. «Стерплю», — вздохнул он.

К вечеру клев улучшился, и сумка с рыбой потяжелела.

Еще издали увидел он эту яму. С широкого, не очень бурного переката река прямиком упиралась в подмытый берег. Здесь она вырыла гору галечника за поворотом. Посреди реки, перед самой ямой, торчал из воды кручеными свилеватыми кореньями затонувший листвяжный выворотень. Женя запустил обманку вдоль подмытого берега. Из темно-фиолетовой глубины как бы нехотя поднялась к поверхности рыбина такой крупности, что сердце сжалось и сразу вспотели ладони. Но рыба, не доходя до мушки, будто разгадав примитивный обман, так же спокойно ушла на дно.

Как только ни хитрил Женя! Испробовал все мушкиобманки. Напрасно. Рыбина больше не появлялась. Яковлев прицепил поплавок, наживил жирного желтоватого поручейника. Поклевки нет. «Все равно выловлю. Заночую здесь, а выловлю», – упрямо решил он. Перестроил удочку на донку, наживил крупного червя-выползка, выморенного в мокром мху, закинул в яму, под самый берег. В ту же минуту почувствовал два-три слабых толчка, и удилище согнулось в дугу. Рыба стремилась уйти вниз. Женя удерживал ее на месте, боясь, что лопнет жилка. Руки противно дрожали, пересохло в горле.

«Должно, ленок. Спокойно, Женя», – подбадривал он себя. Равновесие, наконец, нарушилось, рыба слегка поддалась, еще немного... еще... Но рывок – и она ушла на прежнее место.

Так повторялось дважды. Рыба будто стерегла миг, чтобы неожиданным броском порвать леску. Яковлев был начеку, он в нужный момент, пружиня удилищем, сдавал позиции, но держал рыбу на пределе напряжения. И она не сдавалась. Позволила вывести себя из ямы в тихий залив. Уже спинной плавник размером с ладонь резал поверхность воды...

«Хариус! – удивился Яковлев. – Неужто хариус?»

В этот момент рыба в отчаянном броске кинулась в сторону. Женя опять не оплошал. Он лишь слегка изменил направление, и хариус сам вылетел на галечник. Женя выпрыгнул из воды. Обеими руками сгреб хариуса и прижал к груди, балдея от радости. Отбежал от берега, поцеловал рыбу в холодные губы, положил на траву. Чугунно-черный красавец с металлическим розоватым отливом, веером растопырив радужные плавники, упруго бился в траве, а Женя сидел рядом и глупо улыбался.

Рыба уснула, когда рыбак положил ее в сумку. Охота рыбачить почему-то пропала. Яковлев хотел смотать удочку. Но все равно перебредать реку. «Брошу разок по пути в другую сторону ямы, под выворотень», – решил он.

Поклевка последовала немедленно. Рыбина ворохнулась в глубине и пошла вниз. Женя хотел остановить ее, но жилка лопнула, как паутинка. «Ленок, а то таймень, на такую снасть не взять», — Женя плюнул с досады, его снова колотила дрожь рыбацкого азарта.

Постоял, раздумывая. Вышел на берег и без остановки заспешил к бараку. Только теперь он заметил, что огненно-красный диск солнца ущерблен зубчатой кромкой тайги.

Владимиров и Коробов возились у костра и встретили Яковлева, радостно улыбаясь.

- Рыбачок заявился. Проспал поди все. Взломить тебя не могли, а клев утром был чудо! сиял Андрей Петрович. Я пяток хариусов по полкило выволок, а днем в протоке белячков понахватал на уху. Николаич тоже отвел душу. Ты-то вниз ходил?
 - Вниз.
 - А мы вверх. Завтра опять туда пойдем.
 - Сразу под красный яр, добавил Коробов.
- Обязательно. С утра и под яр. Хвались уловом, заторопил Петрович.

Женя вывалил рыбу на траву. Улыбки приятелей погасли, лица вытянулись. Андрей Петрович присел на корточки, перекладывал рыбу, шевеля губами.

– Пятьдесят семь! Вот тебе и балалайка, – обернулся он к Коробову. Потом приподнял на ладонях рыбину и удивился: хариус – чертило! Да неужто такие бывают?

Подошли рыбаки. Посвистывали. Качали головами. Сходились на том, что по улову и крупности рыбы Яковлев всех обрыбачил. Но больше дивились на хариуса-великана.

- Кила на полтора!..
- Больше! Года три тому ты на полтора словил, дык этот, конечно, больше.
 - Везет людям,- чесал затылок Гоша.
- «Везет, везет». Могет ловить, вот и везет, кипятился суетливый мужичонка. Даже морячок подошел взглянуть на «чудо природы». Сказал дружелюбно:
- Молоток, братишка. С расстегнутой ширинкой столько не поймал бы.

Яковлев сразу стал авторитетом, к нему подходили, просили показать мушки и только языком их не пробовали. Женя между тем выпотрошил и подсолил рыбу, снарядил спиннинг, перемотав на катушку леску ноль восемь. Приладил грузило и привязал большой крючок, какой только нашелся в баночке со снастями.

- Плоты, что ли, собрался возить? спросил Андрей Петрович.
 - Баржи, отшутился Яковлев.
- Слушай, Женя, возьми меня завтра в ученики, подвинулся к нему Петрович. Возьмешь? А?
 - Можно.

– А Николаича?

Яковлев взглянул на Коробова. Тот стоял у костра, пробуя, уварилась ли картошка, и делал вид, что и не слушает разговора приятелей.

- Без Коробова нам никак нельзя, посуровел Женя.
- Никак!- подтвердил Петрович, и оба захохотали. Хохотал и Коробов, обжигаясь горячей картошкой.

Андрей Петрович встал затемно. Разогрел остатки вчерашней еды, вскипятил чай, кинул в котелок пригоршню брусники и разбудил напарников. Было свежо и тихо. Всю долину застелил густой, неподвижный, молочно-белый туман. Только на востоке он слегка подкрашен прозрачно-розоватой акварелью. С головой утонули в нем прибрежные кустарники, мягким контуром просматривался гребень тайги. Под грузом рясной росы покорно склонились умытые травы и тальники, с них время от времени падали хрустально чистые капли, шлепая в барабаны лопухов.

— Благодать-то! А! Воздух-то! Мать честная! Хоть вместо масла намазывай на хлеб и ешь, — восхищался Андрей Петрович. — Разве хворь опрокинет, а то еще сюда приду. Обязательно!

Приятели заканчивали завтрак, когда из барака, сладко зевая, стали выходить рыбаки.

- Почему место Биджулем называется, знаете? спросил приятелей Андрей Петрович.
 - Не-ет...
- Речушка, что нам веселостью душу мотала, называется Биджуль.

Идти в Саяны по росной траве что по воде в пояс. Пришлось вздернуть резиновые болотники на весь разворот. Яковлев как на крыльях прямиком летел к заветной яме. Вот она. Женя приложил палец к губам, попросил: «Подождите, пожалуйста» — и полез в воду, с великой осторожностью переставляя длинные ноги. Вышел к прежнему месту, надел на крючок червя и, слегка размахнувшись, плавно послал грузило к выворотню.

Грузило еще не легло на дно, как последовал рывок. Взвизгнули тормоза на спиннинговой катушке. Женя сунулся вперед и чуть не упал, но быстро справился с оплошностью, укрепился в стойке. Рыба успела уйти в нижний край ямы, на струю, смотав метров тридцать лески. Яковлев большим пальцем притормозил

катушку. «Из ямы выпускать нельзя», — соображал он. В этот момент рыбина выпрыгнула из воды на свечку. «Таймень, — обмер Яковлев, — крючок мал, сломаться может!»

Он быстро подматывал леску, в воздухе развернув тайменя головой к себе так, чтобы в воду он падал плашмя. «Только не прозевать. Еще две-три свечи, и рыба намается», — Женя побледнел, в нитку вытянул плотно сжатые губы, то лихорадочно наматывал, то спускал на тормозах леску. Таймень летал по яме, со свистом рассекая жилкой воду, а Яковлев, словно предвидя заранее его маневры, держал рыбу на натянутой, как струна, леске. Таймень снова прянул в воздух около выворотня, в нескольких метрах от рыбака, и он опять не позволил рыбине уйти в воду вниз головой.

В этом поединке особо важны два момента. Работая упругим удилищем и катушкой, не допустить слабины лески. Иначе таймень мгновенно разовьет страшную скорость, и снасть не выдержит удара. Поэтому Женя то отводил удилище за спину, то в сторону, то подавал вперед, одновременно наматывая или спуская с катушки жилку. Наконец рыба бросается из воды в воздух. Если рыбак замешкается, таймень зарывается в воду вниз головой, добавляя свой вес к силе мышц, и удар на леску бывает роковым. Опытный рыбак разворачивает рыбину в воздухе, пока она беспомощна, оторвавшись от родной стихии, и кладет на воду плашмя, да еще головой к себе, и в тот же момент отвоюет с десяток метров лески.

Когда таймень сделал первую свечу, Андрей Петрович и Иван Николаевич застыли с открытыми ртами. Они сначала недоумевали, почему Женя не выволакивает рыбину на берег, и лишь через какое-то время поняли, что этого водяного черта в лоб не взять: не выдержат ни леска, ни удилище. Нужно сначала вымотать добычу. Неотрывно следили они, с каким мастерством делал это их слабосильный Женя.

Четвертая свеча была вялой, рыбина шлепнулась на воду и медленно ушла в глубину, затем выплыла на поверхность и покорно пошла к заливу, куда пятился Женя. Владимиров и Коробов бросились в перекат, черпая сапогами воду, и подоспели вовремя. Яковлев подвел тайменя к самому берегу мелководного залива, дальше тащить его волоком было рискованно. Пудовый

таймень брюхом лег на галечник, и подоспевшие напарники на руках вынесли его на берег. Оранжево-красноперый гигант, отливающий золотом, лежал неподвижно, лишь изредка хлопал жаберными крышками и в такт приоткрывал зубастую пасть.

Женя посерел от усталости и нервного напряжения. Попросил у Петровича закурить, дрожащими руками зажег спичку, сел на кочку. Иван Николаевич достал крючок, который зацепился только за губу.

- Тут второй крючок и обрывок лески, удивился он.
- У меня вчера оборвал, вяло улыбнулся Женя. Сели все трое. Закурили.
- Оказия, да и только, заговорил Андрей Петрович, в воде какая сила! А на берегу повял сразу, гляди и окраска жухнет.

Таймень медленно согнулся и вдруг выпрямился стальной пружиной, описал в воздухе пологую дугу, плюхнулся на галечник. Второй прыжок – и... только буруны пошли по воде.

Вскочили, как по команде, не решаясь постичь случившееся. Женя закрыл лицо руками, безвольно опустился на землю и заплакал навзрыд.

- Да, кряхтел Андрей Петрович. Подсел к Яковлеву, не зная, как успокоить. Коробов потоптался и тоже сел с другой стороны.
- Главное, что поймал ты его, заговорил он, сумел, понимаешь... И себе и нам радость... А что упрыгал... совсем не главное...
- Верно, оживился Андрей Петрович, по себе знаю. Первее всего мастерство, азарт, победа. Все это у тебя было и есть, не отнимешь. Не уплыви таймень, что прибавилось бы? Да ничего. Пусть плавает Женькин таймень. Персональный Женькин таймень!
 - Поймает кто-нибудь, прошептал Женя, успокаиваясь.
- Ни в жизнь, заверил Петрович, другому не поймать. Да и таймень, думаю, поумнел.

Яковлев боялся, что над ним будут потешаться, и был благодарен друзьям. «Хрен с ним, — подумал он, — пусть резвится. Может, так даже лучше, а то при его, заразу, через горы и болота».

– Пошли рыбачить, – сказал Женя, вставая. Но сам в этот день почти не рыбачил. Зато терпеливо объяснял и показывал, как играть мушкой на струе и в тихой заводи, в каком месте стоит хариус утром, в дневную жару, вечером и ночью. Как выводить рыбину, чтобы не порвать мягких губ. Коробов легко перенимал уроки, а к концу дня пошло дело и у Петровича. Наконец и им подфартило выловить изрядных рыбин.

Рыбаков поубавилось. Каждое утро двое-трое уходили «торить тропу». Сегодня спозаранку ушел морячок с брательниками, рассчитывая до лютой жары выйти на перевал, отдохнуть и заночевать, а завтра по холодку идти дальше.

На завтра наметил выход и Андрей Петрович. Рыбы половили хорошо, радости — на целый год. Но ему хотелось поднабрать еще и брусницы, которую почитал первейшей ягодой и которой было на Биджуле красным-красно. Женя отказался: хоть бы самому выбраться. Сговорились с Коробовым насобирать ведерко и нести поочередно. Управились скоро и теперь нежились в прохладе тальников, у речки. На кустах сохли постирушки, в котелке остывал брусничный настой, на луговине разостлана для просушки одежда. Дни на Биджуле по-особому сблизили приятелей. Они по-прежнему не упускали случая подковырнуть друг друга, но хохотали все разом, с распахнутой душой.

- Коробок, тебе обед готовить. Шагай на камбуз.
- Не забыл. Окунусь еще разок и пойду.
- Застудишься, несмышленыш. Пьешь и то зубы ломит, прогундел Андрей Петрович из-за куста, где он скреб безопасной бритвой бороду.

Коробов, охая, шагнул раз-другой в омуток, плюхнулся в воду, взревел дико и вылетел на берег. Его тело сразу ощетинилось «гусиной кожей».

- Струмент запрятался пинцетом не найдешь, не выдержал Женя. Еще раза два окунешься, и жена прогонит.
- Ежели с понятием, не прогонит, Коробов надернул трусы и побежал готовить обед.

С вечера со старанием уложили рюкзаки. Они остались в прежнем весе: съели продукты, но прибавилась рыба. Рано отправились в дорогу. Даже завтракать не стали, чтобы до жары уйти подальше.

До подъема на перевал нести ведро с брусникой Андрей Петрович поручил Коробову, оставляя себе трудный участок. Иван Николаевич кинул за плечи рюкзак. Ведро с брусникой по верху обвязал тряпицей, приладил к нему прочную веревку и повесил на шею впереди себя.

– Для равновесия, – пошутил он.

В утреннюю прохладу, по росной траве шагалось легко. Чтобы не повторить ошибок, Андрей Петрович сам шел впереди, сдерживая «несмышленышей». Через каждый час до перевала приказывал снимать рюкзаки и отдыхать. Путь до перевала показался удивительно коротким, а смех веселой речушки Биджуль приятным. Взошло солнце, но тропу обступил хвойный лес, и в его тени держалась прохлада. Перед подъемом Андрей Петрович отобрал у Коробова ведро, хотя тот и возражал:

- Оно не так и тяжело, правда, веревкой шею режет. Понесу еще.
- Давай сюда. Перевал шуток не любит, силы беречь надо. В случае подменишь.

Прошли больше половины подъема, когда стало жарко. Сделали привал у бурного ключика, сели на камни. Здесь и нашел Иван Николаевич рукава от стежонки.

- Смотрите, совсем новенькие.
- Подбери для грузу, посоветовал Яковлев.

Коробов на минутку задумался, затем вдел один рукав в другой, отвязал от ведра с брусникой конец веревки и пропустил его через рукава.

– Шею резать не будет, – пояснил он.

До перевала попыхтели, но вышли к избушке довольные. Женя всю дорогу молчал и хмурился, а тут сразу повеселел. Дальнейший путь его не страшил.

- Еду бы сварить самое время, вздохнул он.
- Правильные слова, поддержал Андрей Петрович, но воды нет.
- Быть не может, чтобы избушку срубили на безводном месте, возразил Коробов и вскоре разыскал родник. Свежая, чуть подсоленная рыба на уху в дороге припасена еще с вечера. Коробов рубил дрова, Женя разводил костер, Андрей Петрович чистил картошку.

Куренячьи мозги, – вдруг хлопнул он ладонью по коленке,
век доживаю, а ума щепотка.

Приятели уставились на Петровича: «Неужели забыл что-то в бараке?» А он продолжал:

- Когда сюда шли, надо же было продукты на обратный путь у тропы припрятать. Вот эту картошку во второй раз на перевал подняли и еще нести для ужина до самого разъезда. Сто верст таскал ее, старый дурень, чтобы слопать там, откуда унес. Да разве только картошку!
- Я же говорил: мол, давайте оставим... подхватил Женя, но Андрей Петрович шутки не принял, махнул рукой и отвернулся.

До поезда было часа три, когда вконец усталые приятели вышли к безлюдному разъезду. Остановились, присматривая местечко, где бы отдохнуть и сгоношить ужин.

 Сюда рулите, – услышали он. Из-за кустов жимолости поднялся уже знакомый морячок, махнул рукой. – Рулите сюда, здесь причал подходящий.

Подошли. С облегчением сбросили груз и одежду. Брательники похрапывали, разметавшись во сне. Возле родничка – котелок с остуженным чаем, помытые миски и деревянные ложки. У потухшего костра — запас дров. На разостланной стежонке — транзисторный приемник. Место обжитое.

- Наконец люди пришли, заговорил матрос. Он кивнул в сторону родственников, а эти молчат, как консервированная камбала. Со скуки сдохнешь. Злишься молчат, шутишь молчат.
- И ты не любитель шуток. За булыжник хватаешься, поддел Женя.

Но матрос его уже не слушал. Он подошел к ведру и разглядывал рукава, даже пощупал их.

– На подъеме подобрал? – спросил у Коробова.

Иван Николаевич утвердительно кивнул.

- Мои. Отвязывай.

Коробов опешил.

- Вот чудак! Говорю, мои, матрос поднял с земли и показал растерянным приятелям фуфайку-стеганку без рукавов.
 - Как же они там оказались? удивился Иван Николаевич.

Женя охнул, свалился в траву, задыхаясь от смеха, чем еще больше удивил товарищей.

- Видно, что братишка с понятием, указал матрос на Женю, с трудом сохраняя серьезное выражение.
 - Объясни толком! возмутился Коробов.

Матрос сначала прыснул, потом захохотал, как чумовой, и лег рядом с Женей, уткнув ему голову в грудь. Хохотали до удушья. Притихнут. Взглянут друг на друга и растерянных товарищей – и снова задохнутся в смехе. Один из брательников сел, протер кулаками глаза, успокоился и опять лег. Матрос встал, пошатываясь, внес ясность.

- Чего объяснять? Когда к богу в гости поспешали на этот, будь он, перевал, думал, по новой пузыри пущу. Оторвал рукава и бросил. Руки и без них не замерзнут, а грузу меньше. Избушка же на перевале! Родственники покряхтели, но промолчали. Фуфайка-то ихняя. Пришить надо, пока дрыхнут. Иголка с ниткой всегда при мне.
- C тобой, парень, не затоскуешь, улыбался Андрей Петрович.
 - Чего же фуфайку не бросил? спросил Коробов.
- На сознательность твою не понадеялся, а вещь в каптерку сдавать, лениво отвечал моряк, ловко орудуя иголкой.

До поезда успели все: отдохнуть и ужин приготовить. Было сумеречно, свежо, но не холодно. И все же матрос надел фуфайку и разбудил родственников. Братья дружно встали, как и не спали вовсе, умылись в роднике, подсели к «столу». Вдруг один из них замер, не донося ложку до открытого рта. Он бегал глазами то на рукава стежонки, то на невозмутимое лицо матроса. Толкнул в бок брательника и кивнул на флотского. Тот сразу понял брата, вытаращил глаза... Хохот разорвал тишину и эхом покатился по вечерней тайге. Только матрос и глазом не моргнул.

— Чего уставились? Рукава, что ли? — притворно удивился он. — Сбегал за ними налегке, пока вы спали. Думаю: зачем людей в разор вводить?

Женя визжал, дрыгая ногами, Коробов зашелся и только всхлипывал, раскатисто хохотал Владимиров и все повторял:

– Ну, матрос!.. Ну, матрос!.. Вот холера!..

...Поезд пришел вовремя, через минуту тронулся и, набирая скорость, заторопился считать стыки рельсов.

г. Красноярск, 1980 г.

ЛИДКА

В мягкой голубизне неба млело самодовольное солнце, будто и пятен на нем нет, словно и не было многодневного ненастья. Широкогрудые кедры, прогонистые ели и лопушистые травы, купаясь в банной испарине, благодарно тянули зеленые лапы к небу, щедро одарившему влагой и теплом. Умытая, обласканная тайга в разноцветной раме пронзительно чистой радуги светилась каждой хвоинкой, каждым листочком.



Антона Дроздова мало порадовала эта благодать. Он выполз из-под пихты, хмуро огляделся, стряхивая сон. Его помятое лицо на миг посветлело, а затем стало сурово озабоченным. По коридору примятой травы спустился он к самой воде, отметил на вешке уровень, чертыхнулся: «Надо ж так влипнуть!»

...Дроздов приехал в Ольховку позднее обычного: задержка получилась с отпуском.

- Заявился-таки? Заждалися. Мешок-от сымай, засуетился дед Рыбаков. Чо долго не exaл?
 - Все дела, да случаи, Михайлыч. Не чаял вырваться.
- Всех делов не переделаешь... А в тайге нынче любодорого! Народилось богато и ягод, и грибов. В прежние годы с тобой увязался бы, – вздохнул старик.
 - И хариус ловится? спросил Дроздов.
- Ловится, должно. По весне вода высокая была, зашел харьюзок. Да и Лидка, сказывали, чуть свет на шивера утопала, а она, язви ее, заздря обутки колошматить не станет.
- На шивера дня на два и смотаюсь, а там поглядим, решил Дроздов.

За рыбной ловлей незаметно подступили сумерки. Только дождик заставил Антона искать укрытие.

Полнеба задернула черная туча, и быстро стемнело, когда приглядел он пихту для ночлега и угнездился на хвойной подстилке. Всю ночь хлестал ливень, сверкали молнии, рассекая чернильную темень, рокотал над перевалом и с треском лопался вблизи гром. Но ни одна капля не пробилась через пихтовый шатер, не потревожила Дроздова. К утру лавина дождя укатилась за Сыдинский перевал, оставив после себя затяжное ненастье.

Антон уложил рюкзак, накинул на голову капюшон плаща, спокойно двинулся в дорогу и... замер у спуска к воде. За ночь река вздулась, вышла из берегов, устремилась в пересохшую протоку и отгородила его на острове. Мутный поток, играючи, пер на спине прорву наносника и таежного хлама, коверкая затопленные тальники.

Метр за метром обследовал Дроздов берега в поисках брода... Пятый день отмечает на вешке уровень воды, а она почти не убывает.

Из края в край повисли над тайгой тучи, зацепившись за хребтины гор, и поливали то реденьким, то спорым дождем. Заголубеет просвет неба, выглянет солнышко, вселяя надежду, и снова укроется серым пологом. И питается Дроздов рыбой да ягодой, расходуя по сухарю в день.

Сегодня установилось, наконец, ведро. Небо очистилось, пригрело солнце, над распадком — полная радуга. «Надолго ли? Вдруг переменится», — невесело размышлял Антон. Он разжег костер, разогрел вчерашний чай, настоянный на чаге, испек рыбу в лопухе. Перекусив, взял удочку и побрел вниз острова, к яме. «Вплавь махануть? — в который раз прикидывал он. — Под корчи затащит. Дерево уронить бы поперек, но вдоль берега растет одна мелочь».

Антон размотал удочку, наживил червя, закинул в яму, сел на камень. В мутной воде рыба клюет редко. Но как-то надо же убивать время. Дроздов еще раз обшарил карманы в поисках махорки и безнадежно вздохнул...

За протокой залаяла собака, выскочила на берег. Следом вышел высокого роста сухопарый человек в плаще и сапогахболотниках. Сбоку у него – торба, в руке – удилище.

– Клюет? – спросил он.

Антон махнул рукой, отвернулся.

- К вечеру вода осветлеет будет брать, заверил рыбак.
 Он закурил, сел напротив Антона. Их разделяло метров двадцать.
- Как на остров перебрался? разматывая удочку, спросил рыбак.
- Ночевал тут, нехотя пояснил Антон, а ночью вода поднялась... Пятый день на острове. Последний сухарь догрыз и курева ни крошки.
- Растяпа! рыбак круто выругался. Броды откроются дня через три-четыре, и то ежели дожжа не будет.
 - Не лайся, огрызнулся Антон, без того тошно.
- Как не лаяться? Поди не первый день по тайге мотней трясешь: пора смекалку заиметь, рыбак снова выругался. Ладно... Жди. Я скоро.

Он снял торбу и плащ, сложил под кустом, приказал собаке: «Сидеть!» – и ушел. Часа через полтора вернулся со связкой веревок.

- Переплавляться будем, весело осклабился он. Топор есть?
 - А как же?
- Добро. Вон из той сухостоины выруби три бревнышка, скрепи салик. Я перекину конец веревки, им бревна и свяжешь. Второй конец захлестну на своем берегу, хотя бы за эту кедру. Соображаешь? Течение тебя и переправит.

Намучившись бездельем, Антон остервенело взялся за работу. Свалил сухостоину, расхряпал ее на три части, перенес на галечник. «Ну и медведюка!» – дивился рыбак. А вслух сказал:

– Держи конец... Обмотай покрепче, да ронжу поперек положи, чтобы бревна в кучу не съехались.



Антон опробовал салик, держит ли его вес, оттолкнулся с галечника. Веревка натянулась. Плот сначала медленно, затем все быстрее пошел из затишья к середине протоки, на самую стремнину. И вдруг течение подхватило салик, со страшной скоростью и силой кинуло его к берегу, с треском подминая затопленные

кусты. Плот встал на ребро. Антон опомнился, когда окунулся в жгуче-холодную воду и, разгребая руками тальники, выскочил на берег.

Рыбак хохотал, обнажив прокуренные зубы:

– Ласточкой перелетел!.. Сымай одежу. Я костер разведу. Не то живо хворь схватишь.

Дроздов снял с себя все до нитки, отжал воду, развесил по кустам одежду, подошел к костру в чем мать родила. Рыбак протянул ему свой плащ:

 Завернись. Посинел весь. Да и собака стесняется: она женской породы.

Антон стерпел насмешку. «Хрен с ним, – подумал он, присаживаясь к костру. – Вон из какой беды выручил».

На прощанье рыбак отсыпал Дроздову махорки, дал коробок спичек и горбушку хлеба.

Повеселевший Антон пожал ему руку, спросил:

- Кому спасибо говорить? Зовут как?
- Лидка.
- Лидка?.. Антон впервые пристально вгляделся в лицо рыбака и ахнул: «Баба!» Он неловко потоптался, кинул на плечо рюкзак, пошел, не оглядываясь. В перекате плескалась река, а Дроздову казалось, что за его спиной смеялась Лидка.

г. Красноярск, 1981 г.

HA BETPAX CEBEPA

Доцент Васин прилетел в Туруханск в мае пять лет назад для оказания помощи животноводам местного совхоза. Федор Павлович вышел тогда на пенсию, заимел массу свободного времени, ему обещали выплатить расходы, связанные с поездкой, и он охотно согласился. Предложение его даже обрадовало.

Занимаясь долгие годы педагогической, научной, большой общественной деятельностью, Васин привык чувствовать свою нужность людям, свою полезность существования, привык гордиться этой полезностью. И вдруг — полная ненужность, одиночество, пустота. Сначала изредка вспоминали о нем сотрудники,

ученики, а потом... До Туруханска три часа летного времени, не считая короткой посадки в Ангарске или в Подкаменной Тунгуске.

Васин в душе был художником, сносно рисовал и писал стихи, хотя публиковал их редко. В частых поездках по делам службы мог он часами простаивать у вагонного окна, любоваться пробегающими перелесками, болотцами, сосновыми борами и сожалеть, что редко удавалось выехать за город с этюдником или удочкой.

И на этот раз место в самолете, к радости Федора Павловича, оказалось у окна. ЯК-40 забрался на девяностокилометровую высоту, внизу открылась широкая панорама, постепенно тающая в далекой синеве, сливаясь с небом. День выдался погожим, разрозненные молочно-воздушные клочья облаков почти не закрывали землю.

Под крылом самолета плыли и плыли горы, пади и седловины со щетиной смешанного леса, большие и малые озера, причудливые кружева петляющих рек и речушек с кудрями кустарников по берегам. Проплывали мелкие деревушки, как на игрушечном макете, с неизменными прудами и полосками пашен.

По прямым, как стрелы, дорогам божьими коровками ползли автомобили. Кое-где в низинах забытыми простынями белели снега. Но все это было не похожим на то, что видел раньше Васин, пролетая над густонаселенными районами страны.

Чем дальше к северу, тем сильнее менялся рельеф и характер панорамы. Местность становилась равнинной, реже встречались поселки, исчезли поля, бесснежными оставались редкие проплешины и наконец — безбрежность снега и леса с бесчисленным множеством рек, озер и болот. На озерах лежал лед, они легко распознавались по четкому контуру леса, подступившего к берегам. Напротив, по краям болот лес постепенно редел и хирел. «Какая благодать для всякого зверья, птицы и рыбы, — подумал Васин и вздохнул. — Вот бы где порыбачить!»

Собрав дань ключей и речушек, реки вливались в царственно широкую ленту Енисея, его берега заметно раздвигались в стороны, а, приняв в свое лоно три многоводных Тунгуски, он обретал поистине богатырское величие.

Могучая река не шарахалась из стороны в сторону, как вихлястые таежные речки, а совершала плавные многокилометровые повороты, обходя возвышения и неся океану массу воды, собранную в Монголии, Туве и на трехтысячекилометровом пути по Красноярскому краю.

Лед на Енисее протаял пока только вдоль берегов, но таежные речки ожили, блестели проталинами и торопливо полнили его вешней водой. Днями река взломает зимний покров.

Туруханск

Туруханск разместился на правом высоком берегу Енисея на устье Нижней Тунгуски и открыт всем ветрам и непогодам.

В порту Васина встретил шофер директора совхоза, отвез его в гостиницу и сказал:

– Отдыхайте. Завтра в девять утра за вами заеду.

Теоретический багаж и практический опыт позволили Васину быстро вникнуть в систему здешнего животноводства и внести полезные предложения, которые он изложил письменно, а также на совещании специалистов при директоре. Кроме того, провел серию бесед с животноводами на обоих отделениях.

С тех пор у Федора Павловича установились деловые и дружественные отношения с руководством совхоза, которое считало, что в успехах животноводческой отрасли, а они значительны, заслуга и Васина. Он дважды в году прилетал в Туруханск, продолжал научные консультации, а ему выплачивали командировочные и обычно обеспечивали возможность порыбачить. На том и ладили.

Туруханск, поселок геологов, охотников и рыбаков, захламлен и неблагоустроен, хотя является центром обширного, больше любого европейского государства, и богатейшего северного района. Дома — больше деревянные, одноэтажные — бараки, лачуги, сараи, клети, раскиданные как попадя, будто их то насыпали горстями, то расшвыривали россыпью с огрехами, — чуть не весь год до макушки засыпаны сугробами.

Жители прокладывали тропы через снежные завалы, порой на уровне крыш, к магазинам, школе, детсадам, к месту работы. В бураны и метели, что здесь обычны, люди брели навстречу ветру,

склоняясь до земли, или откидывались назад, сдерживая напор урагана в спину, и осторожно нащупывали ногами занесенную снегом тропу. Оступиться с нее значило ухнуть в сугроб по пояс, а то и выше, и выбраться снова на узкую тропинку будет не просто.

А с середины мая до сентябрьских заморозков в путаном лабиринте поселка кучи щепы, опила, неубранных стройматериалов и разного хлама, непролазная грязь и непросыхающие лужи, через которые можно пробраться только в резиновых сапогах.

Среди поселка кучками и в одиночку темнели обтрепанные ветрами ели, а вплотную к окраинным постройкам подступал низкорослый, полукарликовый лес. Даже лиственницы и кедры в здешних лесах редко имели у комля толщину более 10-12 сантиметров, так что кедровые шишки можно доставать руками с земли, как яблоки в саду.

В центре поселка (административном центре) несколько улочек можно назвать улицами. Здесь и дома поаккуратнее, и выстроились они в два порядка, и вдоль них проложены тротуары, местами из бетонных плит. На этих улицах есть и зеленые насаждения из березок и лиственниц, и сугробы разгребают бульдозерами для проезда транспорта.

В центре поселка – магазины, школа, гостиница, дворец культуры примитивного сооружения и, конечно, учреждения районной партийной и советской власти.

Здесь же действительно современный мемориал в память туруханцев, погибших в борьбе с фашизмом, который местные власти едва удосужились соорудить к 45-летию Великой Победы.

Авиационная связь Туруханска с внешним миром и внутри района — единственный транспорт в долгие зимы — ненадежен изза сумасшедших условий погоды. Основные грузы забрасывали сюда и вывозили отсюда за два-три летних месяца водным путем.

На территории района единственная автодорога длиной в двадцать километров от райцентра до Селиванихи (отделение Туруханского совхоза). Транспорт местного населения — зимой лыжи и «бураны», летом моторные лодки. Многие имеют мотоциклы и легковые автомобили, однако маршруты на них ограничены поселком и указанной выше дорогой.

В Туруханске каждый житель в какой-то мере охотник и рыбак, независимо от основной должности, поэтому количество собак в поселке, вероятно, равняется численности населения.

В любое время года, при любой погоде лежали собаки возле своих дворов на возвышении сугробов, на тротуарах, крылечках, поленницах, а то бродили ватагами по поселку, решая свои собачьи проблемы. Людей облаивали только молодые собачки — несмышленыши, стремясь, похоже, утвердить себя среди родичей: и мы, мол, не лыком шиты. Взрослые псы и суки — крупные, лохматые, знающие себе цену — на прохожих не обращали внимания, в случае необходимости, сохраняя степенность и достоинство, уступали дорогу.

В мае погода здесь капризна и норовиста, в любой час может преподнести непредсказуемый выверт. Обычно столбик термометра пляшет от плюс десяти градусов днем до минус двадцати ночью. Если же потянет с севера ветер-резун, температура падает до минус тридцати, и непременно быть такому бурану, что поселок буквально тонет в белоснежной мути, иногда на несколько дней. Тогда даже видавшие виды здешние собаки убираются в закути и, свернувшись в укромном углу, прячут носы в своей дремучей шубе.

Что влекло сюда людей и что удерживало их в этом полуаду? Только ли высокий северный коэффициент к зарплате?..

На реке Летней

В мае геологи попутным рейсом забросили на речку Летнюю пятерых рыбаков, в их числе Васина и его туруханских друзей: Громова — мужика грузного, двухметровой высоты, и Вакурова — кряжистого, плотного, веселого и громогласного уроженца Севера.

День выдался, как подарок, ясный, по-летнему пронзительно солнечный. На фарфорово-голубом блюдце неба — ни мазочка облаков, чистые, непотревоженные снега сияли тысячами лучиков, как вороха мелкобитого хрусталя — без темных очков глазам больно! И ни ветерочка, словно в околдованном царстве. Тишина, покой, бездна снегов, тепла и света.

По обе стороны реки выстроились разновеликие лиственницы, раскинув узловатые бородавчатые руки, перекореженные и перекрученные зимней стужей и ветрами, и жадно вбирали привалившее тепло. От стволов, вибрируя, поднималась испарина. Одновременная реальность несовместимых контрастов — сугробы нетронутых снегов и июльская теплынь — поражала неправдоподобным великолепием. Берега поднимались крутобокими, иногда отвесными наметами снегов, а на реке снега почти не было. Зимой мелководье таежных рек часто «перехватывали» морозы или забивала ледяная крошка, вода поднималась и шла верхом, смывая снег и наращивая толщу льда. Передвигаться по руслу в границах берегов было легко, что создавало немалое удобство рыболовам.

Солнце припекало так, что Федор Павлович снял пальто, пиджак и свитер, а Иван Громов и Саша Вакуров поснимали рубахи и майки для загара. Оба они страстные рыболовы.

Впрочем, в Туруханске все рыболовы, и не только мужское население, правда, все же с промысловым уклоном.

Когда извлекли из рюкзаков рыбацкие снасти, Васин усомнился в успехе всего предприятия. На полуоструганные палки с вколоченными гвоздями вместо мотовилец намотаны лески толщиной 0,4-0,5 миллиметра, привязаны блесны с мизинец, и на крючки прицеплены кусочки розоватого поролона, и люди собрались ловить хариусов!

Васин знал, что даже летом на саянских реках ставят леску не толще 0,25-0,3, а зимой -0,2 или 0,15 миллиметра (зимой рыба малоактивна). Но, увидев удочку Васина, Вакуров не расхохотался только из вежливости, однако сказал:

 Федор Павлович, на вашу удочку ловить только пескарей и ельчиков. Возьмите, у меня есть запасная.

Васин нехотя убрал хитроумные обманки в рюкзак и взял удочку Вакурова. Просверлили первые лунки. Между льдом и дном реки — четверть метра! «Кроме гольянов вряд ли кто здесь водится»,- подумал Федор Павлович, запуская блесну под лед. Вдруг Громов выволок килограммового хариуса. Черного, глазастого, со спинным плавником с ладонь! Сразу же второго... Рыбины забились возле лунок других рыбаков. У Васина пусто. Он просверлил новую лунку и только запустил снасть — рывок!

Сердце рыбака екнуло и заныло. Рыба зверски сопротивлялась, метаясь подо льдом и не желая входить в горловину лунки. Тут и пригодилась надежная леска. Стесненная ледяным коридором, рыба пошла легче. Сначала взбурлив, выплеснулась зеленоватая вода, и, как обгорелое полено, растопырив пятнистые плавники и жаберные крышки, вылетел хариус, сияя на солнце каждой чешуйкой. Васин метнулся в сторону, присел на корточки и не верил глазам. За многолетние скитания по саянским, особенно тувинским рекам вылавливать такого черта ему не приходилось.

Федор Павлович переждал, пока руки перестали вздрагивать, успокоился и снова взялся за удочку. До обеда поймал он полтора десятка крупных рыбин, правда, помельче первой. После обеда напал он на ямку и достал из нее красавцев — один увесистее другого. Вытащил даже ленка. Конечно, для красноярца, живущего на многоводной, но переиспоганенной реке, не избалованного речными (и не только речными!) деликатесами, и пойманная рыба чего-то стоит. Но ничем не измерить то удовольствие, те минуты волнения и восторга, какие испытывает подлинный рыболов-любитель (не промысловик!), выуживая крупнякахариуса.

Товарищи Васина далеко разбрелись по реке, а он все крутился у ближних лунок, опять и опять возвращаясь на заветную ямку. Неожиданно лед под ним глухо охнул, и Васин оказался по колено в крошеве льда и воды. Черпанул в оба сапога. Когда сверлил лунки, видел же, что под верхней коркой льда — наледь. За день корка размякла, стала проседать. Нужно было развернуть голенища болотников, но... увлекся.

Вскоре сырость в сапогах просочилась до самых пальцев, а поверхностный лед стал проваливаться чаще и чаще, пока не раскис совершенно. Так и бродил Васин по студеной воде с мокрыми ногами.

Задолго до вечера похолодало. Запорошил снежок, все густея, и закрыл солнце подвижной пеленой.

Сначала едва-едва, потом все забористее и привольнее по простору реки загулял ветер, набирая беспричинную злость. Укрыться от него совсем негде. По телу Федора Павловича снизу доверху прошла волна озноба. Ледяная вода через резиновую стенку сапог и пронизывающий ветер скоро доняли Васина так,

что его колотил внутренний противный озноб уже непрерывно. Клев прекратился.

Смотав удочки, все собрались возле рюкзаков. Запасных носков или портянок ни у кого не оказалось, да они, по-доброму, и не нужны. Иван Громов накинул на Васина свой плащ, доходивший Федору Павловичу до самых пяток. Стало ему, вроде, легче, но из-за коченеющих ног он не мог согреться. Кажется, куда проще — развести костер и обсушиться. Но до леса добираться метров пятьдесят по рыхлому снегу трехметровой глубины и без лыж — занятие почти безнадежное. Оставалось ждать. Темнело. Мороз и ветер крепчали, вертолет опаздывал уже часа на три, видимо, что-то случилось. Решили готовиться к ночлегу.

Там, где лес ближе подступал к руслу, сугробы неприступно крутые, а где берега отлогие, лес далеко. На пологом участке начали проминать тропу к спасительному лесу. Другого выхода не было. Сначала коридор получался почти в рост человека, затем мороз, укрепляющий наст, стал помощником. При осторожном притаптывании снег проседал не больше метра и держал тяжесть человека. До леса было еще далековато, вдруг Саша Вакуров нашарил под снегом дерево, видимо, принесенное еще весенним половодьем. Дерево большое, суковатое.

– Ура! Будет костер! – закричал он. – Несите топор.

Рев моторов услышали, когда вертолет завис над рюкзаками, видимо, шел он низом, высматривая местность сквозь снежную завесу. А костер так и не успели развести.

На посадку Васина вели под руки, занемевшие ноги не слушались хозяина. Был он тогда уверен, что пневмонии, если не хуже, ему не избежать, а не схватил и насморка. Видимо, сработал тот психологический заряд, который он щедро получил на удивительной рыбалке.

Позднее все забылось: и коченеющие ноги, до ломоты стиснутые холодными сапогами, и судорожная дрожь каждой клетки тела, будто Васина окатывали ледяной водой, и стиснутые зубы до боли в черепе. Не забылось чудо — Летняя! Каждый раз при воспоминании о ней не только живо вставала перед глазами сказочная картина того праздничного солнечного дня, не только отчетливо виделись характерные металлические переливы чеканной чешуи и мельчайшие подробности упругого тела рыбины, но

руки физически ощущали толчок поклевки и живую тяжесть сопротивления стремительного красавца шальных сибирских рек. Эти воспоминания вызывали прилив сил и помогали одолевать невзгоды. Иногда Федор Павлович умышленно вызывал воспоминания о рыбалке на Летней для поправки настроения.

Недаром мудрецы древности будто бы говорили, мол, время, проведенное на охоте и рыбной ловле, в срок жизни не включается. Во всяком случае, Васин был уверен, что приятные эмоции, в частности на удачной рыбной ловле, усиливают стойкость к заболеваниям. На этот счет имел он массу убедительных примеров. Например, в прошлом году, тоже в мае, закончив дела в совхозе, Федор Павлович собрался в Красноярск, но Громов и Вакуров уговорили его на последний лов зубатки — у них два свободных дня, у Васина время вообще не ограничено.

За зубаткой

Зубатка, некрупная морская рыбешка, в Енисей заходит на икромет рано весной большими косяками. На ее лов к постоянным местам нерестилищ устремляются сотни рыбаков из разных уголков Севера, образуя на льду сообщества — норильчане, дудинцы, снегогорцы, туруханцы. Улетают одни, прилетают другие. Туруханцы обычно ловят зубатку напротив бывших приенисейских деревушек — Горошихи и Полой, возле них есть курьи со слабым течением. Уловистые места на обширной курье (несколько квадратных километров) легко найти по кострищам, брошенным продуктам, бутылкам, загаженному льду. В таком месте и лунки насверлены на каждом шагу. Рыбьи косяки почему-то идут по курье ходом, задерживаясь на какое-то время на определенных участках. Шастая по льду, рыбаки обнаруживают их и потом базируются группами на посещаемых косяками местах.

Вертолет, переполненный людьми и имуществом, опустился на лед у Полой (где-то в районе Курейки). От трапа люди сразу устремились к ближайшему замусоренному участку занимать лунки. Васину, как менее проворному, лунка здесь не досталась, а сверлить новую — дело трудное (полтора метра!). Он сел на некотором удалении на одиночную лунку, прицепил на блесенки по кусочку зубатки (полуизрезанные рыбешки валялись на льду),

запустил под лед и... сразу поклевка. В течение часа Федор Павлович только успевал наматывать леску, отцеплять рыбок и запускать снасть, часто ловились сразу две рыбки. К нему сбежались рыбаки, обсели кругом, заскрипели ледобуры (близко лунок не оказалось), а зубатка почему-то дико брала только у Васина, на долю остальных выпадали редкие поклевки. Какой-то парень в сдвинутой на затылок ушанке остановился против Федора Павловича, постоял и сказал с завистью:

- Во дает, мать негодница!
- Як с кладовки, покачал головой хмурый бородач. А в мени пусто.

Слышались и соленые словечки, а Федор Павлович продолжал таскать серебристых рыбок. Или он успел очень точно нащупать глубину спуска (в «полводы»), или его блесенки «играли» по-особенному, сказать трудно. Вдруг клев прекратился. Косяк ушел.

В это время кто-то на дальнем краю участка замахал руками, вытаскивая рыбу, волна рыбаков хлынула туда. Масса людей в течение дня перекатывалась с поспешностью необыкновенной с одного места на другое, едва завидя у кого-то клев. И это оправдывалось, каждый успевал ухватить с десяток рыбок. Васин упорно сидел на «своей» лунке, будто примерз. Разве угнаться ему за здоровыми молодыми мужиками? Он собрал рыбу в мешок, попытался сосчитать рыбок, но, насчитав пятьдесят, сбился. На его удочку еще раза два натыкались небольшие косячки, и снова его облепляли проворные рыболовы. День был хмурым, неморозным, ветер незлым, но под ногами не ковер, а лед. Стало зябко. Поэтому и Федор Павлович предпринял две бесполезных перебежки, лунок ему каждый раз не доставалось. Он вернулся на прежнюю.

Совсем некстати, без разбега, налетел шквальный ветер с дождем и снегом. Со льда поднял всякий хлам – обрывки бумаги и пленки, куски картона и фанеры, у многих сорвало палатки, люди бросились их закреплять. А у Васина сумасшедший клев. Ветер разбрасывал рыбок по льду, леска то и дело путалась, а рыбешки хапали с лету. Только Федор Павлович привстал, чтобы отцепить леску, застрявшую между льдинок, ветер, будто караулил момент, набросился с дурацкой силой, понес в сторону

складной стульчик. Васин догнал его, вернулся к лунке тяжело дыша, плотно придавил сидение и, обернувшись спиной к ветру, начал снова таскать серебристых зубаток. Все одежки на спине промокли до живого тела, от мокрого стульчика промокли и другие места. Рыба продолжала очумело клевать, и Васин не мог оторваться от лунки. Большинство рыбаков попряталось в укрытия, остались самые заядлые, и те завернулись в полиэтиленовые пленки. Прибежал Саша Вакуров:

- Федор Павлович, идемте в палатку. Мы чай вскипятили и разогрели консервы.
- Иду, Васин почувствовал вдруг, что страшно промерз.
 Даже губы плохо слушались.

Громов и Вакуров настелили в палатке доски, куски фанеры и картона, собранные вокруг, все это покрыли брезентом, чтобы спать не на льду. Выпив по кружке горячего чая и перекусив, трое мужиков в зимней одежде (впрочем, Федор Павлович в демисезонном пальто) втиснулись в двухместную палатку, вместившись только боком. Васина положили в середину. Снилось ему, что лежал он в ванне с холодной водой, а вылезти из нее как ни пытался – не мог. Между тем Федор Павлович чувствовал, что подошвы ног уже примерзли к чугунной стенке ванны. «Если примерзнет бок ко дну, – думал Васин, – тогда все». Он собрался и со всей силой рванул на себя ноги и... проснулся. Одежда на нем просохла, но правый бок озяб от однообразия позы и енисейского льда, ноги, казалось, совсем окоченели.

Федор Павлович с трудом выбрался из палатки, стараясь не разбудить друзей. Все тело болело и плохо слушалось, от холода не дрожала только голова. Васин несколько раз обошел палатку, разминаясь. Мучили зевота и озноб, который теперь пробегал от головы до ног. Часы показывали без четверти четыре. На льду пустынно. Местами скупо горели костры или «шмели» (походный примус), возле них сидя и лежа, подмостив что подвернулось, дремали люди, не имеющие палаток. Одиноко, как привидения, вдали маячили ловцы налимов, однообразно и вяло дергая сверхнадежную снасть. «Так и окоченеть можно,- подумал Васин, силясь сдержать озноб,- морозит, а до утра еще...» Он обошел с десяток лунок, чтобы занять себя. Ни одной поклевки, зацепился только ерш от самого дна, толстый, икряной, скользкий. Васин

попытался еще поспать. Он залез в палатку, безбожно зевал, а уснуть не мог. Холодно. Не верилось, что сумел, по сути, на голом льду, проспать больше трех часов. Громов и Вакуров храпели, будто соревнуясь. «Насквозь простудился», — ворчал Васин про себя. Помучавшись, он снова выполз наружу, побегал рысцой, сходил к ближайшему костерку.

Часов с семи пошел снег. Дул ветер с порывами, не слабел мороз. Рыба клевала вяло, изредка. Рыбаки бродили от лунки к лунке в поисках косяков, но без прежнего энтузиазма. Видимо, ночевка на льду остудила их пыл. Проснулись Вакуров и Громов. На остатках керосина они вскипятили чайник. Обжигая губы, Васин выпил полную кружку с сахаром внакладку.

- Кажется, согреваюсь, улыбнулся он и отправился к своей лунке. По соседству сели Саша и Иван.
- Вчера сколько поймали, Федор Павлович? спросил Громов.
- Штук сто или чуть больше, ответил Васин. А сегодня всего десятка два.
 - Сегодня клева не будет, заверил Вакуров.
- И вертолет не прилетит, продолжил Громов. Погода-то вовсе свихнулась.

Действительно, хотя мороз стал помягче, ветер нес прорву снега, мгновенно превращая людей, сидящих над лунками, в неуклюжих снеговиков. «Перспектива не из веселых, – подумал Васин, – на льду еще ночку». Он уже знал, что были случаи, когда рыбаки ждали вертолет по нескольку дней.

Вопреки мрачным прогнозам Громова, вертолетчики прорвались сквозь снеговую завесу и ровно в двенадцать, как намечалось, их машина, широко раскинув крылья, красной птицей застыла у самого льда...

И в этот раз Васина, промерзшего до каждой косточки персонально, миновали пневмония, грипп, кашель и даже насморк. Лишь слегка обметало губы. Грубые материалисты убеждены в чудодейственной силе ста граммов, которые принял Федор Павлович перед сном. В данном случае Васин не полностью отрицал положительное влияние спиртоводочных изделий, но считал, что главное — в удачливой рыбалке, она, мол, не только улучшает настроение, она — источник здоровья, выносливости.

О ловле зубатки Федор Павлович написал оптимистические стихи, что были опубликованы в районной газете. Вот они.

В мае самый лов зубатки.

У Горошихи палатки На реке вразброс и в ряд Разноцветием пестрят,

И блестят на солнце груды Рыбы и стеклопосуды. Рядом крутится народ, Как весной водоворот.

Это рыщут рыбаки, Ищут рыбьи косяки. Рыбы нет, ушла куда-то. Вместе сходятся ребята Для сугреву и с устатку, За улов и за зубатку, За надежные поклевки Разливают поллитровки.

Не спеша жуют краюшку, Пирожок или ватрушку. Озираются вокруг, Жадно ждут чего-то... Вдруг Рыбку выудил старик!

Все бегут к нему и в крик: «Подошла! Пошла, ребятки, Торопись имать зубатки!» Темной тучей налетели, Старика кругом обсели, И пошла, пошла работа: Сразу по две ловит кто-то, Кто-то леску спутал, мать Начал громко поминать.

А зубатка ошалело, Что ни кинь, хватает смело: Глаз ее, ее бочок И совсем пустой крючок. Женщины с мужицкой хваткой Тоже дергают зубатку. Дикий клев недолго длится, Но у лунок серебрится Ворох рыбы там и тут За каких-то пять минут, И по всей курье приречной Свежий запах огуречный.*

Вот косяк своей дорогой Прокатился. Понемногу На реке утихли страсти.

Рыбаки сломали снасти, Разбрелись, и в одиночку, Но над лунками, как квочки, В тайных таинствах реки Поджидают косяки.

> Верят, к ночи иль к обеду, Может, завтра, может, в среду Кто-то крикнет: «Эй, ребятки! Подошел косяк зубатки»...

...К ночи прибыл вертолет, К трапу кинулся народ. А на льду (подумать страшно, Как живем мы бесшабашно!) – Всякий хлам: штаны, портянки, Ящики, бутылки, склянки И, пока хватает глаз, Продовольственный припас: Булки хлеба, сушки, плюшки, Макароны, постряпушки.

> Вермишель, крупа, галеты, Тут же брошены котлеты, Банки вскрытые тушенки... В бога, в душу, в перепонки!!!

Люди были здесь иль стадо? Полно. Хмуриться не надо. Тем припасом, может быть, Семью можно год кормить.

Пусть хотя бы, для примера, Старика-пенсионера. У него всего достатка
Часто пенсии тридцатка.
Ввозим мы из-за границы
Сотни тысяч тонн пшеницы,
Может, платим из кармана
У того же ветерана.
Но швыряет стар и мал

Но швыряет стар и мал Хлеб – начало всех начал!

г. Красноярск

В ТУНДРЕ

Без конца и края раскинулась тундра, на долгие зимние месяцы покрытая белым-белым снегом. Легкой тенью промелькнет песец, вспугнет стаю белых куропаток, и опять кругом пустынно и тихо. Широка тундра. Бесчисленные оленьи стада кочуют по ее широким просторам и отыскивают корм — ягель, разрывая снег копытами.

Много лет пасет колхозных оленей искусный охотник и опытный оленевод Сеня. На сотни километров вокруг знает он каждый кустик. Нет такого ручья в тундре, нет такого лесочка, где бы ни ставил он свой чум. Только вчера Сеня с внуком прикочевал к Большой реке: здесь много ягеля, олени будут сыты.

Обходя вечером стада оленей, Сеня обнаружил за кустарником волчьи следы. Волки прошли цепочкой след в след с подветренной стороны.

– Та же стая, – сказал старик внуку. – Ночью опять нападут.

Вторую неделю неотступно идут за стадом волки. Десятки оленей задушили они за это время, а больше того разогнали по тундре. Теперь хищники пришли к Большой реке.

Всю ночь не смыкали глаз дед и внук, охраняя оленей. Зорко всматривались они в темноту, готовые послать меткую пулю. И все-таки волки выждали момент, ворвались в стадо и отбили одну олениху.

^{*} Зубатка сильно пахнет свежим огурцом.

С горящими от ужаса глазами стрелой понеслась испуганная олениха по тундре. Белые струйки пара со свистом вырывались из расширенных ноздрей.

Но волки с каждой минутой настигали ее, охватывая кольцом. Вдруг матерый волк сделал огромный прыжок, догнал олениху и, вцепившись клыками, повис на ней. Предсмертный крик пронзил ночную темноту, и все стихло. На утро только кости остались на месте пиршества хищников.

Нужно было вызывать самолет, но Сеня боялся отпускать внука в дальнюю дорогу. Правда, внук отличный каюр и меткий стрелок, но ему всего двенадцать лет. Мало ли что может случиться в пути.

– Однако ехать надо, – вздохнул старик.

Он внимательно осмотрел нарты и упряжь, подробно рассказал дорогу. И укатил внук на паре сильных оленей вверх по Большой реке.

Только на второй день пути маленький каюр увидел поселок и самолеты на широкой ровной площадке. Он рассказал о беде. Летчик отметил на карте красный кружочек и обещал помочь горю. Мальчик накормил оленей, отдохнул и пустился в обратный путь.

Ночью волки заели еще трех оленей. Сеня ходил сердитый и молчаливый. Вдруг до его слуха долетел гул. А вскоре увидел он и знакомый самолет «Ил». Радостная улыбка озарила морщинистое лицо старика: «Значит, доехал внук».

Далеко ушли волки и, чувствуя себя в полной безопасности, разместились в прибрежном ивняке на отдых. Но вот они вскочили на ноги и навострили уши: от горизонта со страшным ревом летела на них большая птица. Старый волк, вожак стаи, перемахнул через кустарник и бросился бежать. Вся стая последовала за ним.

Растянувшись цепочкой, мчались они со скоростью курьерского поезда. Но зеленоватая птица с растопыренными лапами легко догнала заднего волка и снизилась над ним. В ту же минуту сверкнула молния, ударил гром, и волк, перевернувшись, остался лежать с пробитым черепом. Вожак слышал, как позади него одного за другим перебила птица всех волков и теперь гналась за

ним. Вдруг он остановился и прыгнул навстречу птице. Но, сраженный картечью, упал замертво.

Подъезжая к берегам Большой реки, маленький охотник издалека увидел самолет около чума. Мальчика приветливо встретили дедушка Сеня, знакомый летчик и высокий охотник — стрелок. Около самолета рядком лежали восемь мертвых волков.

Давно не было так спокойно на сердце у старого оленевода Сени. Можно, наконец, ночью спать, а днем ловить рыбу в Большой реке. Волков больше нет. Корма оленям много.

Через три дня опять прилетел самолет. Но Сеня поднял над головой флаг, что означало: у нас спокойно.

Самолет качнул на прощанье крыльями, развернулся и скрылся за горизонтом.

Без конца и края раскинулась тундра.

г. Красноярск

ТРУДНАЯ ЗИМОВКА

Овцесовхоз первым закончил сев. В других хозяйствах района полным ходом шли посевные работы, и ночью в поле гудели трактора, резали податливую темень желтыми лучами фар. А полеводы овцесовхоза ходили именинниками, радовались первым иголочкам всходов, что проклюнулись только вчера, а сегодня на южных склонах уже издали заметны зеленоватые полоски на темно-сером фоне полей. Теперь бы дождичек, и шелковистые зеленя укутают землю изумрудно-бархатным покрывалом.

Дождик! Дождичек! Во все времена ратай и хлебороб с надеждой и отчаянием ждали этого живительного чуда. Когда-то молили бога, позднее украдкой его поругивали, затем бранили в открытую. Наш современник слушает прогноз погоды по радио и безбожно проклинает метеослужбу, будто это она распоряжается дождями.

А дождя не было. Переменчива звезда землевладельца! За целый месяц на поля овцесовхоза не упало ни капли. Одуревшее солнце с утра до вечера, изо дня в день накаляло почву. Побурела молодая трава даже в затененных оврагах. Пепельно-серая земля,

как огромная сковорода, сама излучала губительный зной, не остывая и ночью. Разлохмаченные вороны неподвижно сидели с раскрытыми клювами. Осоловелые куры валялись в тени, вытянув ноги...

Не успев окрепнуть, завяли, высохли всходы.

Катастрофу довершила черная буря. Суховейные ветра в начале лета обычны в этих местах. Они не так опасны, если успеет укорениться зелень. На этот раз, будто по злому умыслу, совпали все предпосылки для разрушительной работы ветра.

Хотя и теплилась какая-то надежда, приближения беды ждали и заметили ее сразу. Сначала потемнела южная полоска неба у самого горизонта. Она быстро густела и ширилась в стороны и в высоту неровными контурами, как пятно черной туши на чистом листе мокрой бумаги. Скоро пятно размахнулось в полнеба и надвигалось фиолетово-грязной косматой стеной. Испуганные вороны заполошным роем шарахнулись с открытых полей и заборов в кустарники и овраги. Куры бестолково метались у забора в поисках лазейки во двор. Люди загоняли скотину, закрывали ставни. Поджав хвосты, собаки юркнули в свои закутки. На весь поселок визжал подсвинок, застрявший в подворотне, пока не пробился внутрь двора...

Наступила зловещая тишина. Давящая, физически ощутимая. Казалось, горячий спрессованный воздух, все уплотняясь, вот- вот раздавит своей тяжестью дома и постройки. А бесформенно-грозная стена, утробно клокоча, заполонив землю и небо, катилась уже по полям овцесовхоза.

Над конторой центральной усадьбы едва приметно дрогнул флаг. В то же мгновение рванулся он в сторону, заметался язычком пламени и утонул в черном месиве...

Ураган рухнул обвалом. Сотни тонн пыли поднял он в сухой раскаленный воздух и, крутя в столбах смерчей, нес ее с воем и свистом, ломая деревья, срывая крыши, опрокидывая повозки, захваченные в пути. Понизу с визгом летела картечь галечника и камней, а с ней щепки, обломки досок и целые поленья.

По земле катились пустые бочки, ведра и разный хлам. Сила ветра иногда слабела. Но через миг налетала новая, более ярая волна, подхватывала с земли комья и камни, швыряла в заборы, в

ставни, ворота, или, ввинчивая в штопор, поднимала их высоко и сверху сыпала бронебойным градом.

Двое суток бесилась черная буря. Двое суток стояла сплошная ночь. Все живое попряталось в овраги, в норы, в дома. В избах не гасили керосиновых ламп и свечей. Электричества не было. Редкие машины пробирались на ощупь с зажженными фарами. Горячая тонкая пыль проникала всюду, не давая дышать...

К исходу третьего дня, неся избавление от черного ада, пошел дождь.

- ...Выяснив общую картину бедствия, Гордеев созвал совещание. Не поднимая глаз на собравшихся, он заговорил глухо:
- Обстановка, товарищи, такая: со многих кошар и сараев сорваны крыши. Нарушена электросеть, телефонная связь. Человеческих жертв нет. Так что эти беды поправимы. Но полностью погибла треть посевов. На остальной площади всходы, может, и выправятся, но урожай будет плохим. Кое-где на увалах снесен и пахотный горизонт. Такой бури не помнят старики... Что будем делать? Алексей Семенович, Гордеев оторвал, наконец, глаза от стола, взглянул на Миронова, тебе слово. Нужны конкретные предложения.

Миронов в совхозе работал давно, а полгода назад назначен главным агрономом. Ему под сорок. Он энергичен и деятелен, но несколько не собран и суетлив, возможно, оттого, что не успел свыкнуться с новым положением.

– Какие могут предложения, Андрей Павлович? – заволновался он. – Сами знаете, семена и почву подготовили, сев провели, как гритца, в оптимальные сроки. Какие всходы наметились!.. В районе об этом знают, и претензий к нам нет. А теперь чего же?.. Посевы спишут... по закону... Планы продажи зерна снимут... Какие тут предложения? Будем убирать, как гритца, что нарастет. Вины нашей нету.

Гордеев взглядом предложил высказаться Александру Ивановичу. До Пыжова место главного зоотехника долго пустовало, директор хлебанул лиха и его приезду обрадовался. И вот седьмой год работают вместе, дружат семьями. Александр Иванович с первых дней вопросы животноводства как-то незаметно забрал в свои руки и решал их самостоятельно. Директор не препятствовал. Ценило Пыжова и районное руководство. Опасался Гордеев,

что заберут скоро Александра Ивановича из совхоза на повышение.

– Трое суток овец и скот не кормили и не поили. Подкармливали только остатками соломы, – начал Пыжов, тяжело поднимаясь и опираясь на палку. – Конечно, резко упали удои и привесы. Эти потери легко восполнить.

Он задумался, собираясь с мыслями, и продолжил, чеканя слова:

- Но сейчас вопрос первейшей важности спасти животноводство в предстоящую зимовку от бескормицы и гибели. Чем будем кормить стотысячное поголовье? Актами на списанные посевы?
 - Что предлагаешь?- осторожно перебил Гордеев.
- Предлагаю все площади, подлежащие списанию, пересеять немедленно однолетними травами. Зерна не получим так и так, а сена и силоса можно заготовить даже больше, чем в прошлые годы. Вот расчеты, Пыжов положил на стол директора исписанные листочки. Предлагаю, кроме того, просить райисполком о выделении нам сенокосов из резервов областного лесфонда. В противном случае зимняя бескормица отбросит экономику хозяйства лет на десять назад.

Пыжов сел.

Наступила долгая пауза.

– Ондрей Палыч, дозволь мне сказать, – попросил управляющий первым отделением Филатов.

Гордеев кивнул.

– Буря эта, будем говорить, боле всего сотворила беды нашему отделению. Однако летнюю пору как-то промытарим. Землю водой, будем говорить, сполоснуло, и трава днями оклемается. А зимой, будем говорить, крышка всему поголовью. Ежели судить по-хозяйски, кругом прав Олександр Иваныч. На сено и, будем говорить, на силос сеять не поздно. Дело верное. А коли с другого боку заглянуть, посеем, будем говорить, коту под хвост! Спишут посевы – ладно. Пропустеет земля – тоже ладно. Спросу нет: чертова буря, будем говорить, виновата. А как пересеем, обратно впишут ее в зерновой клин. На сено и силос косить не дозволят. Шкуру, будем говорить, сымут: зерно давай! Под конец –

ни зерна, ни корму. Вся наша маята, будем говорить, под снег уйдет. Попомните мое слово.

Другие выступающие в принципе поддерживали предложения Пыжова, но ставили вопрос за вопросом: где взять семена? Как с лимитом горючего? С перерасходом фондов зарплаты?

- Как думаешь, Михалыч? обратился Гордеев к секретарю парткома Вожжину, которого за глаза называли «в основном» или «в общем и целом».
- Думаю в основном не следует пороть горячку и раздувать панические страхи, улыбнулся Вожжин. Он не любил Пыжова и первую фразу адресовал ему. Затем сел на любимого конька: Думаю, в райкоме не сидят сложа руки, дожидаясь, в общем и целом, предложений товарища Пыжова. Не только у нас, в основном, тяжелое положение по всему району. Шутка ли затевать посевную во второй раз без руководящих указаний. Надо, в основном, подождать решения райкома, чтобы, в общем и целом, организованно одолеть временные трудности.

Гордеев, набычив до блеска выбритую голову, внимательно слушал, ни в чем не выдавая своей позиции. Итоги подвел неожиданно кратко:

– Завтра начнем сеять. Другого выхода не вижу. Надеюсь, нас поддержат и... помогут. На семена пустим фуражный овес и ячмень с повышенной нормой высева. Лето переживем без концентратов. Все, товарищи. Надо бы, Михалыч, сегодня же провести расширенный партком, чтобы рассказать людям обстановку и программу действий.

Вожжин промолчал.

...Не первый год знал Гордеев секретаря райкома. Работал у него еще в МТС. Огонь был мужик. Но за последнее время Стогов сильно и как-то разом сдал. Отяжелел, бледное лицо сердечника стало землистым, под глазами — мешки. Решения принимал осторожно, с оглядкой и, с точки зрения Гордеева, не лучшим образом. Укатали сивку...

Стогов не встал навстречу Гордееву. Через стол протянул руку.

- Садись, устало сказал он, да порадуй хоть чем-нибудь.
- Радовать нечем, Михаил Спиридонович.
- Зачем же пришел? Огорчений и так под завязку.

- Посоветоваться.
- Не юли. Знаю, что по совету Пыжова дал команду фураж в землю зарыть, животноводство без кормов оставить.
 - Успел уже?
 - Успел. Рассказывай, чего надумал?
- Здесь все изложено, Гордеев передал расчеты Пыжова, перепечатанные на машинке. Ему расхотелось разговаривать со Стоговым.

Секретарь отложил листочки в сторону:

- Бумажки мог переслать почтой. Рассказывай.

Андрей Павлович изложил суть предложений Пыжова, возражения против них и свое решение. Стогов слушал, полуприкрыв глаза и тихонько постукивая пальцем по столу. Вызвал секретаршу:

- Галя, пригласи Сергеева и пусть захватит с собой агронома.
 - Сергеев уехал по хозяйствам.
 - Разыщи.
 - Хорошо, Михаил Спиридонович, секретарша вышла.
- Умница твой Пыжов... Послушаем, что скажет Сергеев, и соберем бюро. Но... Стогов подумал и нехотя продолжил: Но прав и Филатов. Пока посевы не списаны, план продажи зерна остается в силе. А пока оформим списание, будет поздно пересевать и на корм. Сеять бы надо и, конечно, не медля. Однако что мы покажем комиссии? Ей нужны в натуре погибшие посевы.
 - А зачем тянуть со списанием?

Стогов посмотрел на Гордеева долгим взглядом. Ответил не сразу, осторожно подбирая слова:

- Я только что звонил в обком велено не спешить. Рады, мол, все перевалить на бурю.
 - Надо объяснить!..
- Пробовали, перебил секретарь, не желая вести скользкий разговор, и все же договорил: Пересеем самовольно планы продажи зерна не спишут, а за невыполнение планов... снимут нас с тобой.
- A передохнет скот нас под суд отдадут! вспылил Гордеев.

Стогов встал из-за стола, подошел окну. Не оборачиваясь, спросил:

- Чего от меня хочешь?
- Санкцию на пересев, раздельно проговорил Гордеев, вставая с кресла, будто давая понять, что будет стоять вот так, пока не получит добро секретаря райкома.
- Не могу, Стогов обернулся, сорвался до крика: Ну чего так смотришь? Не могу!.. Не имею права!..

Михаил Спиридонович прошелся по кабинету, остановился рядом с Гордеевым, положил руку ему на плечо:

– Ладно... В крайнем случае скажу, что разрешил тебе в порядке исключения, для эксперимента... Авось, обойдется... Да и что мне терять?

Совместное решение райкома и райисполкома пришло через двенадцать дней. В нем предписывалось «выборочно пересеять поврежденные посевы однолетними культурами на корм». К тому времени в овцесовхозе закончили эту работу. Прочитав решение, Гордеев облегченно вздохнул: оно давало право на месте определять целесообразность пересева тех или иных участков. «Молодец Стогов!» – подумал Андрей Павлович.

Несколько раз перечитал решение Вожжин. Он жирно подчеркнул красным карандашом слово «выборочно» и не медля информировал райком, что Гордеев допустил перегиб, поддавшись паническим настроениям Пыжова, самовольно пересеял поля, где можно было получить урожай зерна.

Узнав об этом, Андрей Павлович побагровел. «Пинкертон паршивый», – кипятился он, мотаясь из угла в угол кабинета. Немного успокоившись, поехал к Стогову и заявил с порога:

- Вожжин мне мешает работать. Убирай его к чертовой матери.
- Не суетись, Стогов выглядел сегодня совсем больным и говорил, казалось, через силу. – Знаешь, что убрать его может только партсобрание.
 - Об этом я позабочусь.
- Еще раз не суетись... Мешает работать не только Вожжин. И мы мешаем, и... и еще кое-кто. На селе появились зрелые, знающие специалисты, а мы по старинке им не доверяем, давим предписаниями без учета обстановки каждого хозяйства, а

часто без знания дела, — Стогов вышел из-за стола, подсел к Гордееву. — Хочешь, расскажу не анекдот, а подлинный случай? Вот слушай. В прошлом году хорошо тебе известный Пыжов привез в райисполком утвердить акт на выбракованных коров. Осмотреть коровушек в натуре и дать заключение послали инструктора, который в животноводстве мало чего смыслил. Как его фамилия, значения не имеет. Полномочный представитель явился на ферму, с видом знатока осмотрел злополучных коров и этак заносчиво спросил у Пыжова:

«Почему ты бракуешь хотя бы вот эту корову? Объясни, а я послушаю».

«Да что вы! – неподдельно ужаснулся Пыжов. – Посмотрите, как у нее плохо выражена коагуляция!»

«Ну, да... конечно, – поддакнул инструктор. – Я сразу обратил внимание...»

Акт утвердили. Все бы хорошо, но коагуляция — это осаждение белка в растворе и никакого отношения к оценке коров не имеет. Шельмец Пыжов сыпанул ученым словечком, заранее зная, что оно неизвестно представителю райисполкома и что тот не попросит разъяснения мудреного словца, чтобы не уронить ложного достоинства. Смешно? — Стогов прищурил глаза.

- Смешно, хохотал Гордеев.
- Не смешно! отрезал Стогов. Горько. Специалисты видят, что мы беремся не за свое дело, и в душе смеются над нами, но и ослушаться не смеют. Вдвойне горько! Эдак мы отучим их творчески мыслить, отучим быть специалистами.
- А Вожжину, продолжал Стогов, возвращаясь за письменный стол, я разрешил отпуск и распорядился организовать путевку в санаторий. Пусть пока едет, а там посмотрим.

Воротившись из санатория, посвежевший Вожжин объехал поля совхоза и выступил в областной газете со статьей «Первая заповедь», в которой писал, что, несмотря на такие-то трудности, дирекция и партком совхоза подсчитали, воодушевили, пересеяли на две недели раньше других, и на полях зреет небывалый урожай.

Первая заповедь перед государством будет перевыполнена, в закрома Родины поступит добротный хлеб.

Статья наделала шуму и обернулась бедой для совхоза: ему не списали ни одного гектара посевов и не снизили плана продажи зерна государству.

Район не выполнил даже сниженных планов продажи зерна, хотя животноводство осталось без концентратов. Других кормов заготовлено вдвое меньше, чем в обычные годы. Предстояла невероятно трудная зимовка.

В овцесовхозе кормов того меньше, а на пяти тысячах гектаров зеленели буйные овсы и едва зажелтевшие ячмени.

Представитель области жил в совхозе, оберегая эти площади от самоуправства. Он считал, что первые заморозки ускорят дозревание овса и ячменя для уборки на зерно. Гордеев обил пороги, доказывая необходимость убирать однолетники на корм. Драгоценное время уходило. Представитель области выполнял свою миссию добросовестно. Он ежедневно ездил в поле, привозил по снопику ячменя и овса, писал на них этикетки с указанием даты, ставил рядком с предыдущими образцами в кабинете Гордеева, давил в пальцах молочные зернышки, показывал Миронову:

- Посмотрите, молочко-то загустело!
- Не сегодня-завтра упадет снег, урезонивал Алексей Семенович. Понимаете? Снег! Я тут пятнадцать лет работаю. Знаю, что зерна не будет!

Гордеев молчал, пригнув бритую голову до самого стола.

День прошел в обычной суматохе неотложных и важных, второстепенных и менее важных дел. Андрей Павлович просмотрел почту, отложил папку. Долго сидел неподвижно, положив тяжелые руки на стол. Он вышел из опустевшей конторы, остановился на крыльце, привыкая к темноте. В поселке горели огни, усиливая темень предосенней ночи. Густо-синий бархат неба проткнут зелеными блестками звезд. Задумчивые тополя с тихим шепотом, покорно складывали листья к своему подножию, будто знамена перед невидимым, но неодолимым врагом.

На краю поселка возник и нарастал треск мотоцикла. Из подворотни выскочила собака, кинулась за мотоциклом, полаяла взахлеб и отстала. Мотоцикл свернул во двор Пыжова. Андрей Павлович вспомнил, что хотел увидеть Александра Ивановича, но он весь день был в отъезде, и отправился к нему домой. Пыжова застал во дворе. Поздоровались. Закурили.

- Осень-то, осень! крякнул Гордеев. Теплынь! А ночь!
 Сказка Шахерезады!
- Тепло, конечно, но на «ишаке», Пыжов кивнул на мотоцикл, – встречный ветерок все-таки обыскивает. Пойдем-ка в дом.
 - Стопка найдется?
 - Пошли. Найдется.

Галина Петровна подала соленые груздочки и огурцы, побыстрому «сочинила» глазунью на сале. Спросила:

- Щей налить?
- Давай, Галя, кивнул Гордеев, я не обедал еще. Катя уехала к сыну, а самому недосуг с обедом возиться.

Выпили. Закусили. Пыжов наполнил стопки, предложил повторить.

- Обожди. Потолковать надо. Андрей Павлович отодвинул опустевшую тарелку, подцепил вилкой груздок.
- До чего хорош!.. Я подсказал управляющим, начал он будто с середины, чтобы овес потихоньку косили на силос, а в сводках не показывали.
 - Знаю.
 - Откуда?
 - Сам видел.
- Так... Но четыре тысячи гектаров уйдет под снег. Что будем делать?
- Овец пасти будем, спокойно ответил Пыжов. Пасем на естественных угодьях, каждую зиму пасем.
- Но сначала пускаем снегопахи, а на посевах... вместе со снегом и овес сгребем.
 - Значит, пасти без снегопахов.
 - А потери?
- Будут невелики. Толщина снега пять-шесть сантиметров. Стерня и то выше. При заготовке сена или силоса мы теряем до двадцати процентов питательных веществ, при пастьбе этих потерь совсем не будет. Отпадут расходы на заготовку кормов. Их в натуральном виде законсервирует мороз. Убежден, что зимняя пастьба овец по посевам окажется выгодной, если хорошенько обмозговать и кое-что подготовить. Свои заметки я собирался завтра же показать тебе.

– Выкладывай сейчас, – заторопил Гордеев.

...Почти четыре тысячи гектаров неубранных посевов засыпаны снегом. План продажи зерна овцесовхоз провалил. Гордеева, Вожжина и Миронова строго наказали в партийном порядке. «Все из-за этого умника», — Вожжин волком смотрел на Пыжова и ждал случая свести с ним счеты. Но Вожжина «прокатили» на отчетно-перевыборном собрании, и он уехал из совхоза. А вскоре Миронов принес известие, что Вожжин окопался в обкоме.

– Теперь у нас в обкоме свой человек, – горько пошутил Гордеев.

Зима оказалась малоснежной, как всегда, но морозы сразу ахнули под пятьдесят градусов. Гордеева больше всего волновали валушиные отары, которые угнали на отдаленные посевы и даже ночью держали под открытым небом во временных загонах, защищающих только от ветра. Для чабанов туда подвезли домики на тракторных санях. За маток можно было не беспокоиться, им отвели площади поближе к зимним кошарам и на ночь их загоняли под крышу.

Гордеев с утра позвонил Пыжову на квартиру. Поздоровался, спросил:

- Что у тебя сегодня по плану?
- Объехать дальние отары.
- На чем?
- На санях, конечно.
- Меня возьмешь?
- Хорошо. Заеду. Только тулуп захвати... И валенки обуй.

Лошадь без понуканий бежала рысью и скоро покрылась куржаком. Под полозьями повизгивал снег. Морозную дымку розоватило еще невидимое солнце. Кусты полыни вдоль дороги укутались в сахарно-белую пудру снега. По полю редко расставлены припорошенные снегом скирды соломы. Возле одной из них вертелась лиса, огненно-рыжая на белом фоне.

- Мышкует? нарушил молчание Гордеев.
- Мышкует, подтвердил Пыжов. Голод не тетка, а зайчишку в мороз не вдруг изловишь: снег скрипит, да и не сидит он на месте бегает, греется.

У самой дороги возвышался курган с каменным надгробием древнего захоронения. Земли на кургане тысячелетия не касался

плуг, и она заросла бурьяном. Вдруг бурьян дрогнул, а осыпавшийся иней стремительно покатился по полю к ближайшей скирде. Заяц! Лиса опоздала спрятаться, заяц заметил ее и резко изменил направление. Лиса и не пыталась преследовать его.

В угон заяц виделся белым шаром, а теперь – с боку – шел он широким размашистым шагом, едва касаясь земли и взбивая облачко снега. Пыжов и Гордеев, приподнявшись в санях, смотрели на него с улыбкой. А заяц, будто на зрелищном полигоне, с легким изяществом размеренно кидал упругое тело в полутораметровые прыжки.

В гору лошадь пошла шагом.

- Пора и нам погреться, Гордеев сбросил тулуп, выпрыгнул из саней, пошел рядом.
 - Рад бы, но... Пыжов не договорил.
 - Болит?
 - Побаливает... Но я тепло оделся.

С наезженной дороги свернули на целину. Ветров еще не было, снег не успело смахнуть в овраги. Лежал он ровным слоем, не прикрыв и щетку летнего мелкотравья. Переехали овражек и издали увидели приземистый катон из тюков прессованной соломы, передвижной домик возле него и отару овец чуть поодаль. Из трубы домика шел дым тонкой голубой струйкой.

Залаяла собака.

Гостей встретил Кадыров – кряжистый, средних лет хакас.

О, бальшой нащальник! – улыбнулся он. – Заходи, щай будем пить.

Кадыров прекрасно говорил по-русски, но иногда умышленно искажал речь, особенно если что-то хитрил. Пыжов насторожился, но не показал виду. Напарники Кадырова отдыхали на нарах, укрывшись тулупом.

Пили, обжигаясь, густо заваренный чай из железных кружек, с сахаром вприкуску. После чая закурили. Только тогда Гордеев спросил:

- Как дела?
- Санаторий! выпалил Кадыров, будто ждал вопроса. Пояснил: Корм многа, авечка далеко не ходит. Снег кушает, вода пить не хощет. Санаторий! он кивнул в сторону спящих чабанов.

- А мороз не беспокоит?
- Авечка сытый и мороз хорошо. Шерсть шибка растет.
 Чабан печка топит, избушка спит.
- Значит, все прекрасно? спросил Пыжов и подумал: «Выкладывай, чего хитришь».

Кадыров взглянул на него, улыбнулся:

– Санаторий не харашо. Жирный мужик баба прагонит. Давай нам, нащальник, два атара.

Пыжов присвистнул, оглянулся на Гордеева, будто приглашая в свидетели. Спросил Кадырова.

- Куда? Второго-то затона нет.

Кадыров заговорил спокойнее и рассудительно, без признаков акцента:

- На ночь овцы ложатся плотно, не занимают и третьей части затона. Мы его уже перегородили щитами для второй отары.
 - На две отары здесь и корму не хватит, возразил Гордеев.
- Стравим этот участок перейдем на второй. На тот, откуда пришлете отару.

Спорить не имело смысла. Директор хитро прищурился, спросил с едва заметным акцентом, подражая Кадырову:

– Авечка вода пить не хочет?

Кадыров понял, что Гордеев ему не поверил и не принял шутливого тона. Он взял ведро со снеговой водой, что стояло возле печки, пригласил:

– Пойдемте смотреть.

После натопленной избушки на воле показалось особенно холодно. Морозный воздух перехватывал дыхание, а слабенький ветерок-тягун, по-сибирски хиуз, будто острыми когтями рвал кожу лица и рук. Овцы паслись кучно, не разбредаясь: так лучше сохранялось тепло. Не доходя до отары, Кадыров поставил ведро и отошел в сторону. Несколько овец приблизились к ведру, обнюхали и вернулись на место, не сделав и глотка.

Воротились в центральную контору уже в сумерки. Вошли в кабинет Гордеева, с наслаждением прижались к горячим бокам голландской печи. Особенно промерз Пыжов. Бежать вдоль саней «для сугреву» не позволяла больная нога, а объехали они за день много километров. И на отарах, пока Гордеев беседовал с чабанами в домике, Александр Иванович то определял поедаемость

«посевных пастбищ», то отбирал образцы корма и остатков для химических анализов и на коленях ползал по полю, то саженкой измерял оставленную площадь.

Когда маленько отогрелись, Гордеев заспешил к телефону:

- Позвоню Стогову. Пусть приедет. Это же здорово? А?
- Лучше подождать денек. Я обсчеты сделаю, тогда уж... посоветовал Пыжов.
 - Все-таки позвоню. Не терпится.

Секретарь райкома приехал через два дня и пробыл в совхозе до вечера, побывал на многих отарах, дотошно выспрашивал у Пыжова и у чабанов о преимуществах нового дела. Через месяц приехал снова, привез специалистов районного и областного управлений сельского хозяйства.

- Что скажете? спросил Стогов, когда в конце дня собрались в кабинете Гордеева.
- Я убежден, Михаил Спиридонович,- заявил главный зоотехник района, что опыт зимней пастьбы овец по искусственным пастбищам необходимо распространить во все хозяйства района.
- Мы уже посоветовались, и я выражаю общее мнение, что опыт товарища Пыжова исключительно ценен. Потери сокращаются, затраты на заготовку кормов отпадают, обслуживание отар упрощается, что еще нужно? поддержал старший ветврач областного управления. Необходимо провести областной семинар по этому вопросу с показом на натуре, выступить в газете, по радио. Александру Ивановичу надо бы написать брошюру. Он собрал богатый и убедительный цифровой материал.

Новаторство Пыжова прогремело на всю область. Кто только не побывал в овцесовхозе в течение зимы! Приезжали даже из других областей, чтобы перенять неслыханный опыт.

Трудной была зимовка... До выхода на летние пастбища район потерял каждую шестую овцу и почти весь молодняк. Только овцесовхоз сохранил поголовье, добился рекордных настригов шерсти и высоких прибылей. А через несколько лет зимняя пастьба овец на посевных пастбищах стала не только обычной, но и обязательной для всех хозяйств области.

г. Красноярск, 1981-1982 гг.

ТИМПАНИЯ

- Выезжаем! Да! Немедленно! Пыжов положил трубку. Софья Федоровна, на втором отделении массовая тимпания. Чумаченко звонил.
 - Вот паразит! Предупреждала же!..
 - Ругаться некогда. Поехали.

С центральной усадьбы с пулеметным треском выскочил мотоцикл и, набирая скорость, стелил по дороге пышный хвост красноватой пыли. Александр Иванович выжимал все, на что способен старенький «Иж». Тимпания – острое желудочное заболевание. За несколько часов может погибнуть полстада, если не принять экстренных мер. Софья Федоровна, ветеринарный врач, обеими руками обхватила Пыжова, прижалась к его спине и закрыла глаза, чтобы уберечь от пыли. Она еще раз перебирала в памяти, все ли положила в ветеринарную сумку...

Район не справлялся с планом производства молока. Последствия трудной зимовки не удавалось компенсировать и летом. Только в овцесовхозе графы «план» и «факт» шли ухо в ухо. На втором отделении, где сосредоточены две трети коров совхоза, и в добрые годы пастбищ не хватало, а нынче и подавно: лето сухое. Зато кукуруза на редкость удалась, вымахала — рукою не достать. Александр Иванович и Софья Федоровна, чтобы не допустить снижения удоев, распорядились перевести дойное стадо с естественных пастбищ в лагеря, поближе к посевам кукурузы, и организовать обильную зеленую подкормку.

Перед этим Софья Федоровна внушала заведующему фермой:

- Соблюдай осторожность... Не слушаешь?!
- Та слухаю ж!
- Так вот... время пастьбы постепенно сокращай, а подкормку увеличивай. В течение трех дней. Понял?
 - Чего ж не понять?

Это было вчера, а сегодня... тимпания!

Софья Федоровна бурей налетела на Чумаченко.

– Опять в рюмку заглядывал? Или к Клавке бегал на третью бригаду?.. Я ж тебя упреждала, паразита!

- Та воны забор порушилы, Софья Хведоровна, до кукурузы уйшли и обожралыся, оправдывался тот.
 - А ты чего глядел?..

«Заменять надо Чумаченко», – подумал Пыжов.

Весь день провозились на ферме. Ни пастухи, ни доярки не уходили даже обедать, помогали Александру Ивановичу и Софье Федоровне выхаживать коров.

Обошлось относительно малой бедой.

Двух коров прирезали, остальных спасли. Но Софья Федоровна назначила сутки голодной выдержки всему стаду, а это значило, что удои не восстановить целую неделю, а то и дольше.

Возвращаясь домой, Александр Иванович так и так прикидывал, как бы вытянуть план.

«Тонн сорок молока потеряет совхоз. Что ж делать?» – ломал он голову. Заехал в центральную контору сообщить Гордееву о ЧП на втором отделении, но секретарша сказала, что Андрея Павловича вызвали в райком.

В это время Гордеев сидел в кабинете Стогова. Михаил Спиридонович спрашивал о том, о сем, почти не слушал ответов. Андрей Павлович догадался, что предстоит неприятный разговор, и насторожился. Стогов заметил это.

- Позвал я тебя, Андрей, для разговора неофициального, понизил он голос.
- И неприятного? полувопрос, полуутверждение вставил Гордеев.
- Садись поближе, продолжал Стогов, словно не слышал реплики. Скажи: брошюра у тебя цела, что с фотографией Сталина?.. Ну, где Сталин тебе руку пожимает... передовому комбайнеру страны?
 - Цела, помедлив, ответил Гордеев.
 - Под стеклом и в рамке?
 - В рамке и на стене.
 - Убери ее от греха подальше.

Андрей Павлович неотрывно смотрел на Стогова, ожидая продолжения разговора.

- Не дошло? спросил Михаил Спиридонович.
- Пока нет...

- Видишь ли, до обкома молва докатилась, что Гордеев, мол, выслужился в период культа. И брошюру припомнили, и заслуженного агронома, и орден. А теперь, когда партия единодушно осудила беззакония Сталина, коммунист Гордеев его портрет врезал в рамку и повесил в передний угол...
 - Вожжин?
- Видимо, Стогов умолчал, что ему уже пришлось дать официальные объяснения. Именно Стогов возглавлял МТС, где Гордеев работал комбайнером, а позднее и агрономом. Все, конечно, обойдется, но прошу тебя: будь поаккуратней, пока забудется эта... эта клевета, и о разговоре нашем никому...
- Спасибо, Михаил Спиридонович, Гордеев тяжело поднялся и вышел, осторожно прикрыв дверь. Постоял на крыльце райкома, закурил. Затем сел в машину и хрипло приказал шоферу:

– Домой.

Ночью жена Гордеева, Екатерина Семеновна, вызывала врача. Утром Андрей Павлович не был на разнарядке. Ее провел Миронов.

Стогов пришел в райком раньше обычного и углубился в бумаги. На десять часов утра назначено бюро райкома. Предстояло рассмотреть дополнительные меры по увеличению надоев молока.

В кабинет вошел Сергеев.

- Разрешите, Михаил Спиридонович? спросил он.
- Проходи.
- Здравствуйте.
- Здравствуй. Кажется, договорились встретиться в половине десятого? Стогов поднял глаза на Сергеева, оторвавшись от бумаг.
- Прошу прощения... Но только что звонили из соседнего района... К нам выехал первый, и не в духе. Вам звонили домой, но вас не застали.
- Ясно. Предупреди всех руководителей хозяйств, чтобы были на месте. Бюро отменяю. Сам прикинь маршруты по району, чтобы... сам понимаешь. Я еду встречать Корева. К моему приезду подготовь последние сводки.
 - Сделаю.

У границы района Стогов велел шоферу развернуться и поставить машину на обочину. Сам вышел из нее и стал ждать, прохаживаясь по тракту и время от времени поглядывая на часы. Солнце уже прогрело землю. В чистом небе широкими кругами парил коршун. По обе стороны дороги желтели хлеба. От них веяло домовитым, сытным духом. «Добрый урожай. Убрать бы вовремя, – подумал Стогов. – Через недельку начнем».

Черную «Волгу» Корева увидел он издали и остановился на середине тракта.

Корев не вышел из машины. Он хмуро кивнул Стогову и слегка помаячил двумя пальцами, чтобы ехал впереди. «Плохой признак, быть разносу», – подумал Михаил Спиридонович. Он не ошибся. Только подъехали к райкому, Корев, ни на кого не глядя, поднялся на второй этаж, первым вошел в кабинет Стогова. Не снимая дорожного плаща, сел за его стол, спросил:

- Ты собираешься работать? В прошлом году зерно провалил буря, видите ли, виновата! Нынче молоко проваливаешь. Кто теперь виноват? Чего молчишь?
- Зимний недокорм сказывается, Николай Анисимович. За лето район надоил молока на двенадцать процентов больше, чем в прошлом году. Принимаем все меры...
- Какие там меры? План не выполняешь! Рабочему классу... детишкам, понимаешь... Детишкам! Молоко нужно, а не твои меры!.. Ладно, спокойнее заговорил Корев. Куда повезешь показывать свои меры?
- Может, сначала позавтракаем? предложил Стогов. Я распорядился...
 - Умаслить хочешь? Не выйдет!

Стогов побледнел, глаза сузились, на скулах вздулись желваки. Корев взглянул на него и поспешно согласился:

– Давай позавтракаем.

В уютной комнате заведующего столовой сели за накрытый стол. Выпили по стопке коньяку. Корев похваливал любимые котлеты из дикой козлятины и дружелюбно поглядывал на Стогова. Тот был сосредоточен и хмур. Он ненавидел себя. Из головы не выходили слова Корева: «Умаслить хочешь?». Стогов знал, что Корев любил малосольную рыбу и котлеты из козлятины и держал дома запасы для такого случая. Когда поехал встречать

Корева, заскочил домой, велел жене самой нажарить котлет и переправить в столовую. «Подхалим паршивый!.. На старости-то лет!..» — думал он и чувствовал себя так, будто уличили его в мелкой краже.

После завтрака Вожжин, сопровождавший Корева, подал сводку надоя молока по хозяйствам района за вчерашний день. Николай Анисимович широкой ладонью разгладил листок, просматривая колонки цифр, водил по ним пальцем. Вдруг палец замер на месте.

- Это как понимать? Корев вскинул глаза на Стогова. Почему удои снизились, когда кормов полно? Его левую щеку передернула судорога. И опять овцесовхоз? Разбирался в причинах?
 - Не успел.

Корев вскочил, стукнул кулаком по столу:

- Смотри, Стогов! Распустил людей, развел богадельню!.. Едем в овцесовхоз.
- ...У Гордеева после разговора со Стоговым расшалилось сердце. Ночь он не спал и сейчас лежал на диване, бездумно уставившись в угол и осторожно растирая ладонью левую сторону груди, а тупая тревожная боль не отступала. Сама по себе боль не доставляла беспокойства, но держала в постоянном напряжении и неосознанном страхе. Медики говорят, что если сердце здорово, то человек не ощущает его. Андрей Павлович чувствовал каждый удар сердца, которые следовали то ритмично, равномерно, то замедленно, с натугой...

В комнату вошел шофер Гордеева и сказал, что в совхоз едет Корев, что нужно встретить его за Красной балкой. Андрей Павлович поморщился, но встал и быстро собрался. Он подъехал и вылез из машины с некоторым опозданием.

Эскорт из пяти машин остановился около массива пшеницы минутой раньше. Здесь были Стогов, Вожжин, Сергеев, специалисты районного управления сельского хозяйства. Издали выделялась крупная и нескладная фигура Корева.

Гордеев присоединился к группе и ждал похвалы: на этом массиве он рассчитывал получить рекордный урожай.

Каждый раз, проезжая мимо, он непременно останавливался и не мог нарадоваться. Поле раскинулось на южном склоне до

самой границы с соседним колхозом и слегка волновалось от теплого ветерка. Ни одного сорняка не видно на всем массиве. Чувство гордости охватило Гордеева. «Через недельку-полторы убирать», – подумал он и улыбнулся.

Корев с высоты своего роста в упор посмотрел на Гордеева, спросил вместо приветствия:

- Почему хлеб не убираешь раздельным способом?
- Зеленый еще, думаю, Николай Анисимович...
- Сам ты зеленый! Пока думаешь, опять под снег упустишь!.. Коси немедленно, сейчас же! Понял?

Гордеев хотел возразить, но перехватил предупреждающий жест Стогова и ответил:

- Хорошо, Николай Анисимович.
- Вот тебе и «хорошо». Все ждешь, чтобы за тебя другие думали? Заслуженный агроном...

Заехали в центральную контору. Здесь Корев подождал, пока Гордеев передал распоряжение по телефону валить хлеба в валки. В кабинет вбежал Миронов:

- Андрей Павлович, нельзя этого делать! Центнеров по пять с гектара не доберем, а то и больше! Рано косить!
 - Без демагогии! Это приказ, грубо одернул его Гордеев.

Миронов пожал плечами, посмотрел на Стогова, Корева, сказал растерянно:

- Зачем добро-то губить?
- У Корева дернулась щека. Он гаркнул:
- Приказ получил? Выполняй. Болтун!

Миронов нехотя вышел из кабинета.

Николай Анисимович проводил его недобрым взглядом, проворчал:

- Распустили людей... работнички, затем повернулся к Гордееву, не скрывая раздражения, приказал: — Вези на молочные реки.
- На второе отделение, подсказал Вожжин. Он успел узнать, что там случилось, и поглядывал на Гордеева, улыбаясь одними глазами. Андрей Павлович смерил его презрительным взглядом, пошел из кабинета.

На крыльце конторы остановились все разом. На машинном дворе, как в растревоженном улье, разноголосо ревели моторы. Первые машины уже выходили из ворот, направляясь в поле.

– Вот это оперативность! – бросил реплику районный агроном и осекся.

Корев посмотрел на него, улыбнулся, принимая похвалу в свой адрес, обвел всех торжественным взглядом и произнес:

– Что ж, товарищи, битва за хлеб началась!

Гордеев представил, как лягут на землю недозревшие хлеба на полях его совхоза, на полях, в которые вбухано столько сил и ума, на которые возлагались такие надежды! Хотелось кричать: «Что вы делаете? Остановитесь!» А он сунул под язык таблетку, сцепил зубы и молчал. Стоявший позади Стогов сжал ему руку, спокойно сказал:

– Время не ждет. Поехали, Андрей Павлович.

Ни Стогов, ни Гордеев не знали о ЧП на втором отделении, и случилось так, что они не просмотрели сводку надоев за вчерашний день. Один завертелся с приездом Корева, другой провалялся в постели.

Стогов много раз видел Корева в необузданном гневе, но таким видеть не доводилось.

 Почему коровы не накормлены? – ревел он, наступая на Гордеева. – Кругом кукуруза стеной, а в кормушках пусто!

Андрей Павлович и сам не понимал, в чем дело.

– Директор называется! Не знает, что творится под носом! Партбилет отберу! В душу...

Вожжин проворно сбегал к кукурузному полю, надергал охапку сочных стеблей, бросил в пригон. Коровы накинулись на корм, тесня друг друга. Чумаченко, перепрыгнув изгородь, отогнал коров, собрал кукурузу и выкинул из пригона.

- Не велено, пояснил он. Сказано, шоб сутки без корму. Голодная, значить, диета аж до вечера.
 - Кто велел?- прошипел Корев.
- Як хто? Головной зоотехник. Вот хто, Чумаченко указал на Пыжова.

За шумом не заметили, как подошел Александр Иванович и остановился рядом, опираясь на резную трость. Корев шагнул к нему, вырвал трость, зашвырнул в кукурузу.

 Подлец! Вредитель! Стогов, сегодня же передай дело прокурору. Слышишь? Сегодня же. Сам проверю.

Примчался Жук и сходу бросился на Корева. Пыжов успел крикнуть:

- Жук, нельзя! Сюда! Лежать!

Пес нехотя повиновался, лег возле ног хозяина.

- В тюрьме сгною, в душу мать!.. Корев смерил Александра Ивановича сощуренными глазами, не зная, что еще сказать. Левую щеку у него коверкала судорога. Он круто повернулся, пошел не оглядываясь. Его машина рванула с места и утонула в пыльной завесе. Остальные машины кинулись вслед.
 - Шо це за тимпания?- спросил Чумаченко.

Пыжов не ответил. Он поковылял искать трость.

Черная «Волга» Корева летела без остановки. На границе земель овцесовхоза отстал и повернул назад Гордеев, на границе района – Стогов.

...Андрей Павлович сидел в кабинете, не зажигая света, сосал таблетку валидола. Ему уже рассказала Софья Федоровна о ЧП на втором отделении. «Что за напасть? – думал он. – Такое совпадение! Не случайно, конечно. И тут Вожжин постарался». Гордеев два раза посылал за Пыжовым, но его не было дома. Зазвонил телефон. Андрей Павлович снял трубку, услышал голос Стогова:

- Ну, как ты?
- Хуже некуда!
- Крепись... Хлеб косишь?
- Кошу,- вздохнул Гордеев.
- Запрети сию же минуту. Поиграли, и хватит. В случае чего– я велел. Понял?
 - Ты серьезно? обрадовался Гордеев.
 - Такими делами не шутят.
- Спасибо, Михаил Спиридонович. Я... Постой! А с Пыжовым как? Его вины нет. Чумаченко недоглядел.
- Знаю. Мне Софья Федоровна звонила. Но здесь сложнее.
 Вина все-таки есть. Подъезжай с утра, дотолкуем. Будь здоров.
 - До свидания.

Три месяца каждую неделю вызывали Александра Ивановича то к прокурору, то к следователю. Много раз повторял он одно

и то же, подписывал листочки допроса. Наступила ненастная, мозглая осень. То снег, то мороз, то оттепель и дождь. В небе низкие грязные тучи. Бездорожье. Собачья погода и волокита доконали Пыжова. Он осунулся, ноги покрылись чертовой экземой. «На нервной почве», — как заключил совхозный медик. Завернувшись в брезентовый плащ, Александр Иванович ездил по бригадам и кошарам в двуколке. Животноводы делали вид, что ничего знать не знают, но распоряжения его выполняли с полуслова. Знал Пыжов, что несколько раз вызывали в прокуратуру Софью Федоровну и Чумаченко. Допросили всех скотников и доярок. «Зря вините Александра Ивановича», — повторяли они. А следствие тянулось, как осенняя дорога.

Сначала Пыжов пытался поговорить с Гордеевым, но тот больше молчал, иногда отговаривался.

- Ты же знаешь, нет моей вины, напирал Александр Иванович.
 - Знаю.
 - Почему не вмешаешься?
 - Мое заступничество тебе только повредит.

Пыжов не верил Гордееву, избегал с ним встреч, бумаги передавал через секретаршу, на разнарядках сидел в углу, в тени. Он не ведал, что его дело держал на контроле лично Корев и требовал сурового наказания «подлеца». Чем дольше тянулось следствие, тем реже были звонки из обкома. Там, видимо, полагали, что степень вины и наказания пропорциональны продолжительности дознания. А затем Кореву стало не до Пыжова.

Суд проходил формально. Постановление суда предписывало взыскать с зоотехника, ветврача и заведующего фермой стоимость двух прирезанных коров, за вычетом выручки от реализации мяса, что составило по 62 рубля и 37 копеек с каждого. Пыжов не мог осмыслить, зачем так долго и унизительно мучили его из-за пустяковой суммы. Неужели всерьез верили в злой умысел?

Он вышел в городской сквер, смахнул со скамейки снег, сел и закурил.

Падали редкие снежинки, осторожно лавируя между веток тополя, под которым он сидел. На тропинке вертелась синичка, выискивая пропитание. Пыжов поскреб в карманах, кинул ей семечек. Синичка подхватила одно, вспорхнула на ветку, прижала

его лапками и начала обрабатывать крепким клювиком, как отбойным молоточком. Выбрав сердцевину, покрутила головой в черном чепчике, слетала на дорожку за вторым семечком. Сразу же невесть откуда взялись еще две синички. Александр Иванович разглядывал нарядных желто-зеленых птичек и улыбался. От него, как многотонный дорожный каток, откатывался груз, приходило успокоение.

Гордеева не удивило заявление Пыжова об уходе. Он все же спросил:

– Причина?

Александр Иванович взял заявление, дописал: «Не сработался с директором» – и вышел из кабинета.

Андрей Павлович позвонил Стогову:

- Михаил Спиридонович? Здравствуй. Гордеев... Пыжов подал заявление об уходе. У меня он работать не хочет, но из района отпускать такого специалиста нельзя... Конечно, справится. Ручаюсь... Хорошо. Гордеев нажал кнопку, вызвал секретаршу. Валя, пригласи Александра Ивановича.
- Я на твоем месте, пожалуй, поступил бы так же, хрипло заговорил Андрей Павлович, когда вошел Пыжов, но ты, к сожалению, не все знаешь.
- Раньше у нас секретов не было, Пыжов криво усмехнулся.
- У меня и сейчас от тебя своих секретов нет, Гордеев особо выделил слово «своих». Поезжай в райком, Стогов ждет.
 - Читать мораль? Вправлять мозги?
 - Поторопись.

Только Пыжов переступил порог приемной райкома, секретарша показала на дверь:

– Проходите. Уже спрашивал.

Стогов встретил Александра Ивановича у самой двери, усадил в кресло, сел рядом, спросил улыбаясь:

- Обиделся? На меня, на Гордеева?
- A разве не за что?- Пыжов встал. Вы же коммунисты, и не рядовые! За шкуры дрожали?
 - Ого, голос прорезался, захохотал Стогов. Да ты садись.
- Зачем вызывали?- продолжая стоять, спросил Пыжов. Он был неприступно колючим.

Стогов посуровел, медленно поднялся:

- Корева исключили из партии. Знаешь об этом?
- He... не может быть! Александр Иванович опустился в кресло.
 - Не знаешь, а бросаешь обвинения: «За шкуру дрожали!» Стогов сел и продолжал спокойнее:
- И тебе помогали, но руки были связаны, особенно у Гордеева. На нем висело обвинение пострашнее твоего.
 - Что за обвинение? В чем?
- Не сказывал тебе?.. Впрочем, я не велел. Теперь скажет...
 Михаил Спиридонович еще что-то говорил, но Пыжов не слушал, переваривал оглушающие новости.

«Вот тебе и тимпания, – вспомнил он определение Чумаченко, когда Корев уехал с фермы, – а Гордеев, значит, вправду помочь не мог...»

- Что молчишь? Не согласен, что ли? повысил голос Стогов.
 - С чем?
- Я же говорю: Гордеев советует назначить тебя директором совхоза.
 - Очередная шутка?
- Мне, по-твоему, делать нечего, только шуточки шутить? рассердился Михаил Спиридонович. Принимай Еловский совхоз.
- Я собирался уехать из района... А коли так, разрешите остаться в овцесовхозе в прежней должности.
 - Нет,- решительно возразил Стогов.
- Надо остаться, Михаил Спиридонович... Я посоветовался с учеными... Пыжов замялся. И затеял кое-какие опыты. Нужно закончить.
 - Что за опыты, если не секрет?
- Какой там секрет! В овцеводстве пора отказываться от дедовских методов ведения отрасли. Молодежь в чабаны не идет, а почему? Разбросанность бригад, неустроенность быта, оторванность детей от родителей в школах-интернатах. А что если создать укрупненные бригады из пяти, а то и десяти отар вблизи от поселков? Естественных пастбищ становится все меньше, их распахивают, а полевое кормопроизводство можно приблизить к

месту содержания овец. Кошение, подвозку и раздачу кормов механизировать.

- Короче, ты собираешься держать овец в загонах весь год?спросил Стогов.
- Тех, что на откорме, да. А маток пасти на искусственных пастбищах. Мне пока не все ясно. Но в укрупненных бригадах окоты отар можно спланировать по сдвинутому графику, а тогда...
 - Бригада обойдется своими людьми, подхватил Стогов.
 - Почти.
- Что ж, дело, похоже, стоящее, Стогов подумал и спросил: – А в чем все-таки твой опыт?
- На третьем отделении без малого четыре тысячи ягнят выращиваем на одной механизированной площадке. Людей потребовалось вдвое меньше, живут люди в поселке с семьями, и ягнята развиваются нормально.

«Черт-те что! – думал Стогов. – У мужика государственная башка, а мы из него рвем жилы и не даем работать, не даем мыслить!»

Как же ты собрался уехать из района? – спросил он.
 Пыжов пожал плечами.

— За одно это нужно бы вкатить тебе партийный выговор, — отчеканил секретарь райкома. — Ты сам-то понимаешь, какой важности работу затеял?.. Хорошо, Александр Иванович, действуй. Гарантирую любую поддержку. В любое время звони, заходи, а на днях сам к тебе приеду.

Но Стогов ни приехал. Морозным утром, когда в городском парке цепенели тополя в кудрявом инее, Стогова не стало...

А через три года Пыжов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.

г. Красноярск, 1982-1983 гг.

ЖУК

Пыжов приобрел щенка породы сеттер. Щенок, конечно, не чистопородный, но доля крови сеттера и, вероятно, значительная,

в нем безусловно была, несмотря на нетипичный, абсолютно черный окрас. В Сибири редко держат собак этой породы, и то не охотники, а любители. Здесь отдают предпочтение лайкам. И щенок достался Пыжову, можно сказать, даром.

Александр Иванович не был страстным охотником. В лучшем случае раз или два за сезон выезжал он на зорьку пострелять уток на ближнем, довольно богатом озере, посреди соснового бора. Брал у рыбаков долбленый бот, заплывал в камыши и в укромном месте поджидал удачу. На озере водилось множество дичи, и с пустыми руками Пыжов обычно не возвращался. Но и такое удовольствие случалось не в каждый сезон. Чабанские лагеря и бригады для совхозного скота разбросаны на большом пространстве, и Александр Иванович сутками не слезал с двухколесного «Ижа», а потому и собаку завел больше для прихоти.

Забота о щенке досталась жене Пыжова Галине Петровне, а возился, играл с ним целыми днями сынишка Виталик. Сам Пыжов лишь вечером, редко и утром уделял щеночку пару минут, чтобы погладить бархатную шерстку и почесать за ухом. И тем не менее щенок больше всего привязался к Александру Ивановичу. В короткие минуты внимания хозяина он исходил собачьей нежностью, не спускал с Александра Ивановича преданных глаз, тянулся мордочкой к его ладоням, колотил хвостиком об пол и кряхтел от удовольствия. Заслыша шаги Пыжова, щенок с потешной торопливостью, неуклюже переваливаясь на коротких ногах, спешил к порогу, глядел на еще закрытую дверь, вилял хвостиком и нетерпеливо повизгивал. Пока Пыжов раздевался, умывался, ужинал, обмениваясь с женой событиями дня, песик слушал, будто боясь пропустить хотя бы одно слово, и всегда предугадывал намерение Александра Ивановича погладить его. Впрочем, это вполне объяснимо. От Галины Петровны ему иногда влетало за нечистоплотность, Виталик часто был надоедлив, а Александр Иванович только ласкал и приятно щекотал за ухом.

Кобелек, названный Жуком, достиг восьмого месяца жизни, его давно переселили во двор, в конуру, а учить охотничьим премудростям и не собирались. После того как Жук передушил добрую половину кур у своих хозяев и переключился на соседских, его посадили на привязь. Он скулил, жалобно выл, отказывался

от еды и нескоро смирился с неволей, а злобного нрава так и не обрел. Видимо, в нем доминировала кровь благородного сеттера.

Потянулись для Жука однообразные, ничем не примечательные дни. Он неизменно лежал около конуры, положив голову на лапы, и курица останавливалась, косила на него недоверчивым глазом, склонив голову набок. Топталась на месте, не решаясь приблизиться к миске с остатками еды, проходила мимо. В обед выходила Галина Петровна, подливала еды, уходила в дом. Ешь, пей и спи! Но до чего же все это скучно! Жук нехотя ел, лакал воду, ложился на прежнее место.

Только к вечеру овладевало им нетерпение. Он то и дело вспрыгивал на конуру, замирал, вслушиваясь. Заслыша, наконец, знакомый треск мотоцикла, который легко распознавал среди всех других, весь приходил в движение, тихонько скулил, вилял хвостом, бежал к воротам, насколько позволяла привязь.

Александр Иванович влетал во двор через всегда открытую калитку (домашней скотины он никогда не держал), глушил мотор и непременно подходил к Жуку. От Пыжова веяло ветрами и горьковатыми травами, парным молоком, кисловатой овечьей шерстью и еще какими-то непонятными и каждый раз новыми запахами. Они волновали чуткое собачье обоняние, будили загадочную и приятную тревогу.

– Тоскуешь, Жучок? – повторял Александр Иванович один и тот же вопрос. – Пойдем, погуляем.

Он пристегивал к ошейнику ременный поводок, вел Жука в залесенный овражек за огородом и спускал с привязи. Сам устало опускался на траву и, случалось, тут же и засыпал. Жук носился по оврагу, что-то вынюхивал, ходил челноком и время от времени подбегал проведать Александра Ивановича, которого, кажется, боготворил. Если заставал его спящим, ложился поблизости и не отходил ни на шаг. Пыжов видел в собаке несомненные охотничьи задатки, но заниматься ее натаской не было времени, а отдать кому-то жаль.

Времени у Пыжова действительно не было... Недосуг прочитать книгу, послушать музыку, поваляться, в конце концов, в траве у костра, сварить уху... Не раз негодовал на себя Александр Иванович, что выбрал профессию животновода, и собирался уйти на другую работу. На заводе отработал смену – и тебе сам

черт не брат, хоть ты рабочий, хоть инженер. Дел и ответственности у зоотехника вровень с главным инженером крупного завода и знаний требуется не меньше. Чему-то учили пять лет в институте! А сколько инженеру привилегий! От дома до завода возят его в легковом автомобиле, у дверей кабинета дежурит секретарша: «Занят! Не принимает!» Квартира со всеми удобствами. Вечером — театр, филармония, библиотека. Да и завод-то весь на ладони. Нажал кнопку — Иванов, Петров у телефона, а через десять-пятнадцать минут любой из них может явиться по вызову.

Хозяйство Пыжова раскидано на многие десятки километров по отделениям, фермам, хуторам, где телефона-то чаще всего нет. Сто тысяч овец, четыре с половиной тысячи голов скота! Махина! Мотается он по бездорожью во всякую погоду, зимой на лошади, летом на мотоцикле. Пытается везде поспеть, подсказать, организовать, проконтролировать. Не всегда ночует дома, питается кое-как, всухомятку. Пропади такая жизнь! «Ждите, — говорят городские умники, — сгладится разница между городом и деревней». А жизнь у человека одна. Сколько ждать-то?

Домой возвратился Пыжов усталым. Кормов заготовлено меньше прошлогоднего, а план поголовья опять увеличили. Не закончены отбивка ягнят и формирование отар, комплектование чабанских бригад, ремонт кошар. Не хватает людей, материалов, а о кормах и говорить не стоит.

- ... Радостно встретил хозяина Жук.
- Тоскуешь, Жучок? А я, брат, что-то раскис. Как бы совсем не расклеиться.

Пыжов не заглушил в этот раз мотора. Прошелся по двору, разминаясь, усадил пса на бензобак впереди себя и выехал в тот же овражек. Назавтра и послезавтра повторил маневр. А потом Жук сам запрыгивал на мотоцикл, ставил передние лапы на руль и с явным удовольствием внюхивался во встречный воздух и всматривался в предметы, бегущие по сторонам.

Начался новый период в жизни Жука, период широкого познания мира. Пыжов возил его с собой по фермам и бригадам. Пока Александр Иванович занимался делами, Жук мыкался по степи, ловил сусликов, гонялся за пичугами. Но вот затарахтел мотоцикл, кобель со всех ног летел к хозяину и прыгал на свое место, вызывая улыбки чабанов. Привязанность пса к Пыжову все возрастала. Случалось, что Александр Иванович вел разговор на повышенных тонах. Жук немедленно оказывался рядом, оберегая хозяина от возможных обидчиков. Как-то в жаркий день Пыжов решил искупаться. Разделся и прыгнул в воду. В тот же момент Жук последовал за ним, схватил за трусы и потащил к берегу.

Минуло лето. Отары разместили по зимним кошарам, подвезли аварийные запасы кормов к местам зимовки. У Александра Ивановича выдался свободный денек. Решили они с соседом, бухгалтером совхоза, Спиваком Ефимом Нестеровичем съездить на озеро. К тому времени по ночам пристывали забереги, утки собирались стаями, готовясь к отлету.

Только патронов заряженных у меня почти нет, – горевал Пыжов.

Ефим Нестерович был заядлым рыболовом и страстным охотником и сразу загорелся.

– Й-есть п-па-атроны, – он изрядно заикался. – То-олько ккобеля не-е вздумай в-в-взять: ф-фсю ох-хоту ис-спортит.

Жук никак не хотел оставаться, и его посадили на привязь.

Выехали после обеда на «Иже» и через минут двадцать довольные подкатили к озеру. Знакомый председатель рыболовецкой артели выделил понадежнее бот и предупредил:

– Поосторожней, ребята. Посудина верткая, а вода студеная. В прошлом годе об эту пору прокурор утоп. Собака с ем была. Видать, кинулась на дичь и бот опрокинула. Сидите, значит, на самом донышке и не шараборьтесь шибко-то.

Собрались отплывать, когда примчался Жук и с ходу махнул в долбленку. На его шее болтался конец перегрызенной веревки.

– Й-явление ф-ф-фторое. Те же и к-кобель, – констатировал
 Ефим Нестерович.

Пыжов высадил Жука, приказал: «Сидеть!», оттолкнул бот. Поплыли. Жук, не раздумывая, бросился вплавь. Вернулись. Сняли с ружья ремень, пристегнули за ошейник, привязали непослушного кобеля к березе. Собственно, все это проделал Пыжов, Спивак сидел в боте и, отвернувшись, шевелил губами, видимо, проклиная собаку.

Наконец поплыли. Бот легко и ходко скользил по полированной глади маслянисто-темной воды, с позолоченной мишурой опавших листьев на поверхности.

– Б-благодать! – приходя в хорошее расположение, не выдержал Спивак. – До-обрая б-будет зорька!

Отплыли с полкилометра, где огромным островом разрослись камыши со сложным лабиринтом коридоров и плесов, а нежаркое солнце стояло еще высоко. Приспособились, пока есть время, ловить окуней отвесным блеснением. Сидели один в корме, другой на носу бота, лицом друг к другу, и споро таскали красноперых красавцев-окуней с зелено-серыми полосками на боках.

- Будет ли охота, а рыбалка есть, довольно улыбался
 Александр Иванович, вытащив окуня-горбача и отцепляя блесну.
- Й-я ф-фартовый! Ох-хота т-тоже бу-у... начал Ефим Нестерович и умолк с открытым ртом, вытаращив глаза. Потом испуганно закричал:
 - П-п-плывет!.. Оп-п-прок-кинет!
 - Кто?
 - К-ко-обель!

Пыжов оглянулся и обмер. В нескольких метрах от бота, постанывая от холода и устало работая ногами, плыл Жук. Сейчас он закинет лапы в бот и опрокинет его... Александр Иванович схватил весло, подвернул собаке корму. Жук зацепился лапами, а выбраться не хватало сил. Пыжов вытащил его и усадил между коленей. Жук скулил и дрожал мелкой дрожью. Затем вдруг вырвался на середину бота, энергично встряхнулся, обдавая приятелей веером брызг, туда-сюда пробежался, втиснулся между ног хозяина и затих, не в силах унять дрожь. Бот качнулся. Черпанул воду. Пыжов и Спивак разом вцепились в борта посудины, балансируя равновесие.

– Греби к избушке, что на мысу, до нее всего ближе, – распорядился Пыжов. Сам прикрыл пса полами пальто и держал крепко. Жук раза два пытался вырваться для новой пробежки, но Александр Иванович был начеку, и бот благополучно пристал к мысу.

На ошейнике Жука не было и признаков ремня. Как выяснилось, ружейная серьга сильно перетерла тренчик, и он оборвался.

- Еще можно успеть на вечернюю зорьку, но чем привязать этого олуха? спросил Пыжов.
- В из-збушке н-надо зак-крыть: б-бревна не-е п-перегрызет, посоветовал Спивак. Т-только я ре-эп-путацию по-одмочил и что с-с ней ря-адом.
 - И я подмок... Сдюжим?
- К-конечно, с-сдюжим. В холод-дной в-водичке до-ольше не-е прот-тухнут эти... к-как их?..

Жука втолкнули в избушку, двери снаружи подперли палкой. Отплыли до ближних камышей и только притихли в засидке, как услышали знакомое постанывание. Жук плыл прямо к ним.

 За-анятный к-кобелек, – внешне весело пошутил Ефим Нестерович.

Вечерняя охота испорчена окончательно. Вернулись в избушку. Оказывается, Жук выдавил стекло и вылез через окошко. Нарезали тростника, застелили нары, заткнули разбитое окошко, растопили печку.

- Рассердил ты нас, псина, слов нет. Зато отоспимся в тепле, да еще в охотничьей избушке, а то бы мерзли сейчас на озере, не унывал Александр Иванович. Нет, говорят, худа без добра.
- Т-точно! Не-не будь э-этого добра, Спивак кивнул на Жука, не-не б-было бы и х-худа.
- Как ни суди, Нестерыч, а пропадает в собаке отменный охотник. Не каждая полезет в такую воду...
- ...Што-обы ут-топить хо-о-озяина, перебил Спивак. Он тяжело переживал неудачу и зло поглядывал на пса. К-кобель должон с-сидеть, где ук-казал хо-о-озяин.
- В этом ты прав. Посажу его на цепь и перестану возить с собой, а то и не в такую историю попадешь. Собака, конечно, должна знать порядок.

Вскипятили чай, перекусили. Подсохшего Жука Пыжов подкормил и перед сном выпустил нести караульную службу:

– Иди, отрабатывай свой хлеб, искупай вину.

Ночь наступила морозная, с ветерком, а в избушке теплынь и пихтовый аромат: Александр Иванович не забыл положить под голову ветки пихты. «Много ли человеку надо? – думал он, засыпая. – И зачем люди едут черт-те куда для отдыха?..»

Спивак проснулся от жуткого холода. Зажег спичку и сразу все понял. Жук вытащил из окна тростниковую затычку, забрался в избушку на столик, доел оставленные продукты и устроился спать на нарах рядом с Пыжовым. Избушка выстыла до основания: с озера дул холодный ветер прямо в окно. Еще с вечера у Ефима Нестеровича мелькнула мысль загородить окошко чемлибо тяжелым, но опасения показались невероятными. Пыжов мерз во сне и скрутился калачиком.

– По-о-олубуйся на-а свое д-добро! – Спивак потянулся рукой к плечу Александра Ивановича, чтобы разбудить его.

Жук поднял голову, оскалил зубы, не позволяя беспокоить хозяина. Кобель впервые показал зубы. Но он давно почувствовал, что этот человек сердит и таит что-то недоброе, что надо быть с ним настороже.

Ефим Нестерович нацепил на лучину бересту и поджег ее, осветив избушку. В другую руку взял палку, намереваясь турнуть кобеля. Но Жук встал рядом с Пыжовым и ощетинился, вид его не предвещал ничего хорошего. К счастью, проснулся Александр Иванович. Он выдворил Жука из избушки, заткнул окошко и загородил его изнутри сосновым чурбаком, растопил печку, а Спивак все еще не мог успокоиться.

- H-на ун-т-ты с-с-стер-р-рвеца! бунтовал он, заикаясь больше обычного.
- Не волнуйся, Ефим Нестерович, уговаривал Пыжов, молодой он и ни черта не смыслит. Хотел, как лучше, из-за преданности хозяину.
 - И к-колбасу с-сожрал из-з-за п-преданности?
- Говорю, молодой. Да и не учил его, что можно, а что нельзя.

Спивак махнул рукой и отвернулся. Избушка прогрелась. Пыжов с хрустом потянулся, сладко зевнул.

- Давай-ка спать, предложил он.
- Не-е могу, на полном серьезе ответил Ефим Нестерович,– он и-избушку по-о-дожжет!..

Пыжов раскатисто захохотал.

- Й-ему смешно!.. снова закипел Спивак. Но все же лег,
 поворочался и уснул. А утром наотрез отказался плыть на охоту.
 - Е-едем д-домой, решительно заявил он.

Александр Иванович предлагал сварить уху и просто побыть в лесу. Ефим Нестерович и слушать не хотел.

После этого случая Пыжов посадил Жука на цепь и больше не брал с собой. А вместо вечерних прогулок в овраг стал учить его: «сидеть», «лежать», «на место», «можно», «нельзя» и т.д. Жук оказался на редкость понятливым псом. Недели через три можно было даже продукты поручить ему отнести домой, не беспокоясь за их целостность. Не трогал Жук ни кур, ни другую домашнюю живность. Он знал, что делать этого нельзя. И на цепь его привязывали только на ночь.

Наступила настоящая зима с морозами и ветрами, а снегу все еще почти не было, и Пыжов по-прежнему, оседлав «Ижа», мотался по отделениям, одеваясь теплее, и не спешил переходить на тихоходный гужевой транспорт. Иногда не возвращался ночевать, не рискуя ехать в особенно холодные и ветреные ночи. Дома об этом знали и не беспокоились.

Так было и в этот раз. Галина Петровна, не дождавшись мужа, укладывалась спать, когда Жук неожиданно загремел цепью и завыл низко, протяжно, с надрывом. Никогда раньше с ним такого не случалось. Галина Петровна накинула полушубок, вышла во двор. Жук бешено рвался с цепи, ошейник давил ему горло, он задыхался, хрипел, грыз цепь и, убедившись в бесполезности усилий, запрокидывал голову и выл. Нестерпимая тоска и боль в этом одиноком вое над притихшим к ночи поселком неизъяснимой жутью сжимала сердце.

 Что с тобой, Жучок? – Галина Петровна сбежала с крылечка.

С каким-то стоном отчаяния и мольбы бросился Жук навстречу, лизнул ей руку и рванулся к калитке. Натянутая цепь чуть не опрокинула его на спину. Галина Петровна отстегнула карабинчик, и Жук вылетел со двора. Она постояла, вслушиваясь в тишину, вошла в дом, не раздеваясь, села, не зная, что делать. Тревога охватила ее. Она торопливо собралась, пошла к Ефиму Нестеровичу, рассказала о причине позднего визита.

– Ш-шапку сшить из-з эт-того к-кобеля, и д-делу к-к-конец! – рубанул он ладонью воздух.

Галина Петровна вернулась, но успокоиться не могла. Села к столу, стала ждать и задремала. Вскочила, подбежала к двери, распахнула ее.

В дом ворвался Жук с рукавицей-шубенкой Александра Ивановича в зубах. Он тяжело дышал. «Саша послал, чтобы успокоить», — облегченно заулыбалась она и положила рукавицу на скамеечку в прихожей, намереваясь угостить посланца кусочком сахара, как всегда поступала в таких случаях. Но Жук забеспокоился, тявкнул, взял рукавицу и снова подал хозяйке. Галина Петровна повертела ее, увидела что-то внутри и вынула... окровавленный носовой платок мужа.

Директор совхоза Гордеев, к счастью, оказался дома и через четверть часа рассылал по дорогам машины, считая, что Пыжов попал в аварию. Заведующий гаражом сказал, что видел Александра Ивановича на пути к третьему отделению часу в шестом вечера, в первую очередь туда и направили поиск. Попытка не увенчалась успехом: поздно, конторы закрыты, отделения не отвечали. Участковый милиционер главную надежду возлагал на Жука.

Пес хватал Галину Петровну за подол, тащил за собой, затем бежал, показывая дорогу, и снова возвращался. Но когда она садилась в машину, чтобы ехать следом, Жук подбегал к кабине, лаял, скулил, царапал двери и не хотел отходить. Наконец участковый догадался усадить хозяйку в коляску мотоцикла, чтобы пес видел ее, и дело наладилось.

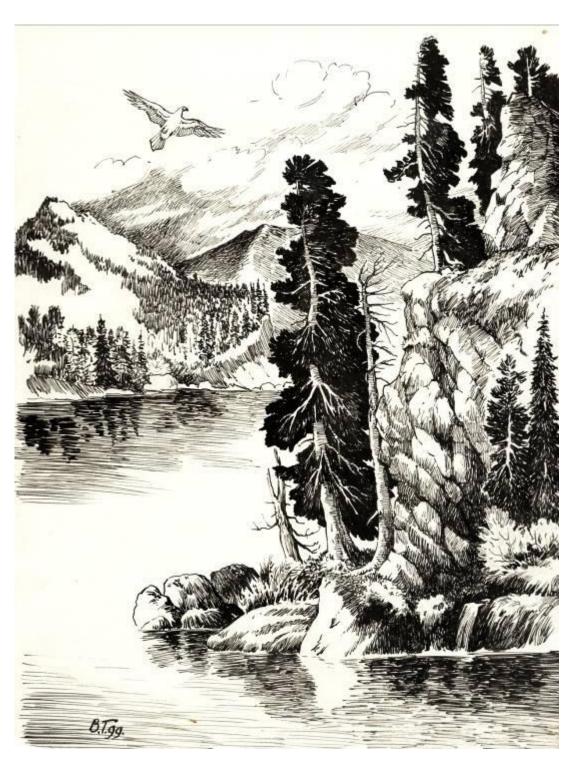
Жук бежал впереди, изредка останавливаясь, проверял, тут ли хозяйка. Галина Петровна подавала голос:

– Вперед, Жук, вперед!

Проехали третье отделение, погруженное в полный мрак, — ни одного огонька! За поселком Жук свернул с дороги на едва заметную тропу и вдруг остановился. Шерсть на нем вздыбилась, он зарычал и бросился наметом, мотоцикл летел следом, прыгая на ямах. В овраге блеснули светлячки, и в свете фар мелькнули две волчьих тени. Участковый знал свое дело и сразу оценил обстановку. Он на ходу выхватил пистолет и выстрелил в убегающих волков.

– Вовремя подоспели, – сказал он, останавливая мотоцикл...

Александр Иванович хотел спрямить дорогу, но в сумерках свернул не на ту тропинку и с разгону свалился с глинистого обрыва на каменистое дно пересохшего ручья. Пыжов полусидел, привалившись спиной к осыпи и сжав в каждой руке по булыжнику. Он был без сознания.



Уже в больнице рассказал он, как «воскрес» при появлении Жука, когда считал свою судьбу предрешенной. Тропа проходила в стороне от дорог, в этот овражек и вовсе редко кто заглядывал, а мороз под двадцать градусов. Рассказал, как отправил Жука с рукавицей, втолкнув в нее для надежности носовой платок.

Двигаться он не мог. Малейшее движение отдавалось острой болью, туманило рассудок. Он ждал не шевелясь. Время тянулось медленно. Александр Иванович чувствовал, что замерзает, что никакое чудо его не спасет, пальцы на руках совсем окоченели, но не было ни сил, ни желания ими даже пошевелить. Как во сне, увидел он над оврагом две пары зеленых огней и сразу догадался, что это волки. Тогда, сцепив зубы, медленно повернулся сначала вбок, затем привалился спиной к обрыву, нащупал камни и приготовился к обороне.

Он понимал, что сопротивление будет недолгим. Волки не спешили – холодные огоньки мерцали на одном месте. Но вдруг они задвигались и... исчезли. Александр Иванович услышал треск мотоцикла, выстрел... и потерял сознание.

Всю зиму штопали и латали Пыжова в областной больнице. Домой он приехал перед посевной, все еще опираясь на палку. Жук по-собачьи плакал от радости. А через неделю в мастерской совхоза Александру Ивановичу подремонтировали «Ижа», и он вместе с Жуком отправился по фермам и бригадам.

г. Красноярск, 1981 г.

ВМЯТИНА

Если человек меньше года за баранкой, да такой приземистой машины, как «Жигули»... Нет, за рулем он много верст и лет намотал. Но на мотоцикле. И ездил больше по безлюдным проселкам. А тут — море встречных и обгоняющих машин разных расцветок и марок, перекрестки, светофоры, пешеходы, ГАИ... Короче, большой город.

Так вот, если человек недавно за рулем и попал в городской движущийся поток, и если рядом сидит такой же салагалюбитель и самоуверенно командует: «Тормози... обгоняй...

включи поворот... тише, тише... газ, газ сбрось!..» — запросто можно вместо тормоза давануть газ и...

Впрочем, лучше с самого начала.

Николай Васильевич Горлохватов три выходных дня подряд привозил килограмма по три-четыре рыбы. И какой рыбы — хариусов! В понедельник неизменно спрашивал сослуживца Сидоркина:

- Ну как, Виктор Иванович?
- С десяток карасей по пятаку. А ты?
- Килограммов пять харьюзов.
- Крупные?
- Есть черноспинники.
- Где?.. Ловил где?
- Не так далеко, уклонялся Горлохватов.
- А точнее?

Николай Васильевич посмеивался и уводил разговор в сторону.

В очередную пятницу Горлохватов в конце дня зашел в кабинет Сидоркина и сразу – быка за рога:

- Едем на рыбалку-то?
- Едем, загорелся Виктор Иванович.
- -Жду у дома в шесть утра. У меня «Запорожец» барахлит. Бак полностью заправь. Ага. Полностью.
 - Что брать из снастей?
- Резиновую лодку, спиннинг, обманки. У тебя две лодкито? Бери обе: моя пропускает, а склеить не успею. Да! Перья петушиные есть? Захвати.

До полуночи Сидоркин крутил обманки. Жена сердилась: «каждый раз, как перед генеральным сражением...» Ровно в шесть подкатил Виктор Иванович на «Жигулях» к подъезду, где, кажется, аж на седьмом этаже жил Горлохватов. Подождал минут десять. «Этого я не люблю», – поворчал и пошел считать ступени. Лифт еще не работал, а Сидоркин грузен и, мягко выражаясь, в годах – разменял седьмой десяток. На площадке отдышался, наудачу нажал кнопку звонка. Не совсем, правда, наудачу. Слышал как-то от Горлохватова, что мастера из дома услуг недорого, но «замечательно» обили его дверь дерматином. А из трех дверей

седьмой площадки только одна красовалась иссиня-черным полем и звездочками шляпок декоративных гвоздей.

Сидоркин не успел побранить себя, что, не дай бог, потревожит кого-то по ошибке, что лучше было ждать у подъезда или совсем не ждать, успел подготовиться к тысяче извинений, пока из-за двери услышал сонный голос:

- -Xto-o?
- Николай Васильевич здесь живет?
- Папка-а, тебя спрашивают.

Зашлепали босые ноги, дверь отворил хозяин, протирая кулаком глаза. На его белом теле перекормленной женщины четко отпечатались простынные складки, синие трусы обтягивали булки ягодиц. Почему-то разнеженная фигура Горлохватова, весь его вид — кудри спутанных волос, бантик припухлых губ, пологие, округлые плечи, ямочки на локтях, жирноватая грудь без единого волосика, живот с заплывшим углублением пупка — обозлил Сидоркина. Обида за то, что Горлохватов заставил его ждать, потом взбираться на верхотуру со своей одышкой, волноваться из-за возможного беспокойства посторонних людей, многократно усилилась от созерцания сдобного избалованного тела. Обида переросла в раздражение. «В постели пробавляется! Неужто бабе не противно с ним спать?» — зло подумал Сидоркин.

- Приехал? удивился Горлохватов, вскинул брови и почесал надавы под резинкой трусов.
 - Как видишь. Между прочим ровно в шесть.
- Велика беда, если уедем позднее на десять минут. Заходи.
 Я быстро.
- Лучше подожду у машины, Виктор Иванович не скрывал недовольства.
- Мне одному вещи не унести. Заходи. Я думал, ты не приедешь и не совсем подготовился.
 - Договорились же!
 - Ты под конец ни да, ни нет. Ага. Неопределенно как-то.

Николай Викторович выволок в прихожую увесистый рюкзак. Подумал и сказал, вроде идя на уступку:

 Ладно, неси. С остальным сам управлюсь. Только сначала кофе сварю. Минут через двадцать налегке — со спиннингом и торбочкой — вышел Горлохватов. Уселся в машину, дожевывая еду, взглянул на часы:

У-у! Еще без пятнадцати семь. В самый раз. Поехали. Через Зеленую Рощу. Ага. Там укажу, куда ехать.

Сидоркин про себя клокотал негодованием. Он много лет работал педагогом, где аккуратность и точность — прежде всего. Неуважительную небрежность Горлохватова считал невежеством, даже свинством, а Николай Васильевич не испытывал никакой неловкости.

Путь лежал через весь город, но в субботнее утро улицы пустовали, даже автобусы еще не вышли на линии, лишь изредка проносились сумасшедшие таксомоторы да осторожно тянулись пунктуальные шофера-любители.

Моросил мелкий августовский дождь, будто лакированный, блестел асфальт. Машина катилась легко, играючи, с удовольствием застоявшегося жеребчика. Мягко шептал мотор, дворники ритмично смахивали капельки воды с ветрового стекла. В салоне тепло, как в квартире. Сидоркин успокоился. Он любил управлять машиной, когда нет большого движения. С ученической безупречностью выполнял все дорожные предписания. «Не машина, а чудо века, – думал он, – послушная, чуткая, бесшумная».

- На остановках отключай передачу, –подал голос Горлохватов, – а то забудесся, отпустишь сцепление и врежесся. Ага. Всяко просто врежесся.
- Подъехали к желтому светофору. Остановка секундная.
 Выключать передачу незачем, возразил Сидоркин.
- Когда у меня не было опыта, я тоже работал только сцеплением, гнул свое Горлохватов, а теперь на остановке раз! И спокойно! Ага. Отдыхают руки, ноги...

Виктор Иванович знал, что Горлохватов купил машину на полгода позднее него и два раза наехал на кого-то, помял демпфер и крыло, а при въезде в собственный гараж выдавил фару. Какой там опыт? Сидоркин чуть улыбнулся и промолчал. А Николай Васильевич долго еще развивал мысль, что и машина меньше изнашивается, и что передачу не выключают только начинающие, малоопытные водители.

Виктор Иванович не разглядел выбоину в асфальте, до краев наполненную водой. Машина ойкнула.

– Тише... осторожнее, – сразу отреагировал Горлохватов, – по мокрому живо занесет. Меня раз чуть... Хорошо, что у меня реакция моментальная.

Сидоркин не сдержался, слегка кольнул Николая Васильевича:

- Правда, что на контрольном талоне тебе дырку пробили?
- Ага. Против школы остановил гаишник, говорит: «Видишь знак? Пешеходов пропустить должен». «А пешеходов, –говорю, нет». Спорит: «Старушку чуть не смял». «Какое смял? Она еще где скоблилась. Я точно рассчитал». «Давай, говорит, права». «Не дам, говорю, ты же правил не знаешь». Куда там! Грозился номера снять. Ездил после к начальнику ГАИ. Тоже сидит дундук. В общем, зря дырку пробили.

Проехали район Зеленой Рощи, выскочили за город на щебеночную, вдрызг разбитую дорогу. Сидоркин крутил и бросал машину влево, вправо, между ямами и лужами, между выступающими булыжниками. Горлохватов без напора, но и безапелляционно, непрерывно подавал советы, которые Виктор Иванович пропускал мимо ушей. Да и советы уже опаздывали.

 – Можно было ехать серединой лужи, – бросал Николай Васильевич.

«Возможно, – думал Сидоркин, не отрывая глаз от дороги, – но посадка у жигуленка низкая. Вдруг в воде камень – картер проломишь».

Впереди крутой и затяжной подъем.

– Разгоняйся, – заторопил Горлохватов.

Но Сидоркин, так же обходя лужи и ямы, шел и шел на подъем, почти не прибавляя газу.

– Да, – наконец вздохнул Николай Васильевич, – это машина! «Запорожец» –только с разгону. Останови-ка.

Виктор Иванович притормозил, с недоумением оглянулся на напарника.

- Остановись, повторил тот, в кусты сбегаю. Ты же с постели содрал. Не успел я.
- Час от часу... Сидоркин даже расхохотался и покрутил головой.

— Ничего смешного не вижу. Наглотался второпях, будто от нескольких минут вся рыбалка зависит, вот и крутит в животе, — обиделся Горлохватов.

Перевалили еще одну гору и за поворотом свернули с гравийки на широкую луговину, и сразу машина заюзила по мокрой траве. Сидоркин остановился у обрыва под тополями, метрах в тридцати от кромки реки.

- Давай влево, по той дорожке, там спуск к самой воде, за-горячился Николай Васильевич.
 - Назад не выберемся.
 - На такой-то машине? Брось ты! Давай.

На спуске Сидоркин остановился. Спуск наезжен, и щебенки на него кто-то подсыпал. Справа в Енисей выдался просторный мелкогалечниковый взлобок. Только как на него попасть? Вода в реке прибыла, и набитый машинный след по самому берегу затоплен. Чуть правее — кочкарное болотце с кустиками тальника. Еще правее, между обрывом и болотцем — узкий проход с уклоном к реке. В сухую погоду по нему легко проскочить. Но сейчас запросто стащит в болото. Пока Виктор Иванович раздумывал и колебался, Горлохватов выходил из себя:

- Чего думать-то? Самый клев, а мы гадаем. На такой машине только безрукий не пройдет. Газку и с разгону. Всего метров двадцать.
- − Где ехать, по воде или косогору? Сидоркин был готов на все, только заткнулся бы этот Горлохватов.
 - Какой это косогор? Боже мой!..
- ...Сначала занесло зад, забуксовали колеса, и жигуленок, как по мылу, поплыл к болоту. Виктор Иванович вышел из него, обошел кругом. Выскочил неуемный Горлохватов и понес:
- Шофер называется! Как тебе права дали? Говорил: подкинь газку!
 - Она же буксует!
 - Рывочками! Давай я сам, он решительно открыл дверцу.
- Нет уж, Виктор Иванович бесцеремонно отстранил Горлохватова. Молча достал топор, пошел рубить ветки. Николай Васильевич носил их и стелил под колеса. Часа за два мучений продвинулись вперед метров на пять. Горлохватов в основном руководил. Вдруг его озарил новый план:

– Выруливай левее и – прямо по кочкам.

Сидоркину тоже показалось, что кочки невысокие и прочные. И все же опасно. Если сядешь, то окончательно. Николай Васильевич с горячностью отстаивал свою идею:

– Тут даже на «Запорожце» – нечего делать. Разве это болото? Давай. Только газу подкинь.

Жигуленок взревел, рванулся с места, проскочил метра три и сел на брюхо, кидая из-под колес фонтаны грязи.

- Bce, обреченно изрек Сидоркин, вытирая со лба пот.
- Дерьмо машина! В утиль ее! Я бы на «Запорожце»!.. махнул рукой Горлохватов. Вот влип! Угораздило связаться с тобой. Выходной пропал, вся рыбалка к такой-то матери.
- Иди рыбачь. Не держу, Сидоркин выложил из машины рюкзак Горлохватова, спининг, торбу. – Иди.
 - У меня лодки нет.
- Возьми, Виктор Иванович выбросил из багажника зачехленную лодку. За внешним спокойствием в нем назревал тайфун, угрожая взрывом. Уходи ради бога.
- Что будешь делать? мягче спросил Николай Васильевич. Ему не светило тащить груз к дороге, ждать попутную машину. И в обычные дни они не часты, а в субботу покукуешь.
 - Сам вбухался, сам выберусь, буркнул Виктор Иванович.
- Где тебе выбраться без меня? Выберусь! Ни умения, ни смекалки. Залез в болото и – выберусь!
- Уходи, гнида! взревел Сидоркин, выхватил заводную ручку, шагнул к Горлохватову. Лицо его побелело, щеки подергивались.

Виктор Иванович закурил, придержал рукой щеку. «После контузии прошло больше тридцати лет, — подумал он, — а все еще дергается, собака». Он закрыл машину ключом, пошел к дороге. Ему повезло. Вскоре остановилась бортовая машина. Молоденький шофер с усиками выслушал его, улыбнулся:

- Зачем деньги, папаша? Так подсоблю. Трос есть?
- Конечно.

Сидоркин поставил жигуленка под тополями у обрыва. Перенес снасти к воде, накачал лодку, переплыл на остров. Видел, что и Горлохватов плыл на островок, что пониже. Затем увлекся рыбалкой и забыл о нем.

Рыба ловилась хорошо, но азарта и удовольствия почему-то не было, внутри что-то перекипело, перегрелось. Контакты, что ли, подгорели на датчиках радости, и доминировал стресс.

Виктор Иванович улыбнулся: «И я заразился словечками «стресс», «доминанта», «датчики». Внук Антон не говорит, что получил двойку, а «получил стресс».

Горлохватов появился неожиданно, уже к вечеру. Сидоркин стоял по колено в воде спиной к острову и не слышал, как напарник оказался рядом.

- Таскаешь? - весело спросил он.

Виктор Иванович промолчал, продолжая мотать леску. Горлохватов заглянул к нему в торбу, воскликнул:

- Все тут поймал?
- Тут, односложно ответил Сидоркин. Он был не расположен к примирению, но и молчать как-то неловко.
 - У тебя обманки желтые! Вон в чем дело!.. Запасных нет?
 - Нет.
- Дай перышков. Я новые намотаю, как-то обыденно попросил Горлохватов, видимо, совсем не замечая неприязни Виктора Ивановича.
- В лодке возьми... в красной коробке, не оборачиваясь, указал рукой в сторону острова Сидоркин и подумал: «Чего дуюсь? Не специально же затолкал он в болото. Свою голову надо иметь».

Намотав желтые обманки, Николай Васильевич пристроился неподалеку. Вечером клев улучшился, но Сидоркин промок и озяб. Он смотал леску, направился к лодке.

- Куда ты? заторопился за ним и Горлохватов.
- Промерз. Кончаю рыбалку.
- Меня переплавь.
- У тебя вон лодка. Рыбачь, а я подожду в машине.
- Она течет... В дне дырища! он говорил так, будто ему преднамеренно подсунули дырявую лодку.

В днище лодки действительно оказалась свежепрорванная дыра, видимо, якорем. Горлохватов сам говорил, что у него на острове припрятан якорь. Сидоркин зло посмотрел, но встретил невозмутимый взгляд красивых глаз, опушенных длинными ресницами, и решил: «Завулканизирую. Спорить с ним — себе доро-

же». Сели в лодку, вторую взяли на буксир. Переправились в полном молчании. И в машине до самого города не обменялись ни единой фразой.

Но только въехали в город, Горлохватов оживился, посыпались его ценные указания. Или он осмелел оттого, что, в крайнем случае, доберется домой и на городском транспорте, или искренне верил, что без его ЦУ в сложностях городского движения не обойтись — узнай попробуй. Сидоркин сначала с каменным спокойствием вел машину, не обращая внимания на реплики пассажира, но постепенно в нем, помимо желания, копилось раздражение. Дело еще в том, что действия Виктора Ивановича естественно совпадали с командами Горлохватова. Все выглядело так, что он молча и послушно следовал его указаниям. Это придавало уверенности соседу и выводило из себя водителя.

- Левый поворот! Так. Правильно... Переходи в крайний ряд! Хорошо, не теряисся. Ага. Теряисся... тише, тише: впереди машина. Притормози. Пораньше надо было...
 - Замолчи ты наконец, не выдержал Сидоркин. Высажу!

Впереди – зеленый светофор. За перекрестком на остановке – троллейбус. Сидоркин вышел влево на обгон, пристроился за «москвичом».

И тут с левой стороны улицы кинулась к троллейбусу подвыпившая компания. «Москвич» резко затормозил, его занесло...

– Тормози! – заорал Горлохватов, схватился за руль, крутанул вправо.

Сидоркин отшвырнул его руку, давнул тормоз. Машину развернуло на мокром асфальте. Виктор Иванович приспустил педаль, выправил руль влево. Жигуленок ткнулся в демпфер «москвича», остановился. Сидоркин вышел из машины, сказал подоспевшему водителю «москвича»:

- Простите, пожалуйста.
- Вы-то при чем, папаша? Напьются, идиоты, и лезут под колеса. Поехали, пока ГАИ не подоспело.

Виктор Иванович включил передачу. Руки его вздрагивали. Машина плавно тронулась и покатилась, будто везла тяжелобольного. Горлохватов с бледным лицом и расширенными глазами сидел неподвижно.

 Говорил – врежесся, – прошептал он. – Не успел я подсказать. Ага. Не успел.

Сидоркин вдруг затормозил, с непонятной торопливостью выскочил из машины, обежал ее, распахнул дверцу, сгреб Горлохватова за грудки, выволок, как куль. С такой же поспешностью выбросил его вещи и уехал.

На жигуленке Виктора Ивановича появилась первая вмятина. Да разве в этом дело? Частник-мастеровой за десятку заделает ее — следа не останется. Хотя нет. Сдерет не меньше пяти червонцев.

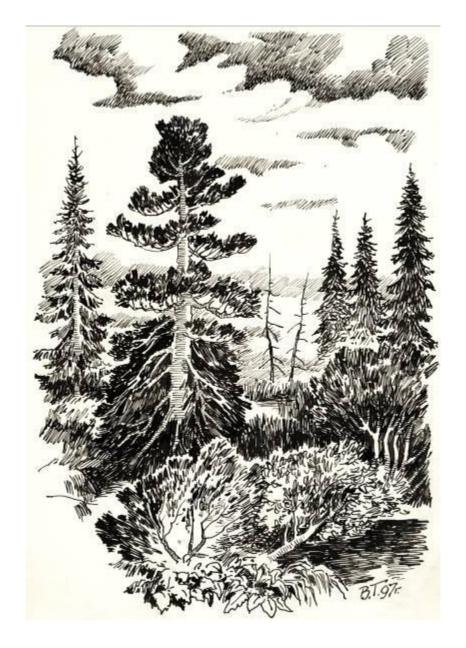
г. Красноярск, 6 марта 1982 г.

ГОЛУБЧИК

До деревушки, откуда начинался грейдированный щебеночный тракт, осталось километров десять, когда машина засела. Не помог и ведущий передний мост. Шофер Гриша, двадцатилетний плотный сибирячок, чертыхаясь, ушел за трактором. У газика остались двое: главный ветврач района Свиридов Николай Васильевич и представитель областной службы Санько Стефан Маркович.

Свиридов — худой, сутуловатый мужчина, с глубоко посаженными глазами и свислым малиновым носом. Очки в массивной оправе, седая бородка и усы ежиком облагораживали его болезненное лицо и почти скрывали фронтовую отметину — шрам от подбородка до уха. Санько, напротив, — солидный, с преждевременным брюшком и залысинами, сиял здоровьем. Приехал он по важному делу.

Из района поступили тревожные сигналы, которые указывали на возможную вспышку инфекции. Он лично побывал на отдаленной неблагополучной ферме, распорядился направить патологический материал и образцы кормов в бакветлабораторию и с чувством исполненного долга возвращался в райцентр.



Но вдруг наступило потепление, да еще с дождичком, и таежная дорога сразу раскисла. Сначала оттаял только верхний слой земли, машину водило из стороны в сторону, как по мылу, но в умелых руках Гриши она возвращалась обратно в колею и оставляла позади километр за километром. В опасных местах шофер выскакивал из машины и находил объезд. А этот овражек с прогнившей гатью обойти не удалось: справа шумела река, слева вплотную к дороге подступал лес. А промерзший грунт протаял в овражке полностью. И теперь без трактора не выбраться.

Отправляя шофера, Свиридов говорил:

– Трактор заполучить на полдня – дело, конечно, трудное. И если заминка, зайди к Прохорову, скажи, мол, Свиридов просил.

Тот не откажет. После работы поедет или сына пошлет. В район не забудь позвонить, пусть к нашему приезду анализы подготовят.

Проводив Гришу, Свиридов снял мокрый плащ, свернул его изнанкой наружу, забрался в машину и принялся что-то искать в портфеле.

- Долго здесь будем торчать? подал наконец голос Санько.
 Он вообще говорил мало, оберегая начальственное достоинство.
- В лучшем варианте часиков до двенадцати ночи, в худшем
 сутки, спокойно ответил Свиридов. Завтра повезут молоко с фермы на тракторе. Мимо никак не проедут.
- Сутки? Стефан Маркович резко повернулся, пружины под ним охнули. Шутите?
 - Какие могут быть шутки?
 - Окоченеем же к чертовой матери! А вдруг мороз?
- Может быть. А вы что предлагаете? –продолжая рыться в портфеле, спросил Николай Васильевич.
- Это вы, голубчик, предлагайте. Смею напомнить: я приехал в ваш район разобраться, как вы работаете, повысил голос Санько, нажимая на слова «ваш», «вы» и прозрачно намекая, что от него зависит, как будут квалифицированы причины возникновения инфекции, если она подтвердится. И чтобы не было недомолвок, помягче, но досказал:
- Надеюсь, догадываетесь, что заключение буду писать я. Я и никто другой.

Свиридов поднял голову, не мигая, смотрел на Санько. Лицо Николая Васильевича, и без того бледное, побелело, резче выступил синий рубец шрама. С языка готовы были сорваться злые слова, чтобы поставить на место зазнавшегося коллегу и напомнить, что в областное управление попал он по его, Свиридова, протекции. Но взял себя в руки. «Его не переделаешь, –рассудил он, – а осколок, что сидит под лопаткой, тонко реагирует на чрезмерные волнения. Так что себе дороже». Он склонился над портфелем и, наконец, нашел, что искал. Это капроновая леска с поплавком и крючком, намотанная на пенопласт. Ответил полушутя:

– Дорогой Стефан Маркович, человек пока не может управлять силами природы по своему разумению, и я не волшебник, а

то бы непременно вызвал для вас ковер-самолет и прекратил бы этот проклятый дождь.

- Бросьте неуместные шутки. Я серьезно спрашиваю: что намерены предпринять? снова слегка повысил голос Стефан Маркович.
- Человеку, как известно, прежде всего необходима пища. И в данном случае не духовная, а обыкновенная еда, о чем писал еще Людвиг Фейербах. В нашем распоряжении имеются полбулки хлеба, соль, луковица и кусочек сала. Жидковато на двоих мужиков, тем более, мягко выражаясь, в прохладных условиях обитания, в том же полушутливом тоне рассуждал Свиридов. Следовало бы пополнить наши продовольственные ресурсы. Этим я и займусь.

Санько слушал внимательно, не перебивая, его до сих пор беспокоила перспектива ночлега «в прохладных условиях». О хлебе насущном он не подумал. При отъезде плотно позавтракали. Но уже обед, а впереди еще сутки.

Стефан Маркович строго соблюдал режим питания, и в нем поднялась волна негодования на Свиридова, который не позаботился захватить провизии в дорогу для представителя области. «Беспечный человек, — возмущался он про себя. — Торчим в тайге под дождем, провизии нет... В районе инфекционное заболевание скота, а он шуточки шутит. О каких-то продовольственных ресурсах толкует. Только бы выехать отсюда, я приведу его в чувство». А вслух спросил:

- Магазин рядом или ресторан?
- Рядом тайга, будто не замечая издевки, ответил Свиридов. Вернусь часа через два. Вам рекомендую развести костер, иначе действительно окоченеете. Вот спички, а вот вам плащ и резиновые сапожки. Для наших мест самая модная одежонка. Я захватил на всякий случай.
 - Меня оставляете одного? заметно струхнул Санько.
 - Ненадолго, улыбнулся Свиридов.
- Может, сначала перекусим, чем бог послал? Стефан Маркович особо выделил последние слова, вкладывая в них свой смысл и намекая на беспечность районного врача.

Но на этот раз Николай Васильевич не понял намека.

– Никоим образом, – ответил он тоном, не допускающим возражений, а закончил опять, как показалось Стефану Марковичу, шуткой. – Обстановка вынуждает меня объявить военное положение. Как бывший фронтовик, всю полноту власти и ответственности беру на себя и требую безоговорочного подчинения...

Санько демонстративно смерил Свиридова прищуренным взглядом сверху вниз и отвернулся.

– Если не хотите в лучшем варианте попасть в больницу, – закончил Николай Васильевич и ушел.

Санько долго и неподвижно сидел в машине, втянув голову в плечи. Положение ему казалось катастрофически безнадежным. Он бранил себя, что согласился поехать в этот забытый богом район. Вполне мог отказаться, сославшись на нездоровье жены. У нее как раз была повышенная температура.

Вспомнив о жене, Стефан Маркович представил, как дочь вернулась из школы, как они с мамой неторопливо обедают в теплой кухне, и ему сделалось нестерпимо жаль себя. «Мотаюсь на краю света в холоде и голоде, кто это оценит? — невесело подумал он. — Схватишь пневмонию, а то и вовсе попадешь на Бадалык». Все его существо воспротивилось такой мысли. Он поежился от холода. Ноги в полуботинках мерзли, видимо, от них распространялась мелкая внутренняя дрожь по всему телу.

Санько достал сапоги, в них нашел шерстяные носки. Переобулся. Натянул брезентовый плащ поверх демисезонного пальто. Стало вроде потеплее. Он вылез из машины, захватив спички. Дождь прекратился, в воздухе кружились редкие снежинки. Стефан Маркович огляделся, выбрался из грязи на чистое место. «Где же Свиридов? – подумал он. – Третий час, как ушел. Впрочем, сидит где-нибудь в избушке, в тепле... Ест что-нибудь. В избушках всегда же оставляют припасы». Санько, не разбирая грязи, вернулся к машине, достал сумку с продуктами, отломил половину хлеба, нашел сало, завернутое в холстину, и стал жадно есть.

Остатки хлеба убрал в сумку, вытер руки о полу плаща, сказал вслух:

- Теперь можно и костер разводить.

Но сколько ни бился, костра разжечь не сумел. Махнув рукой, снова забрался в машину, завел ее. От работающего мотора и печки пошло приятное тепло, и Санько задремал...

Очнулся он оттого, что заглох мотор. Стефан Маркович медленно поднял голову, открыл глаза.

- Горючее жжете, а заправка только в райцентре, с раздражением выговорил Свиридов, убирая в карман ключ зажигания. Когда он пришел, Санько не слышал. Стефан Маркович промолчал. Сидя в машине, он видел, что Свиридов развел костер и что-то колдовал вокруг него. Затем подошел к машине, сутулясь больше обычного, достал сумку с продуктами, заглянул в нее, долго молчал.
- Детей за такие дела наказывают по мягкому месту. Взрослых... на фронте ставили к стенке, зло выговорил он. Ну, а вас... вас прошу обедать..

Стефан Маркович вспыхнул от обиды, поклялся отомстить за оскорбление, но, помедлив, вышел из машины, с напускным безразличием подошел к костру и глазам не поверил. На лапнике лежало десятка два крупных хариусов. Свиридов потрошил их, подсаливал и укладывал в полиэтиленовый мешок, а над углями костра, на вертелах из веток, румянились золотистой корочкой рыбины, испуская сказочно аппетитный запах. С них капал и шипел жирок. Возле костра стоял котелок с чаем, настоянным на ветках смородины.

 А говорили – вы не волшебник, – польстил повеселевший Стефан Маркович. – Царский обед!

Николай Васильевич отрезал по кусочку хлеба, остатки убрал в сумку на завтрак. Подал Санько кружку с разведенным спиртом. Тот выпил, передернув плечами, и приступил к рыбе. Ел он аппетитно, но с каким-то неуловимым изяществом. Что называется, смаковал и похваливал то и дело:

Чертовски вкусно. Ничего подобного никогда не пробовал.
 Пальчики оближешь. – И облизывал пальцы.

Свиридов ел вяло. С трудом дожевав хариуса, закурил и сидел молча, время от времени поправляя костер.

Обед опоздал. Будем считать, что это и ужин, – сказал он,
 с усилием поднимаясь. – Пора на ночлег.

Было видно, что он очень устал.

Пока Стефан Маркович, обжигаясь, допивал чай, Свиридов написал записку, оставил ее в машине, достал из багажника зачехленное ружье, выплеснул остатки чая, котелок засунул в сумку и повторил:

- Пора на ночлег. Пошли.
- Куда? удивился Санько.
- Недалеко. Засветло успеем.

Шли с полчаса. Вышли на поляну со стогом сена, огороженным жердями. Снег пошел гуще, быстро потемнело, лес, окружавший поляну, виделся черным контуром, где-то рядом шумел перекат. Стефан Маркович поежился от сознания жуткой оторванности от привычного мира, затерянности в безлюдной, безжалостно неуютной тайге. Он не мог взять в толк, зачем нужно было уходить от машины и от костра в холодную темень, в ночь? Он рассчитывал, на худой конец, на охотничью избушку.

Свиридов сбросил ружье и сумку, пролез между жердей и долго возился под стогом. Около него росла куча по-летнему душистого сена.

 Идите сюда, – позвал он. – Закройте лицо капюшоном и заползайте под стог.

Санько очутился в просторном углублении, где было сухо и тепло, вытянулся во весь рост, пошевелился, устраиваясь удобнее и затих.

- Спокойной ночи, сказал Николай Васильевич, зарывая входное отверстие сеном.
 - А вы куда? затревожился Стефан Маркович.
 - Такую же нору сделаю.

...Санько проснулся и не сразу сообразил, где он. А когда вспомнил все, даже улыбнулся. «Пневмония, Бадалык, — подумал он. — Тут год прожить можно. Расскажу в управлении, не поверят. А жена... вот уж поохает». Но какое-то беспокойство слегка кольнуло его и все нарастало. Он прислушался. Тихо. Абсолютно тихо. Ни единого звука, ни единого шороха. Сделалось страшно. «Бросил! Одного в тайге бросил!» — пронеслась убийственная мысль. На лбу выступила испарина.

Стефан Маркович проворно выбрался из-под стога и зажмурился. Вся поляна, черные кусты и лес засыпаны снегом. Угрюмо, с какой-то угрозой, шумела река в перекате. От стожка сена в

сторону леса тянулся след. «Бросил, подлец, – обреченно заключил Санько. – Говорил же, к стенке поставить надо». И вдруг увидел костер. Отходил постепенно, будто возвращаясь с того света. Теперь рассмотрел он и Свиридова у опушки леса и направился к нему.

- Как спалось? спросил Николай Васильевич, улыбаясь в усы.
- Прекрасно. Я же говорю, вы настоящий волшебник. А чем это так... так изумительно пахнет? окончательно успокоившись и счастливо улыбаясь, спросил, в свою очередь, Стефан Маркович.
- Глухарку подстрелил. Собирался будить на завтрак, а вы тут как тут.

Только позавтракали, пришел трактор. Приехал сам Прохоров вместе с Гришей.

Они сначала вырубили лед, затем выдернули машину. Прохоров выпил полкружки спирта, запил водой, вытер седые усищи рукавом и пробасил:

– Поезжайте. Теперя дорога пойдет гладкая, а я хлыст прихвачу на дровишки.

Опасения были напрасными. Инфекция не подтвердилась. Бакветлаборатория дважды перепроверила анализы и дала отрицательное заключение. Санько обрел прежний начальственный вид и в этот же день уезжал домой. На прощанье сказал Свиридову:

– Все обошлось хорошо. Зря волновались, голубчик. Да я и не дал бы вас в обиду.

Николай Васильевич проводил его до машины и распорядился:

 Гриша, отвези Стефана Марковича на станцию и помоги купить билет. Скажи Дусе, мол, Свиридов просил нижнее место.
 Она не откажет.

Санько полез в газик, но спохватился:

- Да, чуть не забыл! Голубчик, не могли бы вы хоть пару соленых хариусов, жену угостить. Сами понимаете... Побывал в таежном районе, и...
- Они в машине, перебил Свиридов, пока приедете домой, как раз все усолеют.

- Bcex... всех можно забрать?
- Забирайте.
- У вас добрая душа и широкая, истинно русская натура, рассыпался в любезностях Стефан Маркович. Я где-то читал, что фронтовики, выражая высшую похвалу человеку, говорили, мол, пошел бы с ним в разведку. Я на войне не был, но скажу, что с вами, голубчик, я лично смело пошел бы в разведку.

Николай Васильевич слегка пожал протянутую руку и, не оглядываясь, ушел в контору.

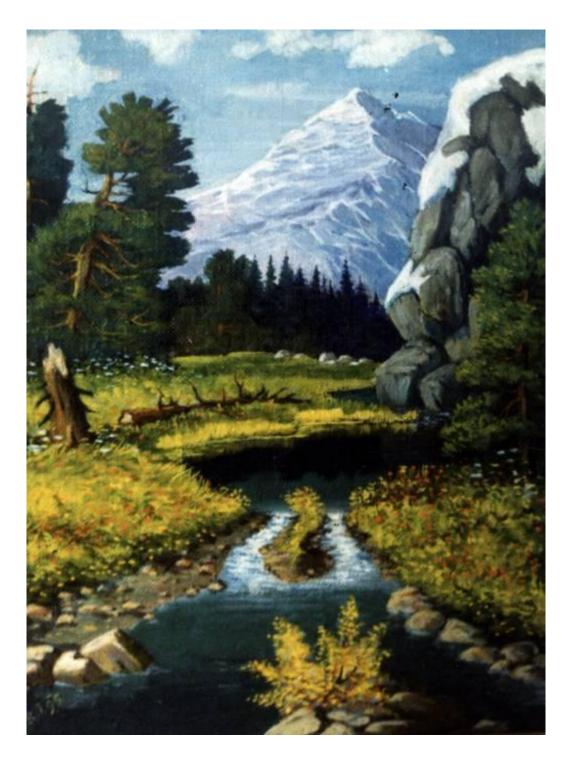
г. Красноярск, 1982 г.

ЭЛЕМЕНТ

Армия рыболовов-любителей умножается неудержимо. Впрочем, не только рыболовов, но и грибников, и ягодников, и даже алкашей. Примечательно, что рыболовы подтрунивают над грибниками, ягодники над рыболовами, все над алкашами, а те над всеми.

Но речь о рыболовах. Эти фанатики, независимо от возраста, профессии, должности, по неуловимым приметам распознают, с полуслова понимают друг друга и взахлеб обсуждают свои проблемы.

- Должно, хариус пошел?
- Пора, весна-то ранняя.
- Сусед в субботу, говорит, во-от таких! Граммов по пятьсот!
 - − Где?
 - На шиверах.
 - Темнит. Я всю субботу там хлестал. Пара белячков.
 - А пора же?
 - Конечно, пора.
 - Махнем?
 - Махнем.
 - На чем?
- На автобусе до свороту. А там и делов-то... километров семь-восемь.



В субботу вскочат приятели ни свет ни заря. Любыми средствами — до автовокзала (городской транспорт еще не ходит). В автобусной давке-мялке километров сорок и пехом около десяти. Хватанут по две-три рыбки!.. Думаете, угомонятся?

- Через неделю все одно пойдет!
- А куда он денется?

Бухгалтер горпромкомбината Шилов Петр Архипович – рыболов-любитель с солидным стажем.

За пятьдесят с гаком лет излазил он речушек, рек, озер и прудов – хоть картотеку заводи. Но ни разу не ставил он сети, не ходил с бреднем или сачком.

Уважаю только удочку и шпининг, – с гордостью заявлял он.

Зимой каждую субботу сидел он на льду, изредка таскал окушков, приговаривал:

– Допрыгался?.. Ишо и шарашиться, едрена корень. Шагай сюды...так.

Старуха, конечно, ворчала:

- Чумовой. Пра, чумовой. Опять снарядится. Хоть ба кран починил. Текет же.
 - Слесаря позови.
- Его дозовесся. Жди. А и придет, бутылку ставь, она безнадежно махала рукой. Как об стенку горох!

Ближе к весне Шилов начинал готовить летние снасти. Да не с маху, а исподволь, растягивая удовольствие. Сначала вечерами по часу, по полтора дотошно осматривал, соединял бамбуковые колена, подолгу держал в руках каждое удилище в отдельности.

– Рассохся, едрена корень. А так сноровистое. В прошлом годе такого карася-чертяку!.. А ничего, сдюжило. В дугу! А сдюжило.

Сортировка занимала вечера четыре, а то и больше. Затем из хорошо просушенных чурачков тесал он и вбивал клинья, закрепляя соединительные муфты на складных удилищах, которые рассохлись за зиму. Покончив с удилищами,

Шилов приступал к пайке поврежденных мотовилец для лески, пропускных колец. Глядишь, март на исходе, а ремонтным работам конца не видно. В выходные дни он по-прежнему ходил на подледный лов, а потому с подготовкой летнего снаряжения засиживался до полуночи. Готовил десятка три больших и малых поплавков. Отдельно на карася, отдельно на хариуса, отдельно на щуку и окуня. Их можно, конечно, купить. Расходу – копейки. Но самодельные лучше, а главное – удовольствие!

В авральные дни отчетов сидел Шилов в конторе допоздна, даже в выходные дни. Мучился оттого, что вынужден торчать над отчетами, а его сосед, сантехник жилконторы, конечно, на

Енисее, рыбачит, шельма. Когда от дебит-кредитов у Шилова цеплялась мозга за мозгу, брал он тайм-аут, выходил в проходную покурить и потолковать со сторожем Михеичем, ясное дело, о рыбалке.

– Моя бы власть, – начинал Петр Архипович после затяжки, – я б всех, которые с неводом или сетью шастают, – к ногтю, как вшу тифозную, как опасный элемент.

Михеич, похоже, рад скрасить одинокое бдение, подхватывал разговор:

- Конечно, нельзя всяко-просто, неводом. Но ты того... загнул, Архипыч. Елемент – энто, который совсем, скажем, обчеству поперек дороги.
- А браконьер душой изболелся за общество? Да он только себе гребет, подлец! На других ему наплевать.
- Навроде оно и так. Однако и шпинингом, али как его?.. То же рыбку имают не для профсоюзу и обчественной столовой. Себе ловют-то, Михеич улыбался глазами, чуя, что задел бухгалтера за живое, и теперь тот скоро не уйдет.
- Сравнил! разводил руками Петр Архипович. Рыбалка удочкой культурный отдых на природе. На речке... на свежем воздухе. После работается в охотку. Значит, обществу прямая выгода. А рыбу поймал, не поймал не главное.
- Дык сиди себе возля речки, дыши воздухом. Возражениев нет. А рыбу-то, говорю, себе ж ловют, – гнул свою линию Михеич.
- Отдых нужен активный. Как не поймешь? Я, к примеру, неделю сижу в конторе. В выходной, говоришь, сиди на берегу. До геморроя досидишься. А рыбалка спорт, физкультура. Понял? Здоровью польза.
- Так ты бегай! развивал наступление сторож. Погляди, что поутрянке деется. Все наскрозь бегут мужики, девки. Бабы даже, и те, натянут трико, того гляди лопнут на срамном месте, и бегут. Ей-богу! Пыхтят, а бегут, язвы. Хоша и неловко на энтих баб глядеть, однако энто ж гольная физкультура. Для здоровья первое дело. А рыбаки все ш таки норовят рыбу поймать.
 - Ну и что?
 - Тож, значит, себе гребут.
 - Чего гребут-то?

- Знамо, чо. Рыбу.
- Да сколько?
- Коли как. Шпининг от середки Енисея швыряют. Ты ж сам сказывал, мол, ведро харьюзов натаскал. Это место и бредешком не словишь.

Шилов прижег новую папиросу, изучающее глядел на Михеича. Внутри у него что-то кипело. Он сдерживал себя.

- Назад, что ли, в Енисей рыбу выкидывать?
- Пошто? Пымал на щербу и не имай боле-то.
- В год, может, раз такое бывает, проворчал Петр Архипович. Азарт же.

Михеич хохотнул, покрутил головой.

- Азарт? он снова хохотнул. Ежели азарт, тады, конечно, где сдержаться? С собой тады не совладеть! Азарт... тут уж все!
- В том и дело! обрадовался Шилов. –Душа, понимаешь, поет, когда лапти такие...
- Хорошо. Рыбы пымал, можно сказать, под завязку. Домой принес, похвастался. Тож поди интересно?.. Похвалиться?
 - Ясно, улыбаясь, подтвердил Петр Архипович.
- Идем дальше. Душа напелась от азарту и похвальбы. Потом чо?
 - Как чо?
- Воздуху, говорю, надышался, физкультуру от геморрою изделал, азарт и все такое... A рыбу куда?

Шилов опоздало понял, что старик завел его в ловушку. Молчал. Тянул время.

– Себе поди на жареху отложил, суседу отнес, который, как я – военный инвалид, остатнюю – в детсад, ребятишкам. Так?.. То-то! – Михеич выключил электрочайник, всыпав в него заварки, сел на табурет, отставив деревянную ногу. – Чайку желательно?

Шилов швырнул недокуренную папиросу, хлопнул дверью. Вошел в бухгалтерию, сел за стол. Но как ни силился вникнуть в столбики цифр, ни хрена ни получалось. Он помучился с полчаса, поворчал на сторожа и собрался домой. В проходной помялся, сел к столу.

- Осерчал? спросил Михеич.
- Нет, соврал Шилов.

- Осерчал, усмехнулся сторож, а здря.
- Еще бы! В браконьеры и хапуги зачислил.
- Опеть загинаешь... В прежние времена сетью ли, бредешком ли не возбранялось, а рыбы было куда супроть нынешнего! Пошто бы? А по то, бредешок-от, к примеру, на всю деревню один имелся. Купить его ого! Денег стоит. А самому сплести недосуг...

Едем, бывало, на покос. Отец когда и бредешок выпросит. Сам он цельный день машет косой — хоть рубаху выжимай. Нам, робятишкам, и то никакого роздыху. А день, бляха, долгий, долгий. К вечеру токо, когда с ног падаешь, скажет отец-от:

Робята, подите – рыбки на уху. Да не порвите бредень – башку откручу.

Сделаем три-четыре захода, бредем к костру. Там уже картошка допревает. И вот — уха! Из свежей рыбки, да с устатку! Что ты! Из ноздрей слюна текет, во рту не помещается. И все одно, бывает, уснешь. Не до ухи. Смекаешь? С удочкой лоботрясить недосуг было.

Теперь конечно! Кряду два выходных. Одни, значит, с удочкой, другие — алкаши по-нонешнему — водку жрут, третьи марки от конвертов собирают, как детишки малые. И даже, говорят, будто такие есть, каликцинеры, что ли, которые коробки из-под спичков собирают, — Михеич залился тонким смешком. Вытер выступившие слезы и продолжал:

- Я и говорю: время пустого до черта стало. Опеть же, и денег развелось... Бредень ли сеть купить раз плюнуть. Потому и остережение: токо удочкой. Ловют и сетью, которые крадучись, а которым, вишь ты, все дозволено. Их, ясно дело, хоша не к ногтю, чтоб токо мокро, а за ворот потрясти надо бы.
 - Об этом я и говорил, вставил Шилов.
- Да ты слухай сюда. Я мозгую, что кое-кому и сетью имать можно бы дозволить. Но не на продажу, а себе. Мне, к примеру, ногу-то на войне немец оттяпал... Сетешку да с лодки и я бы закинул с березовой ногой. А попадись-ка! Ты вон чо к ногтю, как вшу... Обидно как-то. Я за что воевал? За народ, за землю отцов, за леса, речки и так далее. И за рыбу тоже. А как уха пахнет, позабыл давно... Минтай тьфу! Разве энто рыба? Ну, да чо там?.. Энто я, так... к разговору.

- Давно сказал бы, Михеич... Уж на уху-то я бы обязательно...
- Дык, я не токо о себе. Разве меня одного война обрубила?
 Покурили молча. Говорить было не о чем, но почему-то встать и уйти Шилову было неловко. Наконец он поднялся, сказал:
 - Пойду я, и тихо прикрыл за собой дверь.

г. Красноярск, 1982 г.

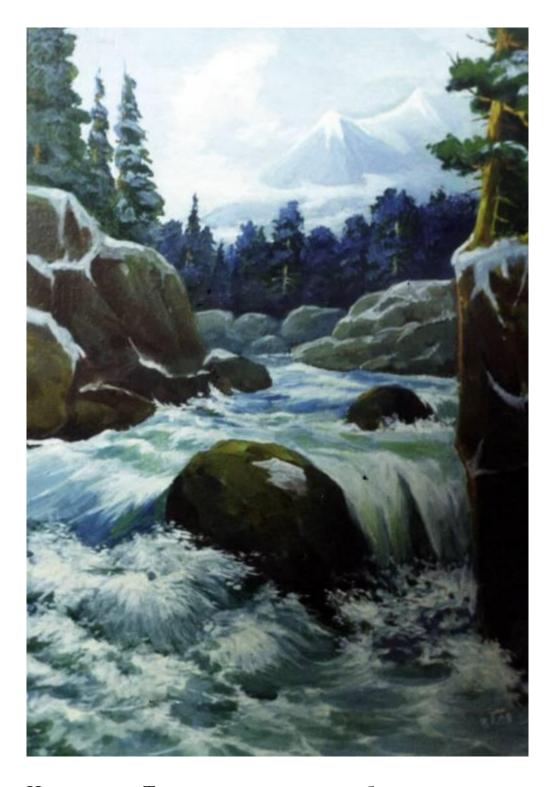
ТУМАН

Вероятно, придет время, когда я одолею свою теперешнюю слабость. Но сейчас все физические и душевные силы надорваны. Потеряна всякая воля — жить страшно и умереть страшно. И, видимо, естественно желание в таком состоянии с кем-то поделиться душевными муками, переложить хотя бы часть груза на близких. Конечно, это тоже слабость. Но излить душу я и приехал вчера в Винзили к давним знакомым.

Пять лет назад наша семья отдыхала в этом чудесном уголке, у этих простых хороших людей. Степан Михайлович – коммунист, в прошлом комиссар батальона, Мария Алексеевна – современная, достаточно развитая женщина. Оба они пенсионного возраста. И диво ли, что меня потянуло к ним в трудную, критическую минуту жизни.

Автобус «Тюмень–Богандинка» за полчаса докатил до знакомого отворота в Винзили. Километр прошел я по сосновому бору, разодетому в серебряный зимний убор, но я ничего не видел: меня душили слезы и глухие рыдания.

У калитки встретил меня Туман. Туман – небольшая собачка, короткошерстная такса. Я и раньше знал, что таксы отличаются особой добронравностью. А собачья преданность и поразительная чуткость Тумана меня просто потрясли.



Не раз мы с Туманом ночевали у рыбацкого или охотничьего костра, затевали возню в кипени душистых трав, укрывались в непогоду под плащ-палаткой или под стогом сена. На охоте он не был мне помощником, но хлеб свой ел не зря: покой «хозяина» оберегал рьяно, угадывал каждое слово и желание.

Как только открыл я калитку, Туман с дикой радостью кинулся ко мне, лизал руки, скулил от восторга. Я присел около не-

го, гладил его выпуклый лоб и только шептал: «Туман, Тумашка, Туманчик...» Он сразу почувствовал, что со мною творится чтото неладное. Лег. Притих. Поджал куцый хвост. Убитым, пришибленным взглядом проводил по двору в дом.

Шуваевы мне посочувствовали, выслушав исповедь, но и сурово осудили. Однако сейчас речь не об этом. Туман скреб и царапал дверь, визжал и метался по двору, пока его не впустили в дом. И за весь вечер ни на минуту не отошел от моих ног. Умными, тревожными глазами следил за каждым моим движением. Как часто бывает в таких случаях, мы со Степаном Михайловичем распили спасительную бутылку. Вскоре я забылся тревожным сном. Туман много раз за ночь подходил к моей постели, обнюхивал меня, лизал руку и с тихим вздохом уходил в свой угол. Рано утром я чуть слышно прошептал: «Туман» — и протянул в темноту руку. Он сразу кинулся к руке и даже затеял подобие игры: небольно кусал пальцы, прыгал, неумело притворялся веселым. У меня снова хлынули слезы. Туман мгновенно сник. Положил морду на лапы и тихо, с бульканьем в горле, завыл.

И сейчас, когда мы остались в доме с Туманом и я пишу эти строки, он деликатно лег в сторонке, подолгу пристально и грустно смотрит на меня. Смотрит неотступно, но старается, чтобы я этого не заметил.

Я сижу у стола к нему боком и вижу, как он, напряженно вытянув остроносую мордочку, не спускает с меня глаз. Но только я оглянусь на него, он виновато опускает глаза, свертывается калачиком и делает вид, что поудобнее устраивается на подстилке. Отвернусь — все повторяется снова. Кажется, вот-вот я услышу вопрос: «Скажи, наконец, что же с тобой случилось?»

Верно судят, что собака все понимает, но говорить не умеет. Если бы Туман мог говорить! Он бы не был столь жесток, как некоторые из людей. Я повернулся к нему и разговариваю вслух:

«Туман! Милая собачка! Насколько же ты можешь быть благодарен за сделанное когда-то добро! И сколько доброты в твоем маленьком сердце! Спасибо тебе, что заставил взять бумагу и писать. Это уже облегчение». Он вскочил, навострил чуть вздрагивающие уши, не пропускает ни одного звука. Я уверен – Туман понимает меня.

п. Винзили, 22 февраля 1971 г.

СЛАВА КАПРИЗНА

Студент Дылдин получил очередную двойку: он защищал честь института по тяжелой атлетике и, сознавая свою исключительность, не очень радел к наукам. В тот же день куратор группы ассистент Перепелкин, прозванный студентами Мамочка моя, близоруко щурясь через очки минус пять, выслушивал нравоучения декана:

- Плохо работаете, товарищ Перепелкин. Идите в общежитие, так сказать, в народ. В студенческую гущу... проникните в их, так сказать, внутренний мир...
- Мамочка моя! Разве я не ходил? слабо защищался Перепелкин.
- Плохо ходили, напирал декан. Вы им должны быть как мать родная, чтобы... зажечь, так сказать, вдохновить, повести за собой... Учтите, товарищ Перепелкин, успеваемость в группе не растет, Дылдина вы, так сказать, проглядели, а в этом году подходит ваш срок переизбрания по конкурсу.

Едва закончив занятия, Перепелкин устремился в общежитие, на ходу прожевывая пирожок, купленный по пути у лоточницы. Когда он вошел в комнату, Дылдин лежал на кровати поверх одеяла и неторопливо обдумывал, чем бы заняться. Двойка его не беспокоила. «Сами будут просить, чтобы пересдал, и тройку поставят. А куда им деваться? Соревнование скоро», — злорадствовал он.

При появлении Перепелкина Дылдин поднялся с кровати, нескладной горой возвысился над невзрачным куратором, скользнул по нему взглядом, отвернулся. «Сейчас начнет: «Ну, мамочка моя!..» – поморщился Дылдин.

- Федя, необычно начал Перепелкин, почему ты не занимаешься? Ребята в читальне, с книжками. А ты?
 - Я занят, буркнул Дылдин.
 - Чем?
- Мне... надо... мне... мямлил Дылдин, выигрывая время, и вдруг выпалил: Мне надо ужин варить.
 - Сходи в столовую, развел руками Перепелкин.
- Денег нет, безбожно врал Дылдин. «Предки» не забывали своего Федю, и он только что плотно поужинал.

- Мамочка моя! прошептал Перепелкин и надолго задумался, хмуря белесые бровки. «Вы им должны быть как мать родная...», вспомнил он слова декана.
- Хорошо, решительно произнес Перепелкин, садись, Федя, занимайся, а я... я тебе ужин приготовлю.

В медвежьих глазках Дылдина впервые мелькнуло что-то заинтересованно живое. «Вот чокнутый», — мысленно усмехнулся он. Однако достал книгу и обстоятельно разместился за столом. Его разбирало любопытство.

С этого и начались события, которые прославили Перепелкина на весь институт. А впрочем, по порядку.

Перепелкин слетал в гастроном, раздобыл сковороду у технички тети Фени и минут через тридцать, довольно улыбаясь, водрузил перед Федей глазунью с колбасой и зеленым лучком. На следующий день Перепелкин «сработал» блинчатые пирожки. Затем принес целый чемодан посуды и чемодан книг и конспектов. Захватил и «Книгу о вкусной и здоровой пище». Теперь он между делами готовился прямо на кухне к занятиям и к сдаче кандидатского минимума. Всю неделю Дылдин исправно занимался: его забавляла эта игра.

Справедливо подметили поэты: «не пропадет ваш скорбный труд» и «слава тебя найдет». Слава нашла Перепелкина прямо на кухне общежития, куда пришел декан и пожал ему руку. Дылдин ликвидировал двойку, пересдал на «хорошо». На научнометодической конференции института Перепелкин сделал доклад «О работе с отстающими студентами». Декан, выступая в прениях, сказал много теплых, задушевных слов:

– Товарищ Перепелкин сумел, так сказать, проникнуть во внутренний мир студента, зажечь, вдохновить, повести, так сказать, за собой...

На торжественном заседании института 7 марта Перепелкина избрали в президиум. Ему вручили почетную грамоту. Перепелкина ввели в состав методического совета. Перепелкин купался в лучах славы. И когда он снова застал хмурого Дылдина на кровати в сапогах, и когда на прямой вопрос, какая печаль гложет внутренний мир Феди, тот ответил, что бельишко стирать надо, умудренный опытом Перепелкин знал, что делать.

Через полтора часа Перепелкин развешивал на морозце выстиранное и подсиненное белье Дылдина.

Трудно сказать, какими новыми формами обогатил бы Перепелкин методологию воспитательной работы, но слава капризна. Слава преходяща.

Перепелкин провалил кандидатский экзамен, запустил научную работу, плохо готовился к занятиям. Его не избрали по конкурсу. От него, говорят, ушла жена.

– Зазнался товарищ Перепелкин. Перестал, так сказать, работать над собой, – констатировал декан.

А Дылдину готовил завтраки и ужины новый куратор – ассистент Воробьев, прозванный студентами Милочка моя. Белье Дылдину стирала жена Воробьева, студентка-заочница того же института.

г. Красноярск, январь 1978 г.

ИВАН ДОРОФЕЕВИЧ

У профессора Коршунова Вениамина Ефремовича не было детей, ни от первого брака, ни от второго, хотя первая жена умерла при родах. Он заведовал лабораторией в медицинском институте и без остатка отдавался работе. Лаборатория для него, застарелого вдовца и аскета, не имеющего, похоже, и родичей – дом родной, и семья, и хобби и цель жизни... В общем, свет в окошке.

Во внешности и характере Коршунова мало такого, что могло нравиться женщинам. Может, оттого он и женился во второй раз поздно, пятидесяти пяти лет. Невысокого роста, необычайно худой (обезжиренный, по определению злоязыких остряков), неулыбчивый и замкнутый, ходил Коршунов прямо, с выправкой кадрового военного, будто выставляя напоказ единственное достоинство во внешности — пышную шевелюру седых волос. Говорил он тихо и скрипуче, замечания делал бесцеремонно. Старомодная вежливость не смягчала его замечаний, скорее, наоборот.

– Вы, Любовь Ивановна, изволили опоздать на четыре минуты. Надеюсь, это не повторится.

Вениамин Ефремович приходил в лабораторию за пять минут до начала работы. Ровно в восемь начинал обход владений. Задерживался только там, где обращались за помощью. Чаще только здоровался, но обязательно называл по имени и отчеству: «Здравствуйте, Федор Петрович. Здравствуйте, Нина Петровна. Позвольте напомнить, что завтра истекает срок окончания анализов». Он ограничивался короткими сухими замечаниями в своем, Коршуновском, духе и совсем редко садился за приборы или обсчеты результатов сам, но тогда последовательно перепроверял все до мелочи и почти обязательно находил либо ошибку, за которую сразу следовал выговор, либо неожиданное решение.

Во второй раз обходил он опустевшие помещения после работы, «ловить блох», как шутили недовольные. Завтра, при утреннем обходе, Коршунов скажет: «Позволю указать вам, Анна Федоровна, на непростительную небрежность...»

Сотрудники не помнили случая, чтобы Коршунов забыл кого-то поздравить с днем рождения. Но поздравлял он сугубо официально, без пышных слов. Строгую педантичность Вениамина Ефремовича выдерживали не все. Случалось, после двухтрех замечаний на стол ложилось заявление. Он не удерживал. Но кто проработал у Коршуна – так его звали за глаза – год, а тем более два, оседали крепко и надолго.

Трудно сказать, чем привлекал сотрудников заведующий. Одно бесспорно — они его меньше боялись, чем уважали. Может быть, за справедливую требовательность к другим и в первую очередь к себе, что позволяло лаборатории без штурмовщины и суеты справляться со сложными трудоемкими проблемами. Может быть, за энциклопедические знания. Может, за то, что он не присваивал себе чужих трудов, и почти все сотрудники имели патенты. Аспиранты Коршунова перенимали въедливую пунктуальность шефа и без помех защищали диссертации.

Однажды, закончив обход лаборатории, он сказал:

- Нина Кузьминична, будьте любезны, зайдите ко мне. - И, не задерживаясь, прошел мимо.

Голубцева дорабатывала вместе с Вениамином Ефремовичем второй десяток лет и знала, что лаборантов он приглашал для разговора неприятного. Но знала и другое: заведующий часто

ставил ее в пример за безупречную исполнительность, аккуратность и точность.

Она вошла в кабинет, прикрыла дверь, остановилась в нерешительности.

– Проходите, пожалуйста. Садитесь, – Коршунов пододвинул ей стул и сел напротив. Заговорил с обычной прямотой: – Я, видите ли, очень давно живу один. Вы, любезная Нина Кузьминична, тоже одна и, если я не ошибаюсь, работать вам стало утомительно. Квартиры и зарплаты нам хватит только моей. Если ваши намерения не сообразуются с моими, примите извинения за беспокойство.

Голубева растерялась. Ее нисколько не удивила форма, в какой сделано предложение. Она успела хорошо узнать Вениамина Ефремовича. Взволновало другое... Когда-то давно, после смерти первой жены Коршунова, она хотела и ждала этого предложения. Давно отчаялась ждать и давно забыла, что ждала. А сейчас только прошептала:

- Нам же за пятьдесят, Вениамин Ефремович!
- Тем необходимее быть вместе.

Нина Кузьминична рассчиталась с работы, переехала к Коршунову. Очень скоро сотрудники лаборатории отметили перемены в поведении шефа. Он остался таким же педантом, но в уголках требовательно строгих глаз нет-нет и появлялись лучики складок. Мягче стали его замечания. А ординатор Бороздин уверял, что видел, как Коршун шел по улице и улыбался.

Вениамин Ефремович в гости не ходил, никто из сотрудников и аспирантов в его квартире не был ни разу. Он остался верен себе и после женитьбы. Даже регистрацию отметили вдвоем.

К тому времени поступил в аспирантуру к Коршунову Иван Петренко — этакий жизнерадостный крепыш. В первую неделю он налетел на три замечания шефа. Сотрудники советовали ему «смазывать лыжи».

– Рано говорите гоп, – прищурился Петренко.

Он как-то сразу преобразился, просто и без видимых усилий. Приходил ровно за пять минут, уходил с работы последним. Усидчивость, пунктуальность, строгость, казалось, въелись в него с пеленок. Он не позволял ни малейших вольностей с девушкамилаборантками, как было в первые дни. Тихо сидел за отведенным

столом, лопатил литературу, обложившись книгами и журналами, и без устали писал и писал. «Второй Коршун, — посмеивались сотрудники, — а второй экземпляр всегда хуже». Петренко не реагировал на подковырки и грыз «гранит»... Отрешенная работоспособность делала свое дело. Через месяц он обратился к шефу:

– Вениамин Ефремович, разрешите к вам на консультацию по методике и календарному плану работы.

Коршунов взглянул на часы, ответил:

– Через двадцать минут прошу.

В назначенное время Петренко открыл дверь кабинета.

- Можно, Вениамин Ефремович?
- Окажите честь, шеф не скрывал недовольства. Он считал, что Петренко спешит и не созрел для такого разговора. Коршунов придерживался правила: аспирант должен иметь самостоятельное решение и отстаивать его. А если руководитель жует ему кашу ученого не выйдет.
 - Давайте вашу методику...

Перед сном Коршунов обязательно выходил на балкон и часок отдыхал в шезлонге, даже зимой. Теперь они с женой после ужина гуляли или сидели на скамейке в парке, вели тихие беседы. Она живо интересовалась делами лаборатории:

- Как твой аспирант? Петренко, кажется?
- Толковый парень.
- Да?
- Да. За месяц перечитал значительный объем литературы, осмыслил ее и подготовил методику. Каково?
 - Он сирота?
- Вырос в детском доме, родителей и родных, видимо, нет, Коршунов зябко поежился. Пойдем, Ниночка, отдыхать: мне что-то не совсем хорошо.

Уже в постели Нина Кузьминична неожиданно спросила:

- Не позвать ли его на ужин в воскресенье? Я пироги испеку с рыбой.
 - Кого?
- Ваню Петренко... Мальчик поди и домашней стряпни не пробовал.

Коршунов долго молчал, ответил уступчиво:

— На опыте убежден — интимное знакомство с руководителем побуждает панибратство, кое особо вредит аспирантам. Но если ты настаиваешь... Можно сделать исключение.

Пришел Петренко тютелька в тютельку, как сказано. Постаромодному приложился к ручке хозяйки, преподнес ей букетик мимоз.

– Спасибо, Ваня!.. Иван Дорофеевич, – поправилась она. – Мои любимые! Как удалось раздобыть в такую пору? Проходи...те.

Петренко про себя ликовал. Он дотошно продумал все тонкости исключительной чести — быть приглашенным к Коршуну на ужин. Чести, которой не удостоен ни один сотрудник и ни один из двенадцати его предшественников-аспирантов. Учел мнение сослуживцев, что после женитьбы шеф стал мягче, что Нина Кузьминична человек отзывчивый и чуткой души. Провел, как про себя шутил Петренко, дисперсионный анализ и пришел к однозначному выводу. «Теперь, — потирал он руки, — завоевать симпатию Нины Кузьминичны». Он выведал, что больше всего она любит мимозы и, потратив воскресение, раздобыл их у цветовода-любителя, не считаясь с ценой. Петренко видел, что очень угодил Нине Кузьминичне, и не жалел ни денег, ни потраченного времени. У него были все основания быть собой вполне довольным.

Коршунов был подчеркнуто сух и сдержан, но за ужином предложил выпить о рюмке коньяку.

– Спасибо, Вениамин Ефремович, не употребляю, – отказался Петренко.

Супруги выпили по наперсточку, и у Нины Кузьминичны загорелись щеки. Она ласково поглядывала на гостя и не удержалась, спросила:

– Вы родителей не помните?

Петренко мгновенно сообразил: «Вон что! Жалость. Этого я не учел». Выдержав паузу, он ответил:

– Смутно... Они утонули в половодье. Мне было три года. Тетка отказалась взять: своих пятеро... Помню, в детдоме мне показывали фотографии моих родителей. Но и они затерялись. Перед поступлением в институт ездил на родину, наводил справки – никого из родных... А без этого... как-то неуютно.

Ужин закончился в полном молчании. Перед уходом Петренко снова коснулся губами руки Нины Кузьминичны и сказал тихо, ей одной:

– Спасибо. Все было хорошо и вкусно... Как дома побывал.

Опасения Коршунова не оправдались: Петренко знал свое место и с прежним прилежанием работал самостоятельно. Наконец заведующий лабораторией сам подсел к нему:

- Затруднения имеются?
- Почти нет, Вениамин Ефремович.
- Что значит «почти»?
- Первые данные несколько не совпадают с рабочей гипотезой. Ищу объяснение.
- Покажите, Коршунов подвинул счетную машинку, пересчитал столбики цифр, просмотрел первичные материалы, хмыкнул. Нашли объяснение?
- Полного совпадения, видимо, не должно быть из-за индивидуальной реакции живых объектов на сходные раздражители.
- Верно. Тем не менее, проверьте еще раз генеалогию подопытных свинок. Особенно во второй группе. Видимо, допущены ошибки в их подборе. О результатах меня информируйте.
 - Хорошо, Вениамин Ефремович.

Во второй раз Коршунов пригласил к себе Ивана Дорофеевича, чтобы составить компанию в загородной прогулке. До женитьбы Вениамин Ефремович таких вылазок не предпринимал. Но оказалось, что Нина Кузьминична любила лес, любила собирать грибы и даже удить рыбу. Тут-то Петренко окончательно покорил ее доброе сердце и стал желанным гостем в квартире Коршуновых.

Как-то в воскресенье Иван Дорофеевич принес черный халат, ящик инструментов, которые одолжил в гараже института, и подкрутил все протекающие краны, расшатанные розетки, выключатели, шпингалеты на окнах. Нина Кузьминична только разводила руками. Украдкой улыбался Вениамин Ефремович. Сам он гвоздя забить не умел.

– Ваня, милый, пылесос что-то... А в мастерскую далеко. Может, сумеешь? – попросила Нина Кузьминична. И, обернувшись к мужу, пояснила: – Мне можно и Ваней. Здесь не лаборатория, чтобы официально.

Петренко поколдовал над пылесосом с полчаса, и тот удовлетворительно загудел.

Целую неделю все разговоры Коршуновых вертелись вокруг Вани Петренко. Наконец они решили освободить одну комнату и позвать его к себе: чего мытарить в общежитии? Так у Коршуновых появился неусыновленный сын, да разве в формальностях дело?

Но Коршун есть Коршун. В лаборатории он был так же придирчиво строг, и самые щепетильные сотрудники не могли бы упрекнуть Вениамина Ефремовича за поблажки приемному сыну. Зато дома он едва успевал просматривать газеты и поддерживать необходимую переписку с друзьями. Все время посвящал Ване и его исследованиям.

Шло время. Петренко защитил диссертацию, уехал по назначению. Нина Кузьминична поплакала и даже слегла. А Коршунов все-таки позвонил знакомому профессору, попросил помочь Ивану Дорофеевичу, чего никогда раньше не делал.

Письма были редким праздником, особенно для Нины Кузьминичны. А время по-прежнему шло и шло. Время, время! Всему время. Время молодости и нерастраченных сил. Время старости и недугов. У Вениамина Ефремовича стало пошаливать сердце. И пришло время, когда он понял, что заведовать лабораторией ему трудно. Возраст для ученого не так, чтобы... Но сердце! Третий раз за зиму слег в постель, а в лаборатории – исследования по специальному заданию Министерства здравоохранения. Мог ли Коршунов, с его педантичностью, быть спокоен? Он приподнялся на локте, позвал жену:

– Нина, подойди поближе. Сядь и слушай... Думаю предложить на свою лабораторию Ивана Дорофеевича. Сам останусь сотрудником. Приглашать кого-то... Столько труда вложено, такие исследования начаты... А Ваня – парень с головой и моей выучки.

На том и порешили.

Директор института сначала и слушать не хотел, и все же Коршунов уломал его.

– Только очень прошу, дорогой Вениамин Ефремович, помогайте вашему протеже. До сих пор за вашу лабораторию я был совершенно спокоен и впредь полагаюсь на ваш опыт и знания, – сдался директор.

К приезду Петренко Коршуновы приготовили его комнату. Нина Кузьминична испекла пирог и все сетовала:

– Почему едет один? Зачем оставлять жену и дочку? Мы бы уступили большую комнату, пока получат квартиру.

Рейс задерживался. Весь день шел мокрый снег, и Коршуновы думали, что самолет не прилетит совсем. Несколько раз подходили они к окошку справочного бюро. Наконец диктор неразборчивой скороговоркой отбарабанил, что рейс такой-то прибыл.

Иван Дорофеевич посолиднел. Он торопливо обнял Нину Кузьминичну, пожал руку Коршунову и, как бы предупреждая ненужные разговоры, сообщил:

- Я забронировал номер в гостинице «Сибирь». Сегодня отдохну с дороги, завтра с утра в институт.
 - Мы комнату приготовили... начала Нина Кузьминична.
- Не смею беспокоить, прервал ее Петренко и решительно разрубил воздух ладонью, достаточно стеснял вас в аспирантские годы.

А дальше и разговор уже не склеился. Показалось даже, что Петренко и не хотел разговора. Он подошел к такси, открыл дверку, приглашая Коршуновых на заднее сиденье, сам сел впереди, распорядился:

- Гостиница «Сибирь».

Возле гостиницы сунул шоферу деньги, вышел из машины, сказал бодро:

– До завтра!

И ушел.

Что-то кроме личной обиды не понравилось Коршуновым. Но каждый оставил свои мысли при себе. Мало ли что покажется обидчивым старикам. Самоуверенность? Это не так уж плохо. Конечно, по-другому думали они встретить Ваню – почти сына...

В квартире их притиснула непонятная тяжесть. Еще этот накрытый стол с пирогом посредине... Молча выпили по чашке кофе, не глядя в глаза друг другу. Молча легли в постель...

Через три дня на ученом совете директор института объявил:

 Переходим к последнему вопросу повестки – информация товарища Петренко о приеме иммунологической лаборатории.
 Прошу, Иван Дорофеевич.

Петренко оглядел собравшихся, заговорил, не заглядывая в листок и чеканя слова:

– Прием и передача произведена по описи. Акт подписан... – он сделал затяжную паузу, – Но считаю необходимым довести до сведения ученого совета и руководства института, что исследования в лаборатории проводятся слишком медленно, а главное, устаревшими методами. Отсутствует коллегиальность в решении вопросов, от которых зависит здоровье тысяч людей. Полагаю...

Коршунов резко встал, громыхнув стулом, вышел из зала заседаний, стремительно прошел в свой кабинет, накинул пальто и никак не мог попасть рукой в рукав. Следом вбежал Петренко. Заседание совета, видимо, прервали.

– Вениамин Ефремович, поймите! Мне работать, а вам теперь все равно...

Коршунов, наконец, нащупал рукав, ушел из кабинета.

Умер Коршунов от инфаркта в два часа ночи в городской больнице. У Нины Кузьминичны не вышел пенсионный возраст. Она договорилась мыть полы в подъездах своего дома.

г. Красноярск, 1982 г.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

Доцент Горелов – декан факультета механизации сельского хозяйства – третий день числился в отпуске. Но все эти дни с утра до позднего вечера сидел он в своем маленьком кабинете, просматривал личные дела абитуриентов и беседовал с будущими студентами.

Сегодня Горелову хотелось закончить дела пораньше: директор комбайнового завода просил заехать к нему дать заключение о некоторых изменениях в конструкции комбайна, предложенных комсомольцами бригады Василия Шеина. Опытный образец с этими изменениями был готов.

– Разрешите войти, Виктор Александрович? – пропел приятный женский голос.

Горелов поморщился. Добротное кресло скрипнуло под его грузным телом.

«Опять какая-нибудь слишком влиятельная мамаша, — подумал он, — пришла хлопотать за свое избалованное чадо». И сказал:

– Пожалуйста.

В кабинет вошла высокая стройная дама с копной темных вьющихся волос. Одета она была со вкусом. В меру декольтированное платье с коротким рукавом давало возможность видеть красивые женские формы ровно настолько, чтобы это не было слишком легкомысленно для ее возраста.

Вместе с дамой, смущаясь, вошел юноша в рабочем комбинезоне, испачканном в мазуте. Беглого взгляда было достаточно, чтобы узнать в нем сына вошедшей дамы: такие же, как у матери, большие угольно-черные глаза с длинными ресницами, прямой нос с тонко очерченными ноздрями, маленький рот с пухлыми губами и такая же изящная родинка на верхней губе.

– Проходите, – сказал Горелов, – садитесь.

Дама прошла и села напротив Горелова, юноша остался стоять: он чувствовал себя явно неловко.

Я слушаю вас, – Горелов вскинул глаза, отрываясь от бумаг.

Мило улыбаясь, на него смотрела Банина. Банина Мария Сергеевна. Впрочем, у нее теперь, конечно, другая фамилия. Но это она, Маша Банина училась вместе с ним в школе рабочей молодежи маленького уральского городка.

Горелов работал тогда на заводе. Отец не имел возможности учить сына: многодетная семья Гореловых постоянно испытывала материальную нужду.

Сколько бессонных ночей провел Виктор Горелов, страстно влюбленный в Машеньку Банину. Но не один он вздыхал о Маше. Очень красивая, избалованная дочь заведующего магазином, она лишила сна многих заводских парней.

Свое утешение Горелов находил в математике. Это была его вторая страсть. Еще не окончив средней школы, он изучил курс высшей математики.

Банина училась слабо. За неуспеваемость ее исключили из школы. Она несколько лет пропустила и заканчивала вечернюю десятилетку.

Как-то Маша подошла к Горелову, взяла его за локоть и сказала:

- Витя, ты помоги мне, пожалуйста, по математике.
- Это можно, стараясь казаться безразличным, ответил Виктор. Что тебя затрудняет?
- Все понемножку, призналась Маша, не выпуская его локтя. Мне нужна постоянная, длительная помощь.

Потом она взглянула в лицо Виктора и тихо-тихо спросила:

– Поможешь? А?

Виктор первый раз так близко увидел глаза Маши, удивительно глубокие, нежные и чуть лукавые. В горле у него вдруг пересохло. Он с трудом выговорил:

– Хорошо... Хорошо, Маша. Помогу.

Затем, немного успокоившись, спросил:

- Только когда и где?
- Как тебе удобнее, улыбнулась она, я ведь не работаю пока и свободна в любое время.

Они договорились приходить в школу на час раньше и ежедневно заниматься прямо в классе. Уже через две недели математические знания Маши явно улучшились. А через месяц она получила первую четверку за письменную работу по тригонометрии.

Раздавая листочки, учитель математики, добродушный толстяк Петр Андреевич, широко улыбаясь, сказал:

Смотрите, товарищ Банина, Горелов из вас Ковалевскую сделает.

В этот вечер Виктор и Маша вышли из школы вместе, и, как только остались одни, Маша остановилась против него и сказала:

– Спасибо, Витенька.

Затем обхватила шею Виктора и обожгла горячим поцелуем. Виктор не успел опомниться, а Маша бросилась бежать вдоль улицы. Горелов в несколько прыжков догнал ее, как ребенка, поднял сильными руками, не почувствовав тяжести.

Машенька, милая Маша, – без конца повторял он, целуя ее глаза, губы, щеки.

- Хватит, медведь, шутливо отбивалась она.
- Милая... шептал Виктор.
- Ну, Витька, правда, хватит: губы распухнут.

Домой Горелов возвратился под утро. Улыбка не сходила с его широкого лица. Пальто было расстегнуто, шапка чуть держалась на затылке.

Теперь перед тем как выйти из дому, Горелов подолгу стоял перед зеркалом и критически рассматривал свое скуластое лицо с глубоко посаженными глазами и старательно отутюженный простенький костюм.

Виктор был глубоко счастлив. И всякое дело на заводе, дома, в школе удавалось ему просто и хорошо, казалось, без особых усилий. Но счастье это продолжалось недолго.

Однажды в школе погас свет. Электрики из числа учащихся отправились к распределительному щиту, а все остальные разбрелись по длинному коридору. Горелов тоже вышел из класса и стал разыскивать Машу. Но ее нигде не было. Наконец Виктор по голосу узнал Банину. Она стояла у окна с какой-то девушкой и звонко смеялась. Горелов направился к ним, но, не дойдя несколько шагов, остановился: девушки говорили о нем:

 И чего ты нашла в этом Горелыше? – спросила Машу собеседница.

Это была Тоня Позднеева из девятого класса, очень легкомысленная и взбалмошная девица.

- Математику, шутливо ответила Банина.
- Да брось ты! Так я тебе и поверила, что ты вдруг математикой увлеклась! засмеялась Тоня. Зря Витьку дурачишь и себе вредишь. Ты посмотри, какие парни о тебе тоскуют. Хотя бы Виталик: симпатяга, да и папаша у него инженер.
- Инженер-то папаша, а не Виталик, раздумчиво возразила Банина. А Горелову все пророчат большую будущность, в том числе и папаша Виталика. И я верю этому: Виктор очень способный. А знаешь ли, что это значит, Тонечка? Столица, дача, курорты, театры. Вот что это значит!
- Театры, передразнила Тоня. Когда это будет. А сейчас он гол как сокол. Наверно, в кино сходить не на что.
- Сейчас меня мой папочка ссужает, рассудительно ответила Маша.

Девушки замолчали. Молчал и Виктор, оставаясь незамеченным.

– Конечно, Горелов не ахти какой красавец, – опять заговорила Банина спокойным жестким голосом. – Да и мужиковат, как медведь. Но ничего. Поживем – увидим. А пока я его попридержу около себя: это не так уж и трудно.

Вспыхнул свет. Девушки оглянулись и увидели Виктора. Он стоял бледный. Маша ласково улыбнулась и хотела что-то сказать ему. Но Горелов резко отвернулся и почти бегом, не одеваясь, выскочил из школы.

...Простудившись, Виктор проболел до самой весны. Он стал молчалив и задумчив, целыми часами неподвижно просиживал на крылечке. Силы его восстанавливались медленно.

... Через много лет Виктор Александрович снова встретился с Баниной.

Он вернулся с фронта по окончании Великой Отечественной войны и работал в школе учителем физики и математики, решив политехнический институт заканчивать заочно.

Трудной была зима. Основной пищей по праву считалась картошка, которую выращивали всюду, даже на улицах и в парках на цветочных клумбах. Виктор Александрович демобилизовался в ноябре и поэтому собственных запасов не имел.

Скоро наступили морозы, а Горелов так и ходил в кирзовых сапогах, в хлопчатобумажном обмундировании и шинели. Даже шапку купить пока не мог. Пришлось к армейской фуражке пришить суконные уши.

Директор школы договорился выписать по сто килограммов картошки для демобилизованных учителей из подсобного хозяйства завода, и Горелов отправился в межрайторг с заявлением.

Курносая бойкая девушка, прочитав заявление Горелова, сказала, указывая на большую дверь, обитую черным дерматином:

– Зайдите к главному бухгалтеру, Марии Сергеевне.

Виктор Александрович вошел в кабинет и сразу узнал Банину. Она стала еще более красивой. Умеренная полнота сгладила девичью угловатость, и все линии сделались плавными и спокойными.

Банина тоже узнала Виктора Александровича и, окинув его чуть насмешливым взглядом, сказала:

– Товарищ Горелов, у меня сейчас неприемное время. Зайдите позднее.

Кровь отхлынула от лица Горелова. Глаза сузились. Он медленно смял заявление и молча вышел, плотно прикрыв дверь.

- ...Дама, неожиданно появившаяся в кабинете доцента Горелова, была Мария Сергеевна Банина.
 - Я слушаю вас, сказал Горелов.
- Дело в том, Виктор Александрович, заговорила Банина, что мой Валентин буквально помешался на разных машинах и механизмах. Я бы могла его устроить на хорошую работу, но он и слушать не хочет: он, видите ли, желает только в ваш институт. Но на экзамене набрал мало баллов.
- Чем же я могу быть полезен? сдержанно спросил Горелов.
- Ваше слово было бы решающим... Банина сделала короткую паузу, но, увидев, что Горелов недовольно хмурится, поспешно продолжила. Сейчас так много говорят о чутком подборе молодежи в институты с учетом их наклонностей.

Виктор Александрович молчал. Он не хотел выказать при этой женщине ни раздражения, ни подчеркнутой холодности. Это было бы похоже на месть.

- В школе считали, что у Валентина большие математические способности, – закончила Банина, слегка наклонив голову.
- Хорошо, сказал, наконец, Горелов, это можно проверить. Только не обессудьте, Мария Сергеевна, мы поговорим с вашим сыном наедине.

Банина замялась: такой поворот дела ей не понравился. Но, сдержавшись, она ответила с прежней любезностью:

– Благодарю вас, Виктор Александрович! Я всегда была совершенно уверена в вашем добром сердце.

И вышла мягкой неторопливой походкой.

Горелов встал и отвернулся к окну. Он знал, что говорить с ее сыном не о чем.

– Вы не обращайте внимания, что наговорила мама, – заговорил все время молчавший Валентин. – Никаких особых способностей у меня нет. И в аттестате по математике четверка. Но в

их ОРС я, конечно, не пойду, а в ваш институт поступлю на следующий год.

«Неплохо подрепетировала мамаша, – подумал Горелов. – А зачем же вы в таком случае пришли?» – хотел спросить он.

– Я бы к вам не пришел, – будто догадываясь, о чем думает Горелов, сказал Валентин, – Но... Но мама хотела пойти одна и хлопотать за меня, унижаться. Это было бы еще хуже.

«Значит, и к такому вопросу подготовила многоопытная мамаша», – улыбнулся про себя Виктор Александрович.

Затем, повернувшись к юноше, измерил его взглядом снизу вверх и, указывая на комбинезон, спросил:

– Для чего этот маскарад?

Валентин не сразу понял смысл вопроса, а потом начал медленно краснеть и сделался вдруг пунцовым до кончиков ушей.

- Это не маскарад. Я спешу на комбайновый завод... начал юноша, чеканя слова.
 - -Зачем? Позвольте вас спросить, перебил Горелов.
- Мы внесли некоторые изменения в существующую конструкцию комбайна...
 - Кто «мы»?
- Ну, мы комсомольцы бригады Василия Шеина. Сегодня должен приехать на завод какой-то ученый смотреть опытный образец.
- Любопытно, Горелов сел в кресло и пригласил юношу сесть напротив, где только что сидела Банина.
- В чем заключаются эти изменения, если не секрет? спросил Виктор Александрович.
- Какой же тут секрет! Валентин достал карандаш и забегал глазами по столу. Горелов подвинул ему лист бумаги.
- Это крепление, говорил Валентин, быстро рисуя на бумаге узел комбайна, было громоздко и ненадежно. Часто поступали жалобы. Мы его переделали так.

Предлагаемая конструкция отличалась простотой, но Горелов хорошо понимал, что именно эта простота и свидетельствует о технической зрелости конструкции. Это не упрощенчество, а находка.

Чем дольше говорил юноша, тем больше он увлекался и без конца рисовал на листе бумаги болты, втулки, подшипники, не замечая, что Горелов давно смотрит на него с улыбкой.

Наконец Валентин умолк.

- Молодцы, сказал Горелов. Только вот здесь... он ткнул пальцем в один из рисунков Валентина и, немного подумав, спросил:
 - Как ваша фамилия?
 - Кулешов.

Виктор Александрович нашел личное дело абитуриента Кулешова Валентина. Внимательно его просмотрел, затем зачеркнул надпись «документы вернуть» и написал сверху: «зачислить».

– Так, вот, товарищ Кулешов, – сказал Горелов, – в институт мы вас зачислили. Нам как раз такие студенты и нужны. А ваш опытный образец поедем смотреть вместе. Минут через пять подойдет машина.

г. Красноярск

никаких волнений!

Пенсионер и инвалид войны Неверов Николай Алексеевич с утра отправился в домоуправление. Он вчера выписался из больницы, и соседи, на попечении которых оставалась квартира, предупредили:

– В туалете протекает труба. Замучились.

В течение ночи Николай Алексеевич четыре раза вычерпывал из туалета воду, а с утра явился в домоуправление. В одной из трех комнат застал он по-мужски остриженную рыжую женщину лет сорока, с помятым лицом и в замызганных вельветовых брюках. Неверов вошел в открытую дверь и спросил:

- Скажите, пожалуйста, к кому обратиться за помощью? В моей квартире авария, течет труба.
- Где? не глядя на посетителя, спросила женщина и раскрыла конторскую книгу.
 - В туалете.
 - − Где?

- В моей квартире...
- Где?! женщина повысила голос с нотой раздражения и наконец повернула голову в сторону посетителя. Она слегка и как-то обидно улыбнулась, вроде встретила непроходимого тупицу или врожденного дебила.
- Адрес, что ли? заволновался Неверов и отчеканил: Забобонова, десять, квартира сто двадцать девять.

Женщина, как выяснилось позднее, техник четвертого участка домоуправления, наскоро записала адрес в толстый журнал и спросила:

- Что там у вас? Сварка потребуется?
- Не знаю, я не специалист...
- В этом любая баба разбирается.
- А я не разбираюсь. Я биолог, опешил Неверов.
- Меня не интересует, кто вы. Где течет, толком сказать можете?
- Течь в толстой трубе с горячей водой. Течет у самого пола, струей...
- Ясно. Нужна сварка, прервала его женщина и отрубила:Сварщики заняты.
 - Как же быть? Может, пока бандаж поставить?
- Какой бандаж? Вы соображаете? У самого пола!.. Все умники, все грамотные, все советы дают!.. Женщина на минуту задумалась. Где живете?

Неверов пожал плечами:

- Вы же адрес записали!
- С кем живете?
- Один.
- Рядом с лифтершей?
- С какой лифтершей?
- Вы что, в самом деле! В соседях с вами живет лифтерша?
- Н-не знаю... Нет.
- Как же нет? На первом этаже?
- Да. Я живу на первом этаже.
- А говорите нет! В сто двадцать седьмой квартире, рядом с вами, живет лифтерша. Там и работают сейчас сварщики. Как только закончат, перейдут к вам. Давно в доме живете?
 - С момента его заселения, с 1976 года.

- С ума сойти! И не знаете соседей?
- Знаю. Молодая пара: Нур и Лена...
- Правильно, поощрительно улыбнулась женщина, молодая симпатичная пара.
 - И сын у них Сережа, добавил Неверов.
 - Сына у них нет. Ясно?
 - Не ясно.
- Тогда слушайте сюда. Сына у них нет. Он слесарь, а она и есть лифтерша. Дошло?
- Но Лена второй год не работает после родов, а он, Hyp, тренер, спортсмен.
 - Что вы меня путаете? Пенсионер?
 - Кто?
- Вы! Вы, говорю, пенсионер? женщина ткнула пальцем в грудь Неверова.
 - Да.
- Так я и знала! женщина даже откинулась на спинку стула и глядела на Неверова с улыбкой как на законченного дурака.

Николай Алексеевич почуял нехорошую дрожь где-то под ложечкой, левое веко задергалось в тике. Он знал, что в следующее мгновение может взорваться. Чтобы не видеть ее снисходительно обидной улыбочки, отвлечься и успокоиться, отвел глаза и стал старательно читать запись в журнале. Потом подчеркнул ногтем запись и воскликнул:

- Что вы, голубушка, написали? И дом, и квартиру перепутали! Дом-то десять, а не восемь, и квартира сто двадцать девять, а не сто двадцать восемь!
- Не кричите! взвилась женщина, А то милиция рядом! Ходят тут всякие! Вас вон сколько, — она показала на конторскую книгу, — а я одна.

Однако взяла ручку и исправила запись, продолжая возмущаться:

– Слова толком сказать не могут и еще орут.

Неверов молчал. Он всю жизнь проработал педагогом, отмечен орденом и медалями за трудовые и ратные подвиги, а эта техник по санузлам крыла его как хотела. Но труба течет. И Неверов целиком зависит от этой суматошной бабы в штанах. Потому стоял и молчал.

Сантехническая богиня куда-то звонила по телефону, с кемто говорила, чего-то писала, не обращая внимания на какого-то пенсионера.

Неверов не выдержал:

- Как же мне быть?
- Ждите дома. Может, сегодня успеют.
- Но квартиру заливает, а завтра суббота, а затем воскресенье...
 - Почему раньше не заявили?
 - Я вчера вышел из больницы.
 - Кто-то же с вами живет! женщина снова занервничала.
 - Вы спрашивали, а я отвечал, что живу один.
 - На кого-то квартиру оставляли?
 - На соседей.
 - С них и спрашивайте.

Субботу и воскресенье Николай Алексеевич через каждые два часа вычерпывал воду. В ночное время работал в таком же режиме по будильнику. В понедельник с утра отправился в четвертый участок домоуправления и всю дорогу успокаивал себя. Это и понятно. Из-за проклятой контузии врачи строго наказали ему: «Никаких волнений! Прежде всего — спокойствие». А Неверову предстояло еще гнать машину на техосмотр, который он не успел пройти в положенное время из-за болезни. А ГАИ — это вам не жилуправление! Так что никаких волнений!

г. Красноярск, 1983 г.

ЧЕМУ ЗАВИДОВАЛ?

Задерганная осень из последних сил боролась с нахрапистой, ранней зимой.

К середине дня южный ветерок потеснил тучу, и солнце расплавило снежок на крышах домов и на асфальте, а в тени нетронутый снег лежал белыми лоскутами, будто расстеленные холстинки. К концу дня снова подморозило, в воздухе замелькала крупа.

Инженер проектного института Частиков Николай Андреевич ждал автобус. На остановке безлюдно. Только какой-то молокосос с усами обнимал девчушку, хихикал и елозил губами по ее щеке. Девушка наигранно капризничала, кому-то подражая:

- Фэликс! Усы колются нестэрпимо!

Частиков отошел в сторону и отвернулся.

Шаркая ногами и опираясь на резную трость, подошел Олег Павлович Барченко. Остановился около Частикова, отдышался, спросил:

- На пенсии?
- Пока нет.
- Я на пенсии, скривил он губы. Помедлил и добавил: Республиканскую персоналку хлопотал... Не дали. Свои же, местные, зарезали.

Держался он, как прежде, барином. Но обрюзг. Щеки отвисли, веки — под отечными наплывами, когда-то полные губы усохли, сморщились, и весь он какой-то рыхлый и неопрятный.

– Не дали персональную пенсию, хапуги, – продолжал он начатую мысль, которая, видимо, не оставляла его. – А бывало: Олег Павлович, не откажи, Олег Павлович, пожалуйста, выручи... сочтемся!.. Выкручивался. Доставал через не могу... и сочлись! Разве не подлецы?

Щеки его дрогнули, глаза скрылись под наплывами, пористый нос, с фиолетовыми прожилками, покраснел. Трость, не слушаясь хозяина, ходила ходуном.

«Расквасился Барченко», – безразлично подумал Частиков и спросил:

– Чем занимаешься?

Олег Павлович приподнял брови, не понимая, о чем спрашивают.

- Хобби рыбалка, грибы, ягоды?
- Хобби! хмыкнул Барченко. Сердце барахлит, одышка замучила, а ты хобби... Да и не привык я к этой чепухе. Без того и рыбы всякой, и грибов хватало.

Подошел автобус. Частиков уехал.

«Встретились – ни здравствуй, ни до свидания», – думал Николай Андреевич, покачиваясь на сиденье автобуса.

В школьные годы он дико завидовал Олегу. Чего скрывать? И позднее завидовал. А еще позднее ненавидел его.

У Кольки Частикова — шесть братьев и сестра, а Олег один у родителей. И родители его, ого! Начальник УРСа и главбушиха! Колькина мать — домохозяйка, отец — счетовод. Черт-те как давно было, а Николай Андреевич помнил, как ел варенье Олег. Не смаковал. Лопал столовой ложкой, как кашу. Варенье из малины. Запашина — в глазах темно! А он ложку не облизал, швырнул на стол, спросил Кольку:

- Задачку решил?
- Ага.
- Дай списать варенье попробуешь...

Помнил, как Олег мял пальцами хлеб, кидал собаке. И хлебто белый!.. Помнил его портфель с блестящими застежками...

В семье Частиковых тогда мать делила хлеб по кусочку, сахарный песок — чайной ложечкой, картошку в мундирах — по счету. Вместо портфеля носил Колька самодельное произведение из некрашеной фанеры. Как не завидовать? И девчонки, конечно, крутились возле Олега класса, однако, с четвертого.

После семилетки Олег – в торговый техникум, Колька – на завод. В вечерней десятилетке доучивался, собирался осенью в институт. И... война. Да долгая, сволочь!

Но обошлось. Вернулся Частиков с орденом и медалями. Ногу, правда, покалечило. Двое братьев с войны не пришли. А Олега и война обошла. Возвеличился он, рукой не достать, как отец – по торговой части.

Времечко ж было! Голодное. Послевоенное. Только верой и надеждой, окрыленный собственным подвигом, жил народ. На одной картошке жил. Завком вырядил Частикову пятьдесят килограммов картошки как участнику и инвалиду войны, не имеющему своих запасов. В Горторге выписали накладную. Осталось подписать ее, внести плату и получить картофель на базе. Накладные подписывал обычно заместитель начальника торга, но его не было, и Частиков решил зайти к Барченко.

Секретарша запротестовала, но, увидев награды на гимнастерке солдата, пропустила в кабинет.

Олег Павлович сидел за широким столом в кресле. Его крупную фигуру плотно облегал серый разутюженный костюм.

Копна темных волос подчеркивала холеную белизну слегка располневшего лица. Перед ним — стакан чая в кружевном подстаканнике. Склонив голову, Барченко просматривал газету.

 По личным вопросам сегодня не принимаю, – сказал он, не глядя на вошедшего.

Частиков продолжал стоять, улыбаясь. Он думал, что Олег взглянет на него и обрадуется бывшему однокласснику.

Зазвонил телефон. Барченко снял трубку.

– Да. Я. Здравствуй... минуточку, – он прикрыл трубку ладонью, резко вскинул голову. Повторил с раздражением: – Сегодня не принимаю. Я занят. Понятно?

«Не узнает», – думал Николай Андреевич, широко улыбаясь.

– Товарищ Частиков, выйдите из кабинета! Вы мешаете работать! – Барченко нажал кнопку, сразу же в дверях появилась секретарша.

Николай Андреевич смял в кулаке накладную, вышел, стараясь не хромать...

На кипятке без заварки, на хлебе не досыта, в солдатском латаном обмундировании Частиков закончил вуз. С тех пор и работал в проектном институте. Теперь заведовал отделом. Несколько раз встречались они с Барченко в горисполкоме. Делали вид, что не знают друг друга. И вот новая встреча...

«Чему я завидовал?» — размышлял Частиков. Знал он теперь, что вкус хлеба не распознаешь, если не дрожал над куском, не берег крошки. Аромат варенья не разнюхаешь, если по полному рту столовой ложкой. «Не привык я к этой чепухе», — вспомнил он и усмехнулся. Чем жил этот человек? Чего он видел? Ни радости настоящей, ни страха. Впрочем, страх, конечно, был. Доставал же. Ему доставали. Но ради чего страх? Унизительный страх вора! Сам себя обокрал человек. Он и не жил вовсе, а так... ел по полному рту, греб себе. Не дали ему незаконный кусок, он и расквасился.

Такова природа человека. Любовь без страданий — не любовь, жизнь без борьбы и лишений, без побед и радостей — не жизнь. Даже здоровье и силы расходуются экономнее, если расходуешь их ради большого, важного дела. «Какие воды, огни и трубы довелось мне пройти? — раздумывал Частиков. — А против него — орел! Так чему я завидовал?!»

г. Красноярск, март 1983 г.

СОДЕРЖАНИЕ

О патриотизме в истории России и судьбе уче	еного В.А. Головина3
Старший брат	
В пургу	12
Майор Чистяков	
Спасибо, друг!	30
Шустряк	39
В вытрезвителе	60
Старый храм	
Суслониха	
В дождливую ночь	
Першинский корень	
Витька Бидонов	110
Веня Шуруп	126
Сисимские перекаты	143
Черемша	147
Щучья жадность	152
Опыт поколений	153
Биджуль	155
Лидка	175
На ветрах Севера	179
В тундре	193
Трудная зимовка	
Тимпания	209
Жук	220
Вмятина	231
Голубчик	240
Элемент	248
Туман	254
Слава капризна	257
Иван Дорофеевич	259
Мария Сергеевна	
Никаких волнений!	274
Чему завидовал?	277

Рассказы

Головин Владимир Андреевич

Рисунки выполнены автором

Составитель Г.Н. Антоник

Дизанй, макет, вёрстка Г.Н.Антоник Редактор Т.М. Мастрич

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.49.04.953.П. 000381.09.03 от 25.09.2003 г. Подписано в печать 14.05.08 Формат 60x84/16. Бумага тип. № 1 Печать — ризограф. Объем 18,0 п.л. Тираж 50 экз. Заказ № 1536 Издательство Красноярского государственного аграрного университета 660017, Красноярск, ул. Ленина, 117